

С 1941 по 1944 Грэм Грин, как сотрудник министерства иностранных дел находился в Западной Африке, где и разворачиваются события его романа «Суть дела» (The Heart of the Matter, 1948), принесшего ему международное признание.

- [Грэм Грин](#)
 -
 - [ЧАСТЬ ПЕРВАЯ](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [ЧАСТЬ ВТОРАЯ](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
-

*Le pecheur est an coeur meme de chretiente...
Nul n'est aussi competent que le pecheur en matiere
de chretiente. Nul, si ce n'est le saint.*

Пегиу

*Никто так не понимает христианства, как грешник.
Разве что святой.*

Шарль Пеги (фр.)

Уилсон сидел на балконе гостиницы «Бедфорд», просунув сквозь прутья чугунной решетки голые розовые колени. Было воскресенье, и соборный колокол звонил к заутрене. На другой стороне Бонд-стрит, в окнах школы, видны были темнокожие девушки в синих гимнастических костюмах; они с безнадежным упорством старались причесать свои жесткие курчавые волосы. Поглаживая еще очень редкие усики, Уилсон мечтал, дожидаясь, когда ему принесут джин.

Сидя лицом к Бонд-стрит, он видел океан. Бледная, еще не покрытая загаром кожа показывала, что он недавно приплыл по этому океану и высадился в здешнем порту; об этом говорило и его безразличие к школьницам напротив. Он напоминал стрелку барометра, которая еще стоит на «ясно», хотя атмосфера давно уже предвещает «бурю». Внизу чернокожие конторщики шествовали в церковь, но их жены в ярких праздничных платьях из синего и вишневого шелка не возбуждали у Уилсона никакого интереса. Он сидел на балконе один, если не считать бородатого индийца в тюрбане, который уже предлагал ему погадать по руке; в эти часы не бывало белых, они уезжали на пляж, в пяти милях отсюда, но у Уилсона не было своей машины. Он просто погибал от скуки. По обеим сторонам школы отлого сбегали к океану кровли домов, а рифленое железо над головою громыхало и лязгало, когда на крышу садились грифы.

С набережной появились три офицера торгового флота из стоявшего в порту конвоя. Их тут же окружила стайка школьников в форменных шапочках. Они хором припевали что-то вроде детской песенки, и до Уилсона донеслись слова: «Капитан, хочешь девочку, моя сестра хорошая девочка, учительша... Капитан, хочешь девочку...» Бородатый индеец, насупившись, изучал какие-то сложные вычисления на оборотной стороне конверта. Что это было: гороскоп или перечень расходов на жизнь? Когда Уилсон снова взглянул вниз на улицу, офицеры уже отбились от мальчишек, а школьники, окружив одинокого матроса, с торжеством тащили его к публичному дому возле полиции, словно к себе в детскую.

Чернокожий официант подал джин, и Уилсон стал медленно его прихлебывать – делать все равно было нечего, разве что уйти в свой душный, неуютный номер и читать там какой-нибудь роман или... стихи. Уилсон любил стихи, но он глотал их тайком, словно наркотики. «Сокровищницу поэзии» он возил с собой повсюду, но читал из нее понемножку, по ночам, – страничку Лонгфелло, Маколея или Менгена.

«Ну что же, расскажи, как свой талант растратил, был предан другом и в любви обманут...» Вкусы у него были самые романтические. Для отвода глаз он держал детективы Уоллеса. Ему мучительно не хотелось хоть чем-нибудь выделяться из толпы. Он носил усики, как значок корпорации: они как будто уравнивали его с остальным человечеством, но глаза выдавали его – карие, по-собачьи жалкие глаза, грустно устремленные на Бонд-стрит.

– Простите, пожалуйста, – произнес за спиной чей-то голос. – Вы случайно не Уилсон?

Он поднял голову и увидел пожилого человека в незаменимых здесь коротких штанах защитного цвета; кожа на худом лице была зеленоватая, как сено.

– Да, Уилсон.

– Можно к вам подсесть? Моя фамилия Гаррис.

– Сделайте одолжение, мистер Гаррис.

– Вы ведь новый бухгалтер ОАК?

– Совершенно верно. Может, чего-нибудь выпьете?

– Лимонаду, если не возражаете. Днем спиртного не пью.

Индеец поднялся из-за столика и почтительно приблизился к ним.

– Вы меня помните, мистер Гаррис? Пожалуйста, объясните вашему приятелю, какой у меня необыкновенный дар. Может, он захочет посмотреть отзывы... – Он сжимал в руке пачку засаленных конвертов. – Столпы общества...

– А ну-ка, живо отсюда, старый жулик! – сказал Гаррис.

– Откуда вы узнали мое имя? – спросил Уилсон.

– Прочел вашу телеграмму. Я телеграфный цензор. Ну и работенка! Ну и местечко!

– Я издали вижу, мистер Гаррис, что судьба ваша сильно переменялась. Если вы на минуту пройдете со мной в ванную...

– Убирайтесь, Ганга Дин!

– Зачем он зовет вас в ванную? – спросил Уилсон.

– Он всегда гадает в ванной. Наверное, думает, что это единственное место, где ему никто не помешает. Мне как-то не приходило в голову его спросить.

– Вы здесь давно?

– Да вот уже полтора года мучаюсь.

– Собираетесь домой?

Гаррис с тоской поглядел вверх железных крыш на гавань.

– Пароходы все идут не туда, куда надо. Но уж если я доберусь до дому, сюда меня больше не заманишь. – Он понизил голос и злобно прошипел, наклонившись над лимонадом: – Ух, до чего же ненавижу эту дыру. И здешних людишек. И всю эту черномазую сволочь. Но, имейте в виду, называть их так не положено.

– Мой слуга, кажется, ничего.

– Слуги все в общем ничего. Обыкновенные черномазые, а вот эти – вы только поглядите на них, вон поглядите на ту, в горжетке из перьев! Они даже не настоящие черномазые. Индейцы из Вест-Индии, а хозяйничают на всем побережье. Конторщики в торговых домах, муниципальные советники, мировые судьи, адвокаты – черт бы их всех побрал! Там, в Протекторате, – совсем другое. Я ведь не против настоящих черномазых. Такими уж их бог создал. Но эти – не приведи господь! Правительство их боится. Полиция их боится. Вон, смотрите, – Гаррис показал вниз, – смотрите: Скоби!

По железной крыше с шумом запрыгал, хлопая крыльями, гриф, и Уилсон поглядел на Скоби. Он поглядел на него равнодушно, по чужой указке; этот приземистый, седой человек, одиноко шагавший по Бонд-стрит, казалось, не представлял никакого интереса. Уилсон и не подозревал, что это незабываемая минута, – в памяти его появилась ссадина, ранка, которая вечно будет ныть, всякий раз, как он пригубит джин в полдень, ощутит запах цветов под балконом или услышит грохот рифленого железа на крыше и тяжелые прыжки уродливой птицы.

– Он их так любит, – сказал Гаррис, – что даже с ними спит.

– Это полицейская форма?

– Да. Наша славная полиция. Того, что пропало, им никогда не найти, как говорится в стихах.

– Я не читаю стихов, – сказал Уилсон. Он проводил взглядом Скоби, шагавшего по залитой солнцем улице. Скоби остановился и перекинулся словечком с каким-то негром в белой панаме; мимо прошел черный полицейский и лихо откозырял. Скоби зашагал дальше.

– Если как следует покопаться, наверно, и взятки берет у сирийцев.

– У каких сирийцев?

– Да ведь тут самое настоящее вавилонское столпотворение! – сказал Гаррис. – Индейцы из Вест-Индии, африканцы, индийцы, сирийцы, англичане, шотландцы из департамента общественных работ, попы-ирландцы, попы-французы, попы-эльзасцы...

– А что же они тут делают, эти сирийцы?

– Наживают деньгу. У них в руках вся торговля в глубине страны и почти вся торговля тут.

Промышляют они и алмазами.

– Ну, эта торговля небось идет бойко?

– Немцы платят большие деньги.

– А жены у него здесь нет?

– У кого? Ах, у Скоби... Почему же – есть. Тут, с ним. Да, пожалуй, будь у меня такая жена, я бы тоже спал с черномазыми. Скоро сами с ней познакомитесь. Она – наша городская интеллигенция. Любит искусство, поэзию. Устраивала художественную выставку в пользу потерпевших крушения моряков. Сами знаете, как это делается; стихи о чужбине сочиняли летчики, акварели намалевали кочегары, ученики миссионерских школ выжигали по дереву, мастерили всякие рамочки, шкатулочки... Бедный Скоби! Заказать вам еще джину?

– Пожалуй, да, – сказал Уилсон.

Скоби свернул на Джеймс-стрит мимо здания Администрации. Этот дом с длинными балконами всегда напоминал ему больницу. Пятнадцать лет он наблюдал, как сюда прибывали новые пациенты, года через полтора кое-кого из них выписывали домой – желтых, нервных – и на их место поступали другие: начальники административного и сельскохозяйственного департаментов, казначеи, начальники департамента общественных работ. Он наблюдал за историей их болезни: первая вспышка беспричинного гнева, лишняя рюмка спиртного, внезапный приступ принципиальности после года уступок и поблажек. Черные чиновники бодро сновали по коридорам, как доктора, и терпеливо, с улыбкой сносили грубости своих больных. Пациент ведь всегда прав.

За углом перед старым деревом, под которым когда-то собрались первые поселенцы, высадившиеся на эту неприветливую землю, высилось здание суда, и полиции – серый каменный домина, символ напыщенного фанфаронства слабосильного человека. Под тяжелыми сводами коридоров шаги стучали дробно, как сухое ядро в скорлупе. Человеку трудно быть под стать такому возвышенному архитектурному замыслу. Правда, замысел этот был довольно неглубокий – в глубину за фасадом шла одна только комната. В узком темном проходе за ней, в канцелярии и в камерах Скоби постоянно слышал запах человеческой низости и произвола – такая вонь стоит в зоопарке: и там пахнет опилками, калом, аммиаком и принуждением. Помещение каждый день мыли, но запах вытравить не удавалось; Как табачный дым, он впивывался в одежду и арестантов и полицейских.

Скоби поднялся по широким ступеням и свернул по затененному наружному коридору направо, в свой кабинет; там стоял стол, два табурета, шкаф и ящик с картотекой; на гвозде, как старая шляпа, висела связка ржавых наручников. Постороннему комната показалась бы пустой и неприветливой, но для Скоби это был дом. Другие создают домашний уют, постепенно обрастая вещами: повесят новую картину, поставят побольше книг, замысловатые пресс-папье или пепельницу, купленную в праздничный день неизвестно зачем; Скоби создавал свой уют, выбрасывая все лишнее. Пятнадцать лет назад он начинал здесь жизнь с куда большим имуществом. Раньше тут красовались фотография жены, яркие кожаные подушки, купленные на туземном базаре, мягкое кресло, весела большая цветная карта порта. Карту попросили

служащие помоложе, ему она больше не была нужна – всю береговую линию он и так знал наизусть (ему был подчинен район от Куфа-бэй до Медли). Что же до кресла и подушек, – он скоро понял, как в этой знойном городе удобства только усугубляют жару. Все, что прикасается к телу, заставляет его потеть. В конце концов отпала нужда и в фотографии жены, – она ведь теперь жила рядом. Жена приехала к нему в первый год войны, когда та еще не разыгралась всерьез, и уже не смогла уехать; боязнь подводных лодок приковала ее к месту, сделала такой же постоянной принадлежностью его жизни, как наручники на стене. Вдобавок фотография была очень давняя, и ему не хотелось вспоминать то время, когда у жены были такие еще по-девичьи мягкие черты, добрый, ласковый от неведения взгляд, губы, покорно полуоткрытые в улыбке, которую заказал ей фотограф. За пятнадцать лет черты лица становятся четче, жизненный опыт лишает их мягкости, и Скоби постоянно чувствовал, что виноват в этом он. Ведь это он вел ее за собой, и, стало быть, жизненный опыт, который она приобрела, тоже выбирал он; значит, и лицо ее изменил он.

Скоби уселся за пустой стол, и чуть ли не в тот же миг на пороге щелкнул каблуками его сержант из племени менде.

– Что там у вас?

– Начальник полиции вас просит.

– Кого-нибудь задержали?

– Двое черных подрались на базаре.

– Из-за бабы?

– Да, начальник.

– Еще что?

– Вас спрашивает мисс Уилберфорс, начальник. Я ей сказал, вы в церкви и ей лучше прийти немного погодя, но она пристаёт. Говорит, не сойдет с места.

– Которая же это мисс Уилберфорс, сержант?

– Не знаю, начальник. Из Шарп-тауна.

– Я приму ее, когда вернусь. Но, имей в виду, больше никого!

– Слушаюсь, начальник.

По дороге в кабинет начальника полиции Скоби увидел одиноко сидевшую на скамье у стены девушку. Кинув на нее беглый взгляд, он заметил только молодое черное африканское лицо и яркое ситцевое платье, но все это тут же выскочило у него из головы: он думал, что сказать начальнику. Эта мысль занимала его всю неделю.

– Садитесь, Скоби.

Начальник полиции был старик пятидесяти трех лет, – возраст исчислялся годами службы в колонии. Начальник полиции, который прослужил двадцать два года, считался старейшиной, а недавно приехавший губернатор, хоть ему и стукнуло шестьдесят пять, был еще мальчишкой по сравнению с любым окружным комиссаром, имевшим за плечами пять лет здешней жизни.

– Я выхожу в отставку, Скоби, – сказал начальник полиции. – Сразу же после инспекционной поездки.

– Знаю.

– Да, наверно, все знают.

– Я слышал, об этом говорят.

– А ведь, кроме вас, я об этом сказал только одному человеку. И кого прочат на мое место?

– Всем ясно, кого не назначат на ваше место.

– Возмутительно! – сказал начальник. – Но я тут ничего не могу поделать. У вас необыкновенный талант наживать врагов. Как у Аристиды Справедливого.

– Да не такой уж я справедливый...

– Надо решить, чего вы хотите? Сюда посылают из Гамбии некоего Бейкера. Он моложе вас. Хотите подать в отставку, уйти на пенсию, перевестись в другое место?

– Я хочу остаться здесь, – сказал Скоби.

– Ваша жена будет недовольна.

– Я тут слишком давно, чтобы отсюда уезжать. – Он подумал: бедная Луиза, если бы я предоставил решать тебе, где бы мы с тобой сейчас были? И ему пришлось признать, что тут бы их не было, они бы давно уехали в другое место, где им бы лучше жилось, и климат был бы лучше, и жалованье лучше, и лучше положение. Она бы пользовалась всякой возможностью, чтобы поправить их дела, проворно подталкивала бы его вверх по ступенькам должностной лестницы и зря не дразнила бы гусей. Это я затащил ее в эту дыру, думал он со странным предчувствием своей вины: оно не покидало его никогда, словно он нес ответственность за горе, которое ее ждет, хотя еще и не предвидел, какое это будет горе. Вслух он сказал: – Вы же знаете, мне здесь нравится.

– Да, видимо, так. Не пойму только, что.

– Вечером здесь красиво, – уклончиво объяснил Скоби.

– А вы знаете последнюю сплетню, которую распускают в Администрации?

– Наверно, что я беру взятки у сирийцев?

– До этого они еще не додумались. Это – следующий этап. Нет, пока вы спите с чернокожими девушками. Вы, конечно, понимаете, откуда это идет, – вам бы надо было пофлиртовать с кем-нибудь из их жен. А то им обидно.

– Может, мне и в самом деле завести себе чернокожую девушку? Тогда им не придется ничего выдумывать.

– У вашего предшественника их было много, но никого это не трогало. О нем выдумывали что-то другое. Говорили, будто он втихомолку пьянствует. Тогда было принято пьянствовать открыто, у всех на глазах. Какие же они скоты, Скоби!

– Первый заместитель у них в Администрации совсем неплохой парень.

– Да, первый заместитель ничего. – Начальник засмеялся. – Вы ужасный человек, Скоби.

Скоби Справедливый.

Скоби возвращался назад по коридору; в полумраке сидела девушка. Ноги у нее были босые, ступни стояли рядышком, как слепки в музее, и никак не подходили к цветному модному ситцевому платью.

– Вы мисс Уилберфорс? – спросил Скоби.

– Да, сэр.

– Разве вы живете здесь?

– Нет. Я живу в Шарп-тауне, сэр.

– Пройдемте ко мне. – Он провел ее в кабинет и сел за стол. Карандаша под рукой не было, и он выдвинул ящик. Вот только тут скопилось множество вещей: письма, резинки, разорванные четки, – но карандаша не было и здесь. – Что у вас там случилось, мисс Уилберфорс? – Взгляд его упал на любительский снимок – большая компания купается на пляже Медли; его жена, жена начальника департамента, начальник отдела просвещения – в руках у него что-то вроде дохлой рыбы, – жена казначея. Обилие белого тела делало их похожими на сборище альбиносов, рты широко раскрыты от смеха.

Девушка сказала:

– Моя хозяйка... она вчера поломала весь мой дом. Вошла, когда было темно, повалила перегородки, украла сундук со всеми моими вещами.

– У вас много жильцов?

– Всего трое, сэр.

Он прекрасно знал, как это бывает: квартирант снял однокомнатную домишко за пять шиллингов в неделю, поставил тоненькие переборки и сдал клетушки по полкроны каждая, открыв нечто вроде мебелирашек. В каморке – сундучок с незатейливым фарфором и стеклом, подаренным хозяином или украденным у хозяина, кровать из старых ящиков и лампа «молния». Ламповые стекла часто бьются, и открытый огонек жадно кидается на разлитый керосин, на фанерные переборки, вызывая бесчисленные пожары. Порою домовладелица врывается в такой домик, ломает опасные перегородки, иногда она ворует у своих квартирантов лампы, и слух о такой краже волнами расходится по всей округе, молва превращает ее в эпидемию краж, достигает европейского квартала и становится пищей для клубных сплетен: «Ни одной лампы не убережешь, как тут ни бейся!»

– Ваша хозяйка жалуется: от вас одно беспокойство, – резко сказал Скоби. – Слишком много жильцов, слишком много ламп.

– Нет, сэр. Я лампами не промышляю.

– А собой промышляете? Вы нехорошая девушка, да?

– Нет, сэр.

– Зачем вы сюда пришли? Почему не сходили к капралу Ламина в Шарп-тауне?

– Он брат моей хозяйки, сэр.

– Вот как? Один отец, одна мать?

– Нет, сэр. Один отец.

Разговор был похож на церковный обряд, который ведут священник и служка: Скоби безошибочно знал, что произойдет, когда один из его людей начнет расследовать это дело. Домохозяйка заявит, что она потребовала от квартирантки снести перегородки и, когда та не послушалась, взялась за дело сама. Она будет утверждать, что никакого сундучка с посудой вообще не было. Капрал это подтвердит. Выяснится, что он вовсе не брат хозяйки, а какой-то дальний родственник – родство это окажется малопочтенным. Взятки, которые тут для благовидности называют подарками, будут переходить из рук в руки; буря попреков и негодования, звучавшая так неподдельно, скоро стихнет; перегородки будут поставлены вновь; никто больше и словом не обмолвится о сундучке, а несколько полицейских станут на один-два шиллинга богаче. В первые годы Скоби с жаром принимался за такие дела; он всякий раз чувствовал себя защитником невинных и обездоленных квартирантов от богатых и злокозненных домовладельцев. Но скоро обнаружилось, что вина и невиновность тут понятия столь же относительные, как и богатство. Обиженный квартирант сам был капиталистом, зарабатывая пять шиллингов в неделю на лачуге, в которой жил даром. Тогда Скоби попытался пресекать такие дела в самом зародыше; он спорил с истицей, убеждая ее, что следствие ни к чему не приведет и только отнимет много времени и денег; иногда он просто отказывался его вести. В отместку в окна его машины швыряли камни, прокалывали шины, а сам он заслужил прозвище «Плохой человек», которое преследовало его всю долгую, невеселую поездку в глубь страны, – и его это почему-то огорчало: там было так сыро и жарко, что он все принимал близко к сердцу. Уже тогда ему хотелось завоевать любовь и доверие здешних людей. В тот год он захворал черной лихорадкой и чуть было совсем не ушел со службы по болезни.

Девушка терпеливо ждала, что он скажет; если нужно, терпения у них хоть отбавляй, но вот когда им выгоднее проявить терпение, они не пытаются себя сдерживать. Они могут битый день проторчать на дворе у кого-нибудь из белых, выпрашивая то, чего тот не в силах им дать, но зато истошно ругаются и дерутся в лавке, чтобы пролезть без очереди. Скоби подумал: ну до чего же она красива! Странно было думать, что пятнадцать лет назад он не заметил бы ее красоты – маленькой груди, узких запястий, крутой линии молодых бедер; он просто не отличил бы ее от других чернокожих. В те времена красивой ему казалась жена. Белая кожа не

напоминала ему тогда альбиносов. Бедная Луиза!

Он сказал:

– Отдайте этот листок сержанту в канцелярии.

– Спасибо, сэр.

– Не стоит. – Он улыбнулся. – Постарайтесь рассказать ему правду.

Он смотрел, как она выходит из его темного кабинета, – пятнадцать лет зря загубленной жизни.

Скоби потерпел поражение в войне за приличное жилье, которая здесь никогда не затихала. Во время последнего отпуска он потерял свое бунгало в европейском квартале на Кейп-стейшн; его отдали старшему санитарному инспектору по фамилии Фэллоуз, а Скоби переселили в квадратный одноэтажный дом, выстроенный когда-то для сирийского купца; дом стоял в низине, на осушенном клочке болота, который снова превращался в топь, как только начинались дожди. Вид из окна поверх домов, где жили креолы, был прямо на океан; по другую сторону шоссе, в военном городке, ревели, разворачиваясь, грузовики, а по куче казарменных отбросов разгуливали, словно куры, черные грифы. Позади, из низкой гряды холмов, в низких облаках виднелись бунгало колониальной администрации; там в буфетах весь день жгли лампы, а ботинки покрывались плесенью, но все же эти дома были для людей его положения. Женщинам трудно жить, если они не могут гордиться хоть чем-нибудь: собой, своим мужем, своей обстановкой. Правда, думал Скоби, они редко гордятся вещами нематериальными.

– Луиза! – позвал он. – Луиза!

Кричать было не к чему; если он не нашел ее в гостиной, она может быть только в спальне (кухня – это просто навес во дворе напротив черного хода); однако он привык громко звать ее по имени, – привычка прежних лет, когда в нем говорили любовь и тревога. Чем меньше он нуждался в Луизе, тем больше сознавал свою ответственность за ее счастье. Когда он выкрикивал ее имя, он, словно король Кнут, заговаривал волны – волны ее меланхолии, недовольства, разочарования.

В прежние дни она отзывалась, но ведь Луиза не такой раб своих привычек, как он («не такая лицемерка», иногда говорил себе Скоби). Доброта и жалость ею не владеют: она никогда не симулирует чувств, которых не испытывает; она, как зверек, не умеет сопротивляться даже легкому приступу болезни и так же легко выздоравливает. Когда Скоби нашел ее в спальне под москитной сеткой, она ему напомнила собаку или кошку, так крепко она спала. Волосы ее спутались, глаза были зажмурены. Он стоял не дыша, как разведчик в тылу противника, да ведь он и в самом деле был сейчас на чужой земле. Если дом для него означал избавление от лишних вещей и прочный, привычный их минимум, для нее дом был скоплением вещей. Туалетный стол заставлен баночками и фотографиями – его фотография в молодости (на нем был до смешного старомодный мундир прошлой войны); жены верховного судьи, которую Луиза последнее время считала своей подругой; их единственного ребенка, умершего три года назад в школе в Англии – набожное личико девятилетней девочки в белом нарядном платице для первого причастия; бесчисленные фотографии самой Луизы – одной, среди сестер милосердия, среди гостей адмирала на пляже Медли, на йоркширских болотах с Тедди Бромли и его женой. Она словно собирала вещественные улики, что у нее есть друзья не хуже, чем у других людей. Он смотрел

на нее сквозь муслиновый полог. От акрихина лицо было как желтоватая слоновая кость; волосы, когда-то золотые, как растопленный мед, потемнели и слиплись от пота. Вот в такие минуты, когда она была совсем некрасивой, он ее любил, а чувство жалости и ответственности достигало накала страсти. Жалость его прогнала, – он не стал бы будить и своего злейшего врага, не говоря уже о Луизе. Он на цыпочках вышел из комнаты и спустился по лестнице. (Внутренних лестниц в этом городе одноэтажных бунгало не было ни у кого, кроме губернатора, и Луиза этим гордилась: она застелила лестницу дорожками и развесила на стене картины). Внизу, в гостиной, стоял книжный шкаф с ее книгами, лежали ковры, висела туземная маска из Нигерии и опять фотографии. Книги приходилось каждый день перетирать, чтобы они не плесневели, и Луизе не удалось как следует замаскировать железный ящик для продуктов пестренькими занавесками; его ножки стояли в эмалированных мисках с водой, чтобы внутрь не поползли муравьи. Слуга накрывал на стол к обеду и поставил только один прибор.

Слуга – из племени темне – был низенький, приземистый, с широким, некрасивым, добродушным лицом. Его босые подошвы шлепали по полу, как пустые перчатки.

– Живот, – сообщил Али.

Скоби вынул из шкафа грамматику языка менде; она была засунута на нижнюю полку, где ее потрепанный, рваный переплет меньше бросался в глаза. На верхних полках стояли рядами тоненькие книжки Луизы – стихи не слишком молодых современных поэтов, романы Вирджинии Вулф. Сосредоточиться он не мог; было слишком жарко, и отсутствие жены угнетало его, как болтливый собеседник, напоминая, что судьба ее на его совести. Упала вилка, и Скоби заметил, как Али исподтишка обтер ее рукавом; он заметил это с нежностью: ведь они прожили вместе пятнадцать лет – на год больше, чем длился его брак, а это большой срок для слуги. Али был сначала «мальчиком», потом, когда держали четверых слуг, помощником домоправителя, а теперь сам правил домом. После каждой поездки Скоби в отпуск Али дожидался его на пристани, чтобы выгрузить багаж с помощью трех или четырех оборванных носильщиков. Когда Скоби уезжал, многие пытались переманить Али, но тот всегда встречал хозяина на пристани, – кроме одного раза, когда Али посадили в тюрьму. Тюрьма не считалась бесчестьем. Это было просто осложнение, которого никому не удастся избежать.

– Тикки! – послышался ноющий голос, и Скоби сразу же встал. – Тикки!

Он поднялся наверх.

Его жена сидела под москитной сеткой, и ему вдруг почудилось, что это кусок сырой говядины, покрытый марлей от мух. Но жалость догнала жестокую мысль и быстро ее спровадила.

– Тебе лучше, моя дорогая?

– К нам заходила миссис Касл, – сказала Луиза.

– От этого не мудрено заболеть.

– Она мне рассказала о твоих делах.

– Что же она могла о них рассказать? – Он улыбнулся с деланной веселостью; чуть не вся жизнь уходила на то, чтобы оттянуть очередную беду. Оттяжка никогда не приносит вреда. Ему даже казалось, что если тянуть подольше, в конце концов все решит за тебя смерть.

– Она говорит, что начальник полиции подал в отставку, но что тебя обошли.

– Ее муж слишком много болтает во сне.

– Но это правда?

– Да. Я об этом давно знаю. Ей-богу, мне все равно.

– Но мне теперь стыдно будет показаться в клубе!

– Ну, не такой уж это позор. Бывает и хуже.

– Но и ты тогда уйдешь в отставку? Правда, Тикки?

– Нет, дорогая, вряд ли.

– Миссис Касл на нашей стороне. Она просто в бешенстве. Говорит, что все только об этом и судачат, наговаривают на тебя бог знает что. Тикки, ты не берешь взятку у сирийцев, ведь правда?

– Нет.

– Я так расстроилась, что не досидела до конца обедни. Как это подло с их стороны. Слышишь, Тикки, таких вещей спускать нельзя! Ты должен подумать обо мне.

– Я думаю. Все время. – Он сел на кровать, просунул руку под сетку и дотронулся до ее руки. Там, где руки соприкоснулись, сразу же выступили капельки пота.

– Я всегда думаю о тебе, детка. Но я проработал здесь пятнадцать лет. Я пропаду в другом месте, даже если мне и дадут там работу. Если человека обошли, ты же знаешь, это не так уж лестно его рекомендует...

– Мы могли бы не выйти в отставку.

– На пенсию не очень-то проживешь.

– Я думаю, что могли бы заработать немножко денег литературой. Миссис Касл уверяет, что я могу этим заняться всерьез. Столько навидавшись всего... – сказала Луиза, глядя сквозь белый муслиновый шатер на свой туалетный столик; оттуда, сквозь тот же белый муслин, ей ответило взглядом другое лицо, и она отвернулась. – Ах, если бы мы могли переехать в Южную Африку. Я просто не выношу здешних людей.

– Может, мне удастся посадить тебя на пароход. Последнее время на той линии редко топят суда. Тебе надо отдохнуть.

– Было время, когда и ты хотел уйти в отставку. Годы считал. Мечтал, как мы будем жить – все вместе.

– Что ж, человек меняется... – сказал он уклончиво.

– Ну да, тогда ты не думал, что останешься со мной вдвоем, – беспощадно объяснила она.

Он сжал своей потной рукой ее руку.

– Чепуха, детка! Вставай-ка лучше и поешь...

– Скажи, ты кого-нибудь любишь, кроме себя?

– Нет, никого. Я люблю только себя. И Али. Совсем забыл про Али. Его я тоже люблю. А тебя нет, – машинально повторил он надоевшую шутку, поглаживая ее руку, улыбаясь, утешая ее...

– И сестру Али?

– А разве у него есть сестра?

– У них у всех есть сестры. Почему ты сегодня не пошел к обедне?

– У меня утреннее дежурство. Ты же знаешь, детка.

– Мог с кем-нибудь поменяться. Ты теперь уж не такой набожный, да, Тикки?

– Зато у тебя набожности хватает на нас двоих. Пойдем. Надо поесть.

– Знаешь, Тикки, я иногда думаю, что ты стал католиком, только чтобы на мне жениться. Настоящей веры, по-моему, у тебя нет.

– Послушай, детка, тебе надо спуститься вниз и хоть немного поесть. А потом возьми машину и поезжай на пляж, подыши свежим воздухом.

– Как бы все сегодня было по-другому, – сказала она, глядя на него сквозь полог, – если бы ты пришел и сказал: «Знаешь, детка, а я назначен начальником полиции».

Скоби мягко ей объяснил:

– Понимаешь, в таком месте, как наше, да еще в военное время нужен человек помоложе: важный порт, рядом – вишисты; контрабанда алмазами из Протектората... – Он сам не верил ни, одному своему слову.

- Я об этом не подумала.
- Вот почему меня и обошли. Никто тут не виноват. Ничего не поделаешь: война.
- Война всем мешает, правда?
- Она дает молодежи возможность себя показать.
- Знаешь, милый, я, пожалуй, съем кусочек холодного мяса.
- Вот и молодец. – Он отнял руку: с нее капал пот. – Я сейчас скажу Али.

Внизу он высунулся в дверь и окликнул Али.

- Да, хозяин?
- Поставь два прибора. Хозяйке лучше.

От океана наконец поднялся слабый ветерок; он задул над верхушками кустов, между хижинами креолов. С железной кровли, тяжело захлопав крыльями, взлетел гриф и опустился на соседнем дворе. Скоби глубоко вздохнул – он очень устал, но радовался, что одержал победу, вынудив у Луизы согласие съесть кусочек мяса. Он всегда нес ответственность за счастье тех, кого любил. Одной из них уже ничто не грозит – во веки веков, а другая сейчас будет обедать.

По вечерам порт бывал красив минут пять, не меньше. Грунтовые дороги, такие уродливые, спекшиеся днем, нежно розовели, как лепестки цветов. Наступал блаженный час. Люди, навсегда покинув здешние места, вспоминают в мгlistый лондонский вечер, как загорался этот берег, как он расцветал, чтобы тут же померкнуть снова; в этот час им становится странно, что они так ненавидели этот порт; их даже тянет обратно.

Скоби остановил свой «моррис» на одном из поворотов широко петлявшей вверх по холму дороги и поглядел назад. Он чуть-чуть опоздал. Цветок над городом увял; белые камни, обозначающие край обрыва, светились в ранних сумерках, как свечи.

- Наверно, там никого не будет, Тикки!
- Непременно будет. Сегодня библиотечный вечер.
- Поедем побыстрее, дорогой. В машине так жарко. Господи, когда наконец пойдут дожди!
- Соскучились по дождям?
- Да, если бы только они шли месяц или два, а потом переставали.

Скоби что-то ответил, не задумываясь. Он никогда не прислушивался к тому, что говорит жена. Он спокойно занимался своим делом под мерное течение ее речи, но стоило прозвучать жалобной ноте – и он мгновенно включал внимание. Как радист, зачитавшийся романом возле приемника, он пропускал все сигналы, сразу же настораживаясь, когда слышались позывные корабля или сигнал бедствия. Ему даже легче было работать, когда она разговаривала, а не молчала: пока его слух воспринимал этот ровный поток слов – клубные сплетни, недовольные замечания по поводу проповедей отца Ранка, пересказ только что прочитанного романа, даже жалобы на погоду, – он знал, что все идет хорошо. Мешало работе молчание; молчание означало, что он может поднять голову и увидеть в глазах ее слезы, требующие внимания.

- Ходят слухи, будто на прошлой неделе были потоплены все рефрижераторные суда.

Пока она говорила, он обдумывал, что ему делать с португальским судном, которое должно подойти к причалу утром, как только снимут боны. Суда нейтральных стран приходили дважды в месяц, и молодые офицеры охотно устраивали туда вылазку, – это сулило возможность отведать чужую стряпню, выпить несколько рюмок настоящего вина и даже купить для своей

девушки какое-нибудь украшение в судовой лавке. За это они должны были помочь береговой охране проверить паспорта и обыскать каюты подозрительных лиц, а всю тяжелую и неприятную работу выполняли агенты береговой охраны сами: в трюме они просеивали мешки риса в поисках алмазов, в раскаленной кухне залезали рукой в банки с салом, потрошили фаршированных индеек. Попытка найти несколько алмазов на пароходе водоизмещением в пятнадцать тысяч тонн была бессмысленной; ни один злой волшебник из сказки не задавал бедной гусятнице такой невыполнимой задачи, однако всякий раз, когда судно входило в порт, ему сопутствовала шифрованная телеграмма: «Такой-то пассажир первого класса заподозрен в перевозке алмазов... под подозрением следующие члены судовой команды...» Никто ни разу ничего не нашел. Скоби подумал: завтра очередь Гарриса, с ним можно послать Фрезера, – я слишком стар для таких экскурсий. Пусть позабавится молодежь.

– В прошлый раз половина книг пришла подмоченной.

– Разве?

Судя по количеству машин, думал он, народа в клубе еще немного. Он выключил фары и стал ждать, чтобы Луиза вышла из машины, но она продолжала сидеть; лампочка на щитке освещала ее руку, сжатую в кулак.

– Ну, вот мы и приехали, – произнес он бодрым тоном, который посторонние принимали за признак глупости.

– Как ты думаешь, они уже знают? – спросила Луиза.

– О чем?

– О том, что тебя обошли.

– По-моему, детка, мы с этим вопросом уже покончили! Погляди, сколько генералов у нас обошли с начала войны! Подумаешь, велика птица – помощник начальника полиции!

– Да, но они меня не любят, – сказала она.

Бедная Луиза. Ужасно, когда тебя не любят. И он вспомнил свои переживания во время той, первой поездки, когда черные вспарывали шины и писали обидные слова на кузове его грузовика.

– Какая чепуха! Я просто не знаю, у кого больше друзей, чем у тебя. – И он стал вяло перечислять; – Миссис Галифакс, миссис Касл... – Но потом решил лучше не называть имен.

– Они там сидят и меня поджидают, – сказала она. – Так и ждут, чтобы я вошла... До чего мне не хочется сегодня вечером в клуб. Поедем лучше домой.

– Теперь уже нельзя. Вон подъехала машина миссис Касл. – Он сделал попытку рассмеяться. – Мы попались, Луиза. – Он увидел, как кулак разжался и сжался опять; влажная, никчемная пудра лежала, как слипшийся снег, в складках кожи.

– Ах, Тикки! – взмолилась она. – Ты ведь меня никогда не бросишь, правда? У меня совсем нет друзей, с тех пор как уехали Барлоу...

Он взял влажную ладонь и поцеловал ее; непривлекательность Луизы сжимала ему сердце и связывала по рукам и ногам.

Плечом к плечу, как полицейский патруль, они вошли в гостиную, где миссис Галифакс выдавала библиотечные книги. В жизни худшие ожидания редко оправдываются; вряд ли тут о них только что судачили.

– Чудно, чудно! – крикнула им миссис Галифакс. – Пришла новая книжка Клеменса Дейна!

Это была самая безобидная женщина в колонии; ее длинные волосы вечно были растрепаны, а в библиотечных книгах попадались шпильки, которыми она закладывала страницы. Скоби мог спокойно оставить жену в ее обществе – миссис Галифакс незлобива и не любит сплетничать, у нее слишком короткая память; она по несколько раз перечитывает одни и те же романы, даже не подозревая этого.

Скоби подошел к группе людей на веранде. Санитарный инспектор Феллоуз за что-то свирепо выговаривал старшему помощнику начальника Рейту и морскому офицеру по фамилии Бригсток:

– В конце концов, это клуб, а не вокзальная закусовая!

С тех пор как Феллоуз перехватил у него дом, Скоби изо всех сил старался относиться к этому человеку с симпатией; его жизненные правила требовали проигрывать с улыбкой. Но порой ему бывало трудно хорошо относиться к Феллоузу. Вечерняя жара не красила этого человека: жидкие рыжие волосы слиплись, колючие усики стояли торчком, круглые глазки были выпучены, малиновые щеки пылали.

– Вот именно, – подтвердил Бригсток, слегка покачиваясь.

– Что тут у вас случилось? – спросил Скоби.

– Он считает, что мы недостаточно разборчивы, – сказал Рейт с той самодовольной иронией, какую позволяет себе только человек крайне разборчивый, – в свое время настолько разборчивый, что за его одинокий стол в Протекторате не допускался никто, кроме него самого.

Феллоуз запальчиво воскликнул, щупая для храбрости свой гвардейский галстук:

– Всему есть границы!

– Вот именно, – подтвердил Бригсток.

– Я знал, что у нас тут пойдет, когда мы сделали почетными членами клуба всех офицеров, – заявил Феллоуз. – Я знал, что рано или поздно они начнут водить сюда всякую шуштуру! Поверьте, я не сноб, но в таком месте, как это, ограничения необходимы хотя бы ради наших дам. Тут ведь не то, что дома!

– Но что же все-таки случилось? – спросил Скоби.

– Почетным членам нельзя позволять приглашать гостей, – заявил Феллоуз. – На днях сюда привели рядового! Пускай они в армии играют в демократию, а мы не желаем этого терпеть! К тому же выпивки и так не хватает, без лишних ртов.

– Совершенно верно, – произнес Бригсток, пошатываясь еще заметнее.

– К сожалению, я все еще не понимаю, о чем идет речь, – сказал Скоби.

– Зубной врач из сорок девятого привел какого-то штатского по фамилии Уилсон, и этот Уилсон, видите ли, желает вступить в члены клуба. Это ставит всех нас в крайне неприятное положение!

– А чем он плох?

– Какой-то конторщик из ОАК! Мог бы вступить в клуб в Шарп-тауне. Зачем ему ездить сюда?

– Но ведь там клуб закрыт, – сказал Рейт.

– Что ж, это их вина, а не наша.

За спиной санитарного инспектора раскинулся беспредельный простор ночи. Вдоль края холма перемигивались огоньки светлячков, и фонарь патрульного катера в бухте отличался от них лишь своей неподвижностью.

– Пора затемнять окна, – сказал Рейт. – Пойдемте-ка лучше в комнаты.

– А где этот Уилсон? – спросил его Скоби.

– Вон там. Бедняге, видно, тоскливо. Он приехал всего несколько дней назад.

Уилсон смущенно стоял в лабиринте мягких кресел и делал вид, будто разглядывает карту на стене. Его бледное лицо потемнело, как сырая штукатурка. Тропический костюм он явно купил у какого-то торговца на пароходе, который сбыл ему залежалый товар: материю красновато-бурого оттенка украшали нелепые полоски.

– Вы Уилсон? – спросил его Рейт. – Я заметил сегодня вашу фамилию в списках у начальника административного департамента.

– Да, это я, – сказал Уилсон.

– Меня зовут Рейт. Я его старший помощник. А это Скоби, помощник начальника полиции.

– Я видел вас, сэр, сегодня возле гостиницы «Бедфорд», – сказал Уилсон.

Во всем его поведении, казалось Скоби, была какая-то беззащитность; он стоял, покорно ожидая людского приговора – одобрят его или осудят, – и ни на что не рассчитывал. Он был очень похож на собаку. Никто еще не нанес на его лицо тех черт, которые сделают его человеком.

– Хотите выпить, Уилсон?

– Не возражал бы, сэр.

– Это моя жена, – сказал Скоби. – Луиза, познакомьтесь с мистером Уилсоном.

– Я уж слышала о мистере Уилсоне, – чопорно произнесла Луиза.

– Видите, какая вы знаменитость, – пошутил Скоби. – Простой смертный, а пробилась в святая святых.

– Я и не подозревал, что нарушаю правила. Меня пригласил майор Купер.

– Да, чтобы не забыть, – сказал Рейт, – надо записаться к Куперу. По-моему, у меня флюс. – И он ускользнул в другой конец комнаты.

– Купер мне говорил, что тут есть библиотека, – пролепетал Уилсон. – И я понадеялся...

– Вы любите книги? – спросила Луиза, и Скоби вздохнул с облегчением: теперь она будет приветлива с этим беднягой! У Луизы никогда ничего не поймешь заранее. Иногда она ведет себя, как самый последний сноб, но сейчас, подумал Скоби с щемящей жалостью, она, верно, считает, что не может позволить себе чваниться. Каждый новый человек, который еще «не знает, что Скоби обошли», для нее дар божий.

– Да в общем... – пробормотал Уилсон, отчаянно теребя жидкие усики, – в общем... – У него был такой вид, будто он хочет исповедоваться в чем-то очень страшном или, наоборот, что-то очень важное скрыть.

– Детективные романы? – спросила Луиза.

– Да, пожалуй... и детективные, – сбивчиво подтвердил Уилсон. – Правда, не все...

– Лично я люблю стихи, – сказала Луиза.

– Стихи, – повторил Уилсон, – да. – Он нехотя оставил в покое усики, и что-то в этом собачьем взгляде, полном благодарности и надежды, обрадовало Скоби. Неужели я в самом деле нашел ей друга?

– Я и сам люблю стихи, – сказал Уилсон.

Скоби отошел от них и направился в бар; у него отлегло от сердца. Вечер теперь пройдет хорошо – она вернется домой веселая и веселая ляжет спать. За ночь настроение не изменится, продержится до утра, а там уж Скоби пора будет идти на дежурство. Он сегодня выспится...

В баре он увидел компанию своих младших офицеров. Там были Фрезер, Тод и новый, из Палестины, с комичной фамилией Тимблригг. Скоби колебался, стоит ли ему входить. Они веселятся, и присутствие начальника вряд ли будет им приятно.

– Чудовищное нахальство! – воскликнул Тод. Очевидно, и тут речь шла о бедном Уилсоне. Но прежде чем Скоби успел уйти, он услышал голос Фрезера:

– Он за это наказан. Его зацапала Ученая Луиза.

Тимблригг утробно захихикал, и на его пухлой губе пузырьком вздулась капля джина.

Скоби поспешно вернулся в гостиную. Он на всем ходу налетел на кресло. Потом пришел в себя: перед глазами больше не ходили круги, но он чувствовал, что правый глаз щиплет от пота. Он потерял глаз; пальцы дрожали, как у пьяного. Он сказал себе: «Берегись. Здешний климат вреден для волнений. Здешний климат создан для низости, злобы, снобизма, но ненависть или любовь могут тут свести с ума». Он вспомнил, как выслали на родину Бауэрс за то, что тот на

балу дал пощечину адъютанту губернатора, и миссионера Мэкина, который кончил свои дни в сумасшедшем доме в Чайзлхерсте.

– Дьявольская жара, – сказал он какой-то фигуре, маячившей перед ним, словно в тумане.

– Вы плохо выглядите. Скоби. Выпейте чего-нибудь.

– Нет, спасибо. Мне еще надо проверить посты.

Возле книжных шкафов Луиза оживленно болтала с Уилсоном, но Скоби чувствовал, что злыязычие и чванство шныряют вокруг нее, как волки. Они не дадут ей порадоваться даже книгам, подумал он, и руки у него снова затряслись. Подходя к ней, он слушал, как она милостиво предлагает тоном доброй феи:

– Приходите как-нибудь к нам пообедать. У меня много книг, может, вам будет интересно.

– С большим удовольствием, – сказал Уилсон.

– Рискните нам позвонить: вдруг мы окажемся дома.

Скоби в это время думал: «Ах вы, ничтожества, как вы смеете издеваться над человеком?» Он сам знал ее недостатки. Его самого часто передергивало от ее покровительственного тона, особенно с незнакомыми. Он знал каждую фразу, каждую интонацию, которые восстанавливали против нее людей. Иногда ему хотелось предостеречь ее, как мать предостерегает дочь: не надевай этого платья, не повторяй этих слов, – но он должен был молчать, заранее терзаясь оттого, что она потеряет друзей. Хуже всего было, когда он замечал у своих сослуживцев какое-то сочувствие к себе, словно они его жалели. Он едва сдерживался, чтобы не крикнуть: какое вы имеете право ее осуждать? Это я во всем виноват. Я ее такой сделал. Она не всегда была такая.

Он быстро к ней подошел.

– Дорогая, мне надо объехать посты.

– Уже?

– Увы, да.

– Я побуду еще немножко. Миссис Галифакс довезет меня до дому.

– Я бы хотел, чтобы ты поехала со мной.

– Куда? Проверять посты? Я не ездила уже целую вечность.

– Вот поэтому я тебя и зову. – Он взял ее руку и поцеловал; это был вызов. Он объявлял им всем, что его нечего жалеть, что он любит свою жену, что они счастливы. Но никто из тех, кому он хотел это доказать, его не видел: миссис Галифакс возилась с книгами, Рейт давно ушел, Бригсток пил в баре, Феллоуз был поглощен беседой с миссис Касл – никто ничего не видел, кроме Уилсона.

– Мы поедем с тобой в другой раз, милый, – сказала Луиза. – Миссис Галифакс обещала подвезти мистера Уилсона до гостиницы, она все равно поедет мимо нашего дома. Я хочу ему дать почитать одну книжку.

Скоби почувствовал к Уилсону глубочайшую благодарность.

– Прекрасно, – сказал он, – прекрасно. Но лучше чего-нибудь выпейте. Подождите меня, я сам доведу вас до «Бедфорда». Я скоро вернусь.

Он положил руку на плечо Уилсона и мысленно взмолился: «Господи, не дай ей вести себя с ним слишком покровительственно; не дай ей быть слишком нелепой; не дай ей потерять хоть эту дружбу!»

– Я не прощаюсь, – сказал он вслух. – Надеюсь вас увидеть, когда вернусь.

– Вы очень любезны, сэр.

– Не зовите меня так почтительно, Уилсон. Вы же не полицейский. И благодарите бога, что не полицейский.

Скоби вернулся позже, чем предполагал. Задержала его встреча с Юсефом. На полпути в город он наткнулся на машину Юсефа, стоящую на обочине; сам Юсеф мирно спал на заднем сиденье; свет фар упал на его крупное одутловатое лицо и седой клочок на лбу, скользнул по жирным бедрам, обтянутым белым тиком. Рубашка у Юсефа была расстегнута, и колечки черных волос на груди обвивались вокруг пуговиц.

– Может, вам помочь? – нехотя осведомился Скоби, и Юсеф открыл глаза; золотые зубы, вставленные его братом, зубным врачом, на мгновение вспыхнули, как факел. Если сейчас мимо поедет Феллоуз, ему будет что рассказать завтра утром в Администрации. Помощник начальника полиции ночью тайком встречается с лавочником Юсефом! Оказать помощь сирийцу было почти так же опасно, как воспользоваться его помощью.

– Ах, майор Скоби! – сказал Юсеф. – Сам бог мне вас посылает!

– Чем я могу помочь?

– Мы торчим здесь уже полчаса. Машины проходят мимо, не останавливаясь, и я все жду, когда же появится добрый самаритянин.

– У меня нет лишнего едея, чтобы возлить вам на раны, Юсеф.

– Ха-ха! Вот это здорово, майор Скоби! Но если бы вы согласились подвезти меня в город... Юсеф вскарабкался в «моррис» и уперся толстой ляжкой в ручку тормоза.

– Пусть ваш слуга сядет сзади.

– Нет, он останется здесь. Скорее починит машину, если будет знать, что иначе ему домой не добраться. – Сложив жирные руки на коленях, Юсеф сказал: – У вас хорошая машина, майор Скоби. Вы за нее заплатили, наверно, не меньше четырехсот фунтов.

– Сто пятьдесят.

– Я бы вам дал за нее четыреста.

– Она не продается. Где я достану другую?

– Не сейчас, а когда вы будете уезжать...

– Я не собираюсь уезжать.

– Ну? А я слышал, что вы подаете в отставку.

– Это неправда.

– В лавках чего только не болтают... Да, все это просто сплетни.

– Как идут дела?

– Не так уж плохо. Но и не слишком хорошо.

– А я слышал, что вы за войну нажили не одно состояние. Но это, конечно, тоже сплетни.

– Да вы же сами все знаете, майор Скоби. Моя лавка в Шарп-тауне торгует хорошо, потому что я в ней сижу сам, а хозяйский глаз всегда нужен. Моя лавка на Маколей-стрит торгует сносно – там сидит моя сестра. Но вот в лавках на Дурбан-стрит и на Бонд-стрит бог знает что творится. Обжужливают меня безбожно. Ведь я, как и все мои соплеменники, грамоты не знаю, и надуть меня ничего не стоит.

– Люди болтают, будто вы помните наизусть, сколько у вас товара в каждой лавке.

Юсеф ухмыльнулся и расцвел.

– Память у меня и правда неплохая. Но зато ночи напролет не сплю. Если не выпью побольше виски, все думаю, как там у меня на Дурбан-стрит, и на Бонд-стрит, и на Маколей-стрит.

– К какой из них вас подвезти?

– Ну, сейчас я поеду домой, спать. Живу я, если вас не затруднит, в Шарп-тауне. Может, зайдём ко мне, выпьем рюмочку виски?

– Никак нет. Я на дежурстве, Юсеф.

– Это было очень любезно с вашей стороны, майор Скоби, что вы меня подвезли. Можно мне вас поблагодарить и послать миссис Скоби кусок шелка?

– Мне бы это было крайне неприятно, Юсеф.

– Да, да, понимаю. Ах, эти сплетни! До чего же противно! И все потому, что среди сирийцев есть такие люди, как Таллит.

– Вам бы очень хотелось избавиться от Таллита, Юсеф?

– Да, майор Скоби. И мне было бы хорошо, да и вам было бы хорошо.

– Вы ведь в прошлом году продали ему несколько фальшивых алмазов, правда?

– Ах, майор Скоби, неужели вы верите, что я могу кого-нибудь так надуть? Сколько бедных сирийцев пострадало из-за этих алмазов, майор Скоби! Ведь это же позор – обманывать своих соплеменников!

– Не надо было нарушать закон и скупать алмазы! А ведь кое-кто еще имел наглость пожаловаться в полицию!

– Темные люди, что поделаешь!

– Ну, вы-то не такой уж темный человек, Юсеф!

– Если вы спросите меня, майор Скоби, во всем виноват Таллит. Не то зачем было ему врать, будто я продал ему алмазы?

Скоби ехал медленно. Немощеная улица была запружена людьми. В пригашенном свете фар раскачивались длинноногие худые черные тела.

– Долго еще будет в городе туго с рисом, Юсеф?

– Да ведь я знаю об этом не больше вашего, майор Скоби.

– Я знаю, что эти бедняги не могут купить риса по твердой цене.

– А я слышал, что они не могут получить свою долю продовольственной помощи, если не дадут взятки полицейскому.

И это была суцая правда. На всякое обвинение во взяточничестве ты слышал здесь контробвинение. Всегда можно было сослаться на еще более бесстыдную продажность в другом месте. Сплетники из Администрации делали нужное дело: они внушали мысль, что доверять нельзя никому. Это все-таки лучше, чем преступная терпимость. И за что только, думал он, круто сворачивая, чтобы объехать дохлую собаку, я так люблю эти места? Неужели потому, что человеческая натура еще не успела здесь прикрыться личиной? Никто тут не станет болтать насчет земного рая. Рай находился на своем положенном месте – по ту сторону могилы, а по эту сторону царят несправедливость, жестокость и подлость, которые в других местах люди так ловко умеют скрывать. Тут можно любить человека почти так, как его любит бог, зная о нем самое худшее; тут вы любите не позу, не красивое платье, не надуманные чувства... Он вдруг почувствовал нежность к Юсефу и сказал:

– Чужими грехами не отмоешься. Смотрите, Юсеф, как бы ваш толстый зад не отведал моего пинка.

– Все может быть, майор Скоби. А вдруг мы с вами еще и подружимся... Как бы я этого желал!

Они остановились возле дома в Шарп-тауне; оттуда выбежал с фонариком управляющий Юсефа, чтобы осветить хозяину.

– Майор Скоби, – сказал Юсеф, – мне было бы так приятно предложить вам рюмку виски. Ведь я бы мог вам серьезно помочь. Я настоящий патриот, майор Скоби.

– Поэтому вы и придерживаете ситец на случай вторжения вишистов? Надеетесь продать

тогда товар дороже, чем на английские фунты.

– «Эсперанса» приходит завтра?

– Вероятно.

– Ну разве не пустая трата времени искать на таком большом корабле маленькие алмазы?

Если, конечно, не знаешь заранее, где они лежат. Разве вы не понимаете, что когда судно возвращается в Анголу, моряки докладывают, в каких местах вы искали. Ну, вы пересыплете весь сахар в трюме. Ну, прощупаете сало в кухне, потому что кто-то когда-то сказал капитану Дрюсу, что алмаз можно нагреть и бросить в банку с салом. Ну, вы обшарите кабины, вентиляторы и матросские сундучки. Даже выдавите зубную пасту из тюбика. Неужели вы верите, что когда-нибудь найдете хоть один маленький алмазик?

– Нет, не верю.

– Вот и я тоже.

Возле уложенных пирамидами ящиков по бокам горели керосиновые фонари. Скоби с трудом разглядел на черной глади воды плавучую базу – списанный лайнер, который, как говорили, сидел на рифе из пустых бутылок из-под виски. Он тихонько постоял, вдыхая резкий запах моря; в полумиле от него бросил якорь целый караван судов, но видны были только длинный темный силуэт плавучей базы и цепочки красных огоньков – словно по склону холма взбегала улица; да и слышно тут ничего не было, кроме плеска воды, шлепавшей о причалы. Скоби всегда чувствовал притягательную силу этих мест: тут был его опорный пункт на границе неведомого материка.

Где-то в темноте прошмыгнули две крысы. Портовые крысы были величиной с зайца, черные звали их свиньями, жарили и ели; эта кличка помогала отличать их от портовых крыс человеческой породы. Скоби шел вдоль узкоколейки, направляясь к базару. Возле одного из складов он встретил двух полицейских.

– Никаких происшествий?

– Никаких, начальник.

– В той стороне были?

– Как же, начальник, только что оттуда.

Он знал, что полицейские врут: они ни за что не пойдут одни в тот конец пристани – прибежище портовых «крыс», – если с ними нет белого начальника. «Крысы» трусливы, но опасны – это парни лет по шестнадцати, вооруженные бритвами или битым стеклом: они тучами выются возле складов, высматривая, что бы стащить, если легко вскрыть ящик; стаей налетают на хмельного матроса, если он попадетсся им на глаза, а то и полоснут бритвой полицейского, если он чем-нибудь досадил кому-то из их несметной родни. Никакие заборы от них не спасали: они добирались вплавь из негритянской части города или с рыбачьих отмелей.

– Пойдемте, – сказал Скоби, – проверим еще разок.

Полицейские устало, но покорно брели за ним: полмили в один конец и полмили – в другой. На пристани слышалась только беготня «свиней» да плеск воды. Один из полицейских умиротворенно заметил:

– Спокойная ночка, начальник.

Они с показным усердием водили фонарями по сторонам, выхватывая из темноты

брошенный остов машины, пустой грузовик, край брезента, поставленную возле склада бутылку, заткнутую пальмовыми листьями.

Скоби спросил:

– Это что?

Ему повсюду мерещились зажигательные бомбы – их так легко приготовить. А ведь каждый день с территории вишистов приходят люди с контрабандным скотом; это даже поощряется: не хватает мяса. По эту сторону границы туземцев обучают диверсиям на случай вторжения; наверно, то же делается и по ту сторону границы.

– Дайте мне, я погляжу, – сказал он, но полицейские не решались до нее дотронуться.

– Просто туземное снадобье, начальник, – пробормотал один из них с видом превосходства.

Скоби поднял бутылку. Она была из-под шотландского виски, и когда он ее откупорил, оттуда пахло собачьей мочой и какой-то падалью. От раздражения у него застучало в висках. Почему-то он вспомнил красное лицо Фрезера и хихиканье Тимблригга. От вони его затошнило, пальцы были словно вымараны прикосновением к пальмовым листьям затычки. Он кинул бутылку в воду, и ненасытная утроба, чавкнув, проглотила ее, но содержимое выплеснулось по дороге, и застоявшийся воздух вокруг сразу же пропитался кислым запахом аммиака. Полицейские молчали; Скоби чувствовал, что они его осуждают. Надо было оставить бутылку там, где она была; ее подсунули с определенной целью – во вред определенному человеку, а теперь, когда ее содержимое выпустили на волю, злой наговор словно слепо носится вокруг и того и гляди падет на чью-нибудь неповинную голову.

– Спокойной ночи, – сказал Скоби и круто повернулся кругом. Не пройдя и двадцати шагов, он услышал, как торопливо шлепают подметки полицейских, унося их подальше от опасного места.

Скоби поехал в полицию по Питт-стрит. Возле публичного дома, на левой стороне улицы вдоль тротуара сидели девицы – они вышли подышать воздухом. Ночью, за шторами затемнения в полиции еще пронзительнее пахло обезьяньим питомником. Дежурный сержант снял ноги со стола и вытянулся.

– Никаких происшествий?

– Пятеро пьяных хулиганили, начальник. Я запер их в большой камере.

– Что еще?

– Два француза без паспортов.

– Черные?

– Да, сэр.

– Где их взяли?

– На Питт-стрит, начальник.

– Я с ними поговорю утром. Что катер? В порядке? Мне надо будет поехать на «Эсперансу».

– Поломался, начальник. Мистер Фрезер чинил его, начальник, но катер все время дурит.

– Когда мистер Фрезер дежурит?

– С семи, начальник.

– Передайте, что ему не надо будет ехать на «Эсперансу». Я поеду сам. Если катер не будет работать, я поеду с береговой охраной.

Садясь опять в машину и нажимая на неподатливый стартер. Скоби подумал, что на такую месть человек, ей-богу же, имеет право! Месть закаляет характер, месть учит прощать. Проезжая через негритянский квартал, он стал потихоньку насвистывать. Он даже развеселился – эх, если бы только знать, что после его отъезда из клуба там ничего не случилось и что сейчас, в 22:55, Луиза спокойна и довольна своей судьбой. Тогда ему не страшно будущее, что бы это

будущее ему не сулило.

Прежде чем войти, он обогнул дом и проверил затемнение со стороны, выходящей к океану. Из комнаты доносился монотонный голос Луизы: она, видимо, читала стихи. Он подумал: господи, кто дал право этому щенку Фрезеру ее презирать? Но потом гнев его прошел – он вспомнил, какое разочарование ждет Фрезера утром – ни прогулки на португальское судно, ни подарка для девушки; вместо этого скучный день в раскаленной от жары канцелярии. Нашаривая впотьмах ручку задней двери, – Скоби не хотел зажигать фонарик, – он поранил себе правую кисть.

Войдя в освещенную комнату, он заметил, что с руки капает кровь.

– Милый, что ты наделал! – воскликнула Луиза и закрыла руками лицо. Она не выносила вида крови.

– Разрешите помочь вам, сэр, – сказал Уилсон. Он сделал тщетную попытку встать, так как сидел на низеньком стульчике у ног Луизы и на коленях у него была целая груда книг.

– Чепуха, – сказал Скоби. – Просто царапина. Я сам с ней справлюсь. Скажи только Али, чтобы он принес наверх воды.

Дойдя до середины лестницы, он снова услышал голос Луизы. Она сказала:

– Прекрасное стихотворение о портале...

Скоби вошел в ванную и спугнул крысу, дремавшую на прохладном борту ванны, словно кошка на надгробной плите.

Скоби сел на край ванны и вытянул руку над клозетным ведром с опилками, давая крови стечь. Тут, совсем как в служебном кабинете, у него сразу возникло ощущение, что он дома Луиза, при всей своей изобретательности, ничего не могла поделать с этой комнатой: эмаль на ванне облупилась; кран всегда переставал подавать воду к концу засухи, цинковое ведро под унитазом опорожнялось лишь раз в день; над раковиной в стене был еще один кран, но из него тоже не шла вода; дощатый пол был голый, а на окнах висели жухлые зеленые занавески для затемнения. Усовершенствования, внесенные Луизой, ограничились пробковым ковриком у ванны и белоснежным шкафчиком для лекарств на стене.

Все остальное здесь было его собственное. словно реликвия юности, которую возишь за собой из дома в дом, Такая ванная была много лет назад в его первом доме, еще до женитьбы. В этой комнате он всегда был один.

Вошел Али, шлепая розовыми подошвами по дощатому полу, и принес бутылку воды из фильтра.

– Задняя дверь меня подвела, – объяснил Скоби.

Он вытянул руку над раковиной, и Али стал промывать рану. Слуга тихонько прищелкнул языком в знак сочувствия; руки его были нежны, как у девушки. Когда Скоби нетерпеливо крикнул: «Хватит!» – Али не обратил на это никакого внимания.

– Много грязи, – заявил он.

– Теперь йод. – Малейшая царапина в этих краях уже через час начинала гноиться. – Еще лей! – сказал он, вздрогнув, когда стало жечь. Снизу из ровного гудения голосов вырвалось слово «красота»; долетев сюда, оно заглохло в раковине. – Теперь пластырь.

– Нет, – сказал Али, – нет. Лучше бинт.

– Ладно. Забинтуй. – Много лет назад он научил Али делать перевязки; теперь тот орудовал бинтом не хуже врача.

– Спокойной ночи, Али. Ступай спать. Ты мне больше не понадобишься.

– Миссис хочет пить.

– Я сам напою ее. Иди спать.

Оставшись один, он снова уселся на край ванны. Рана немножко вывела его из равновесия, к тому же ему вовсе не хотелось идти к тем двоим, – он знал, что будет стеснять Уилсона. Человек не может слушать при посторонних, как женщина читает ему стихи. «Нет, лучше буду я котеночком мяукать...» Неправда, он к этому так не относится. Он не презирает, ему просто непонятен такой обнаженный показ сокровенных чувств. И к тому же ему хорошо в своем отдельном мирке, на том месте, где восседала крыса. Он стал думать об «Эсперансе» и о работе, которая ждет его завтра.

– Милый! – крикнула снизу Луиза. – Как ты себя чувствуешь? Ты можешь отвезти мистера Уилсона домой?

– Я отлично дойду пешком, миссис Скоби!

– Ерунда!

– Нет, в самом деле...

– Сейчас, – крикнул Скоби. – Конечно, я вас отвезу.

Когда он сошел к ним, Луиза нежно взяла его забинтованную руку в свои.

– Бедная ручка, – сказала она. – Тебе больно?

Чистый белый бинт ее не пугал, как не пугает раненый в палате, заботливо прикрытый простыней до самой шеи. Ему можно принести фрукты и не думать о том, как выглядит рана, раз ты ее не видишь. Она приложилась губами к перевязке и оставила на ней оранжевое пятнышко помады.

– Пустяки, – сказал Скоби.

– Право же, сэр, я могу дойти пешком.

– Никуда вы не пойдете пешком. Лезьте в машину.

Свет от щитка упал на экстравагантное одеяние Уилсона. Тот высунулся из окна и закричал:

– Спокойной ночи, миссис Скоби. Мне было так приятно! Не знаю даже, как вас благодарить!

Голос его задрожал от искреннего волнения – это придало словам какой-то чужеземный оттенок – так их произносили только на родине. Тут интонация менялась через несколько месяцев после приезда – становилась визгливой, неискренней или тусклой и нарочито невыразительной. Сразу было видно, что Уилсон недавно из Англии.

– Приходите к нам поскорее, – сказал Скоби, когда они ехали по Бернсайд-роуд к гостинице «Бедфорд»: он вспомнил, какое счастливое лицо было у Луизы.

Ноющая боль в правой руке разбудила Скоби в два часа ночи. Он лежал, свернувшись, как часовая пружина, на самом краю постели, стараясь не прикасаться к Луизе: стоило им дотронуться друг до друга хотя бы пальцем, сразу же выступал пот. Даже когда их тела не соприкасались, между ними вибрировала жара. Лунный свет лежал на туалетном столе

прохладным озерком, освещая пузырьки с лосьоном, баночки с кремом, край фотографии в рамке. Он прислушался к дыханию Луизы.

Она дышала неровно. Она не спала. Он протянул руку и дотронулся до ее влажных, горячих волос; она лежала как деревянная, словно боялась выдать какую-то тайну. С душевной болью, заранее зная, что он найдет, Скоби провел пальцами по ее лицу и нащупал веки. Луиза плакала. Скоби почувствовал безмерную усталость, но пересилил себя и попытался ее утешить.

– Что ты, дорогая, – сказал он, – ведь я же тебя люблю.

Он всегда так начинал. Слова утешения, как и акт любви, постепенно превращаются в шаблон.

– Знаю, – сказала она, – знаю. – Она всегда так отвечала.

Он выругал себя за бессердечность, потому что помимо воли подумал: сейчас уже два часа, это будет тянуться без конца, а в шесть надо вставать и идти. Он откинул волосы у нее со лба.

– Скоро пойдут дожди. Ты себя почувствуешь лучше.

– Я и так хорошо себя чувствую, – вымолвила она и разрыдалась.

– Что с тобой, детка? Скажи. Ну, скажи своему Тикки. – Он чуть не поперхнулся. Он ненавидел кличку, которую она ему дала, но эта уловка всегда оказывала действие.

– Ох, Тикки, Тикки, – простонала она. – Я больше не могу.

– А мне казалось, что сегодня вечером ты была довольна.

– Да, но ты подумай: довольна потому, что какой-то конторщик был со мною мил. Тикки, почему они все меня не любят?

– Не глупи, дорогая! На тебя дурно влияет жара, ты выдумываешь бог знает что. Тебя все любят.

– Только Уилсон, – повторила она со стыдом и отчаянием и опять зарыдала.

– Что ж, Уилсон парень неплохой.

– Они не хотят пускать его в клуб. Он явился незваный, с зубным врачом. Теперь они будут смеяться над ним и надо мной. Ох, Тикки, Тикки, дай мне уехать и начать все сначала.

– Ладно, дорогая, ладно, – сказал он, глядя сквозь москитную сетку в окно, на ровную гладь кишящего миазмами океана. – Но куда?

– Я могла бы поехать в Южную Африку и пожить там, покуда ты получишь отпуск. Тикки, ты же все равно скоро выйдешь в отставку. А я налажу пока для тебя дом.

Он чуть заметно отстранился от нее, а потом поспешно, боясь, как бы она этого не заметила, взял ее влажную руку и поцеловал в ладонь.

– Это будет дорого стоить, детка.

Мысль об отставке сразу же взбудоражила его и расстроила: он всегда молил бога, чтобы смерть пришла раньше. Надеясь на это. Скоби застраховал свою жизнь. Он представил себе дом, который она ему сулила наладить, постоянное их жилье: веселенькие занавески в стиле модерн, книжные полки, заставленные книжками Луизы, красивую кафельную ванну, щемящую тоску по служебному кабинету – дом на двоих до самой смерти и больше никаких перемен, пока в права свои не вступит вечность.

– Тикки, я здесь больше не могу жить.

– Надо все как следует обдумать, детка.

– В Южной Африке Этель Мейбэри. И Коллинзы. В Южной Африке у нас есть друзья!

– Но там все очень дорого.

– Ты мог бы отказаться хотя бы от части своей дурацкой страховки. И потом, Тикки, без меня ты бы меньше тратил. Мог бы питаться в столовой и обойтись без повара.

– Он стоит немного.

– Но и такая экономия будет кстати.

– Я буду по тебе скучать, – сказал он.

– Нет, Тикки, не будешь, – возразила она, удивив его глубиной своей неожиданной горестной интуиции. – И, в конце концов, нам ведь не для кого копить.

Он сказал очень ласково:

– Хорошо, детка, я непременно что-нибудь устрою. Ты же знаешь, я сделаю для тебя все, что можно.

– А ты меня не просто утешаешь, потому что сейчас уже два часа ночи? Ты, правда, что-нибудь придумаешь?

– Да, детка. Я что-нибудь придумаю.

Он был удивлен, что она так быстро уснула: она была похожа на усталого носильщика, который наконец-то скинул свою ношу. Она уснула, не дослушав фразу, вцепившись, как ребенок, в его палец и по-детски легко дыша. Ноша теперь лежала возле него, и он готовился взвалить ее себе на плечи.

В восемь часов утра по дороге к пристани Скоби заехал в банк. В кабинете управляющего было полутемно и прохладно. На несгораемом шкафу стоял стакан воды со льда.

– Доброе утро, Робинсон.

Робинсон, высокий человек с впалой грудью, был озлоблен тем, что его не назначили в Нигерию. Он пожаловался:

– Когда наконец переменится эта гнусная погода? Дожди запаздывают.

– В Протекторате они уже пошли.

– В Нигерии всегда знаешь, на каком ты свете. Чем могу быть вам полезен, Скоби?

– Не возражаете, если я присяду"?

– Конечно, нет. Я лично никогда не сажусь до десяти. Когда стоишь, лучше переваривается пища. – Он беспокойно сновал по кабинету на тонких, как ходули, ногах, потом с отвращением хлебнул ледяной воды, словно это было лекарство. На столе Скоби увидел книгу «Болезни мочевых путей», открытую на цветной таблице. Робинсон повторил: – Чем я могу быть полезен?

– Дайте двести пятьдесят фунтов, – нервно отшутился Скоби.

– Вы все, видно, считаете, что банк набит деньгами, как копилка, – сухо осклабился Робинсон. – Сколько вам на самом деле нужно?

– Триста пятьдесят.

– А сколько у вас сейчас на счету?

– По-моему, фунтов тридцать. Сейчас ведь конец месяца.

– Давайте-ка мы это проверим. – Он позвал конторщика, и пока они ждали, Робинсон вышагивал по кабинету: шесть шагов до стены и столько же обратно. – Сто семьдесят шесть раз взад и вперед – будет миля. Я стараюсь до обеда сделать три мили. Берегу здоровье. В Нигерии я ходил пешком в клуб завтракать, полторы мили туда и еще полторы – назад в контору. А здесь гулять негде, – говорил он, делая полуоборот на ковре. Служащий положил ему на стол листок бумаги. Робинсон поднес его к самым глазам, словно хотел понюхать. – Двадцать восемь фунтов, пятнадцать шиллингов и семь пенсов.

– Я хочу отослать жену в Южную Африку.

– Ах, вот что. Понятно.

– Пожалуй, я могу чуть-чуть ужаться, – сказал Скоби. – Хотя из моего жалованья много я ей дать не смогу.

– Не вижу, к сожалению, как...

– Я думал, вы мне позволите превысить кредит, – сказал не очень уверенно Скоби. – Многие ведь так делают. Вы знаете, я брал вперед только раз, да и то лишь на несколько недель, фунтов пятнадцать. Мне было очень неприятно. Меня это даже пугало. Почему-то казалось, что я задолжал лично управляющему.

– Беда в том, Скоби, что мы получили приказ ни в коем случае не допускать кредитования вкладчиков. Идет война. Никто сейчас не может предложить в качестве обеспечения самое ценное – свою жизнь.

– Да, понимаю. Но моя жизнь пока что в безопасности: я не собираюсь никуда двигаться. Подводные лодки мне не страшны. И работе моей никто не угрожает, – продолжал он все с той же неубедительной игристой.

– Начальник полиции как будто выходит в отставку? – спросил Робинсон, дойдя до несгораемого шкафа в конце комнаты и поворачивая назад.

– Он – да, но я-то нет.

– Рад это слышать, Скоби, Тут пошли слухи...

– Когда-нибудь и мне придется выйти в отставку, но до этого еще далеко. Я предпочту умереть на своем посту. И я ведь застрахован, Робинсон. Разве мой полис не может служить обеспечением?

– Вы же отказались от трети страховки три года назад.

– Да, в тот год, когда Луиза ездила на родину делать операцию.

– Не думаю, чтобы вы много выплатили в счет остальных двух третей.

– Но все же страховка вас гарантирует на случай моей смерти. Не правда ли?

– Да, если вы будете аккуратно делать взносы... А какая у нас в этом уверенность. Скоби?

– Никакой, – сказал Скоби. – Это верно.

– Мне очень жаль. Скоби. Не думайте, что это относится лично к вам. Такие уж у банка правила. Если бы вам нужно было фунтов пятьдесят, я бы дал вам их сам.

– Не стоит об этом больше говорить, Робинсон, – сказал Скоби. – Не такое уж это спешное дело. Ребята из Администрации скажут, что мне легко набрать эти деньги взятками, – застенчиво засмеялся он. – Как поживает Молли?

– Очень хорошо, спасибо. Жаль, что не могу этого сказать о себе.

– Вы слишком много читаете медицинских книг.

– Надо же человеку знать, что у него болит. Приедете вечером в клуб?

– Вряд ли. Луиза немножко прихворнула. С ней всегда это бывает перед дождями.

Простите, что отнял у вас время. Мне пора двигаться.

Понуриив голову, он быстро пошел вниз. У него было скверное чувство, будто его поймали в каком-то неблагоприятном поступке, – он выпрашивал деньги, а ему отказали. Луиза заслуживает большего. Ему казалось, что в каком-то смысле он оплошал как мужчина.

Дрюс сам выехал на «Эсперансу» со своим отрядом береговой охраны. На трапе их ждал буфетчик, который передал приглашение капитана выпить с ним у него в каюте. Начальник морской охраны был уже на борту. Это была часть церемониала, повторявшегося два раза в месяц: устанавливались дружеские отношения с командиром нейтрального корабля; принимая его приглашение, пытались подсластить горькую пилюлю досмотра; в это время внизу, под капитанским мостиком, обыск шел полным ходом. Пока у пассажиров первого класса проверяли паспорта, их каюты обшаривал отряд береговой охраны. Другие осматривали трюм – там происходила унылая, бессмысленная процедура пересыпки риса. Как сказал Юсеф? «Вы когда-нибудь нашли хоть один маленький алмазик? Неужели вы верите, что найдете?» Через несколько минут, когда все выпьют и дружеские отношения наладятся; Скоби предстоит неприятная задача – обыскать каюту самого капитана. Принужденный, несвязный разговор вел в основном морской офицер.

Капитан отер одутловатое, желтое лицо и сказал:

– Конечно, к англичанам я питаю в своем сердце огромное восхищение.

– Нам, поверьте, и самим это противно, – уверял лейтенант. – Просто беда, что вы – судно нейтральной державы!

– Мое сердце полно восхищения перед вашей величественной борьбой. В нем нет места обиде. Кое-кто из моих людей обижается. Я – нет, – говорил португальский капитан. С лица его

ручьями лил пот, белки были воспалены. Он все говорил о своем сердце, но Скоби подумал, что трудно было бы найти это сердце даже при помощи серьезной хирургической операции.

– Весьма признательны, – отвечал лейтенант. – Мы глубоко ценим ваше расположение...

– Еще по рюмке портвейна, джентльмены?

– Что ж, спасибо. Такого на берегу не найдешь. А вы, Скоби?

– Нет, благодарю.

– Надеюсь, майор, вы нас здесь не задержите на ночь?

– Боюсь, что вам не удастся выйти раньше, чем завтра в полдень, – ответил Скоби.

– Мы сделаем все, что возможно, – утешил лейтенант.

– Положа руку на сердце, – джентльмены, могу вас заверить, что среди моих пассажиров вы не найдете ни одного преступника. Ну, а команда – их-то я всех знаю, как свои пять пальцев.

– Такой уж теперь порядок, капитан, – сказал Дрюс, – мы не имеем права его нарушать.

– Возьмите сигару, – предложил капитан. – По особому заказу. Бросьте вы эту сигарету.

Дрюс закурил сигару, которая начала искриться и трещать. Капитан захохотал:

– Я вас разыграл, джентльмены. Невинная шутка. Эту коробку я держу для друзей. У англичан необыкновенное чувство юмора. Я знал, что вы не рассердитесь. Немец непременно бы обозлился, англичанин – никогда! По всем правилам игры, да?

– Забавно, – кисло сказал Дрюс, положив сигару в пепельницу, которую подставил ему капитан. Пепельница (капитан нажал на нее пальцем) заиграла дребезжащий мотивчик. Дрюс снова дернулся: он не получил отпуска, и нервы у него были не в порядке.

Капитан скалил зубы и обливался потом.

– Швейцарская штучка! – сказал он. Поразительный народ. И тоже нейтральный.

Вошел один из полицейских береговой охраны и сунул Дрюсу записку. Тот передал ее Скоби.

«Буфетчик, которого собираются уволить, сообщил, что у капитана в ванной спрятаны письма».

– Пожалуй, пойду, потороплю их там в трюме, – сказал Дрюс. – Идемте, Эванс. Большое спасибо за портвейн, капитан.

Они оставили Скоби наедине с капитаном. Эту часть своей работы Скоби не выносил: такие люди, как капитан, не были преступниками, хотя и нарушали правила, навязанные нейтральным пароходствам воюющими странами. Во время обыска никогда не знаешь заранее, что ты найдешь. Спальня человека – это его личная жизнь; роясь в ящиках, нападаешь на следы унижений, уличаешь в мелких страстишках, которые старательно прячут, как грязный носовой платок; под стопкой белья можно обнаружить беду, которую хозяин всячески старался забыть.

Скоби мягко сказал:

– Увы, капитан, придется мне и у вас тут пошарить немножко. Сами знаете, такой порядок.

– Что ж, исполняйте ваш долг, майор.

Скоби быстро и тщательно обыскал каюту: каждую вещь он заботливо клал на место, как хорошая хозяйка. Капитан стоял, повернувшись к Скоби спиной, и смотрел на мостик; казалось, он не хочет смущать гостя, занятого непотребным делом. Скоби кончил обыск, закрыл коробку с презервативами и аккуратно поставил ее назад, на верхнюю полку шкафчика, где лежали носовые платки, пестрые галстуки и пачка порнографических открыток.

– Все? – вежливо осведомился капитан, поворачивая голову.

– А это что за дверь? – спросил Скоби. – Что там у вас?

– Ванная и уборная.

– Пожалуй, надо заглянуть и туда.

– Прошу, майор, но где там можно что-нибудь спрятать?...

– Если вы не возражаете...

– Конечно, прошу вас. Это ваш долг.

Ванная была пустая и необычайно грязная. На стенках ванны серой каймой осело засохшее мыло, а под ногами на кафельном полу хлюпала вода. Задача состояла в том, чтобы сразу же найти тайник. Долго здесь оставаться нельзя, – капитан сразу поймет, что кто-то донес. Обыск должен носить формальный характер – не слишком поверхностный, но и не слишком дотошный.

– Тут мы скоро справимся, – весело сказал Скоби, бросив взгляд в зеркало для бритья на одутловатое спокойное лицо капитана. Донос к тому же мог быть ложным, буфетчик его сделал со зла.

Скоби отворил шкафчик для лекарств и бегло проверил его содержимое: отвинтил крышечку у тюбика с зубной пастой, распечатал пакет с лезвиями, сунул палец в крем для бритья. Он не рассчитывал там что-нибудь найти. Но поиски давали ему время подумать. Он подошел к раковине, пустил воду, сунул палец в отверстие крана. Осмотрев пол, понял, что там ничего не спрячешь. Теперь иллюминатор: он проверил винты и подвигал взад и вперед задвижку. Всякий раз, оборачиваясь, он видел в зеркале спокойное, покорное лицо капитана. Как в детской игре, оно словно говорило ему: «холодно, холодно!»

Наконец – уборная. Скоби поднял деревянное сиденье – между фаянсом и деревом не было ничего. Он взялся за цепочку и тут увидел, что лицо в зеркале стало напряженным: карие глаза больше на него не смотрели, они были устремлены на что-то другое, и, следуя за этим взглядом, Скоби увидел свою руку, сжимавшую цепочку.

Может быть, в бачке нет воды? – подумал он и дернул цепочку. Журча и колотясь о стенки труб, вода хлынула вниз. Скоби отвернулся, и португалец воскликнул с самодовольством, которого не мог скрыть:

– Вот видите, майор!

И Скоби тут же все понял. «Я становлюсь невнимательным», подумал он и поднял крышку бачка. К ней изнутри было приклеено пластырем письмо. Вода до него не доставала.

Скоби прочел адрес: «Лейпциг. Фридрихштрассе, фрау Гренер». Он произнес:

– Простите, капитан... – Тот не отвечал, и, подняв на него глаза, Скоби увидел, как по воспаленным толстым щекам катятся слезы, смешиваясь со струйками пота. – Мне придется это забрать и сообщить куда следует...

– Проклятая война, – вырвалось у капитана, – как я ее ненавижу!

– Да и нам не за что ее любить, – сказал Скоби.

– Человек должен погибнуть потому, что написал письмо дочери!

– Это ваша дочь?

– Да. Фрау Гренер. Распечатайте и прочтите. Увидите сами.

– Не имею права. Должен сдать в цензуру. А почему вы не подождали с этим письмом, пока не придете в Лиссабон?

Португалец опустил на край ванны всей своей тушей, словно уронил тяжелый мешок, который больше не мог нести. Он тер глаза тыльной стороной руки, как ребенок, – несимпатичный ребенок: толстый мальчик, над которым потешается вся школа. Можно вести беспощадную войну с красивым, умным и преуспевающим противником, а вот с несимпатичным как-то неловко: сразу словно камень давит на сердце. Скоби знал, что должен взять письмо и уйти, сочувствие тут неуместно.

– Будь у вас дочь, вы бы меня поняли, – простонал капитан. – Но у вас, видно, нет дочери, – обличал он так, словно бесплодие это смертный грех.

– Нет.

– Она обо мне беспокоится. Она меня любит, – твердил он, подняв мокрые от слез глаза, будто стараясь что-то втолковать Скоби и сам понимая, как это неправдоподобно. – Она меня любит, – горестно повторил он.

– Но почему бы вам не написать ей из Лиссабона? – опять спросил Скоби. – Зачем было так рисковать?

– Я человек одинокий. У меня нет жены, – сказал капитан. – Не терпится отвести душу. А в Лиссабоне – сами знаете, как это бывает – друзья, выпивка. У меня там есть женщина, ревнует даже к родной дочери. Ссоры, скандалы – время бежит незаметно. Не пройдет и недели, как опять надо в море. До сих пор мне везло.

Скоби ему верил. История была слишком дикая, чтобы ее выдумывать. Даже в военное время нельзя терять способность верить, не то она вовсе исчезнет. Он сказал:

– Мне самому неприятно, что так получилось. Но ничего не поделаешь. Может, все обойдется.

– Ваше начальство занесет меня в черные списки. А вы понимаете, что это значит. Консул не даст пропуск ни одному судну, на котором я буду капитаном. Я подохну с голоду на берегу.

– В таких делах бывают упущения. Теряют списки. Может, на этом все дело и кончится.

– Я буду молиться, – сказал капитан без всякой надежды.

– Что ж, и это неплохо.

– Вы англичанин. Вы в молитвы не верите.

– Я такой же католик, как вы.

Капитан быстро поднял к нему одутловатое лицо.

– Католик? – В его голосе звучала надежда. И тут он начал просить о пощаде. Он почувствовал себя человеком, встретившим в чужих краях земляка. Он стал быстро рассказывать о своей дочери в Лейпциге, вытащил потертый бумажник и пожелтевший снимок толстой молодой португалки, такой же непривлекательной, как и он сам. В маленькой ванной стояла удушливая жара, а капитан все твердил: – Я знаю, вы меня поймете. – Он вдруг увидел, что их роднит: гипсовые статуи с мечом в кровоточащем сердце; шепот за занавеской в исповедалне; священные облачения и кровь Христова, темные притворы, затейливые обряды, а где-то за всем этим любовь к богу.

– А в Лиссабоне, – продолжал он, – меня будет встречать та; она отвезет меня домой, спрячет брюки, чтобы я не мог без нее выйти; что ни день пойдут попойки и ссоры до самой ночи, пока не ляжешь в постель. Вы меня поймете. Я не могу писать дочке из Лиссабона. Она меня так любит и так меня ждет, – он примостился поудобнее и продолжал: – В ее любви такая чистота! – И заплакал. Роднило их и покаяние и томление духа.

Это придало капитану смелости, и он решил испытать другое средство.

– Я человек бедный, но кое-что у меня найдется... – Он бы никогда не решился предложить взятку англичанину: это было данью уважения к их общей религии.

– Я очень сожалею... – сказал Скоби.

– У меня есть английские фунты. Я вам дам двадцать английских фунтов... пятьдесят. – Он взмолился. – Сто... это все, что я скопил.

– Невозможно, – сказал Скоби. Он поспешно сунул письма в карман и вышел. У двери каюты он обернулся и в последний раз взглянул на капитана: тот бился головой о бачок, и в жирных складках его лица скапливались слезы. Спускаясь в кают-компанию, где его ждал Дрюс, Скоби чувствовал на душе страшную тяжесть. Проклятая война, как я ее ненавижу! – подумал он, невольно повторяя слова капитана.

Письмо капитана дочке да маленькая пачка писем, найденных в кубриках, – вот и все, что нашли пятнадцать человек после восьмичасового обыска. Так обычно и бывало. Скоби вернулся в полицию, заглянул к начальнику, но кабинет был пуст, и он пошел к себе, сел под связкой висевших на гвозде наручников и стал писать рапорт.

«Нами произведен тщательный осмотр кают и багажа пассажиров, поименованных в ваших телеграммах... но он не дал никаких результатов».

Письмо к дочке в Лейпциг лежало на столе. За окном уже стемнело. Снизу, из-под двери, ползла вонь из камер; в соседней комнате Фрезер мурлыкал песенку, которую он пел каждый вечер, с тех пор как вернулся из отпуска:

Нам, признаться, дела нет
До чужих тревог и бед,
Если мы с тобой – юнцы -
Сами отдаем концы.

Скоби казалось, что жизнь бесконечно длинна. Неужели человека надо искушать так долго? Разве нельзя совершить первый смертный грех в семь лет, погубить свою душу из-за любви или ненависти в десять и судорожно цепляться за мысль об искуплении на смертном одре лет в пятнадцать? Он писал:

«Буфетчик, уволенный за непригодность к службе, сообщил, что капитан прячет у себя в ванной недозволенную переписку. Я произвел обыск и обнаружил прилагаемое письмо, адресованное в Лейпциг фрау Гренер. Оно было спрятано под крышкой бачка. Может быть, имело бы смысл разослать циркулярное сообщение об этом тайнике, так как в нашей практике он встречался впервые. Письмо было приклеено пластырем над поверхностью воды...»

Он сидел, растерянно уставившись на бумагу, ломая себе голову над тем, что уже было решено несколько часов назад, когда Дрюс спросил его в салоне: «Ну как?» – и он только неопределенно пожал плечами, предоставив Дрюсу догадываться, что это значит. Тогда он хотел сказать: «Частная переписка, как обычно». Но Дрюс истолковал этот жест иначе и решил, что ничего не нашлось. Скоби приложил руку ко лбу и почувствовал озноб, между пальцев у него выступил пот. Неужели начинается лихорадка? – подумал он. Может быть, поднялась температура, и поэтому ему кажется, что он на пороге новой жизни? Такое ощущение бывает, когда ты задумался жениться или в первый раз совершил преступление.

Скоби взял письмо и распечатал его. Теперь путь к отступлению отрезан: никто в этом городе не имеет права распечатывать секретную почту. В склеенных краях конверта может быть скрыта микрофотография. А он не сумел бы разгадать даже простого словесного кода и знал португальский язык слишком поверхностно. Каждое обнаруженное письмо, как бы невинно оно ни выглядело, надо было отправлять в лондонскую цензуру нераспечатанным. Скоби, полагаясь на свою интуицию, нарушал строжайший приказ. Он говорил себе: если письмо окажется

подозрительным, я пошлю рапорт. То, что он вскрыл конверт, как-нибудь можно объяснить. Капитан хотел показать, что там написано, и сам потребовал, чтобы я распечатал письмо; но если сослаться на это в рапорте, подозрения против капитана только усилятся, ибо нет лучше способа уничтожить микрофотографию. Нет, надо придумать какую-нибудь ложь, но он не привык лгать. Держа письмо над белой промокательной бумагой, чтобы сразу заметить, если в листках что-нибудь вложено. Скоби решил, что лгать он не будет. Если письмо покажется ему подозрительным, он напишет рапорт, не скрывая ничего, в том числе и своего поступка.

"Золотая моя рыбка, твой папа, который любит тебя больше всего на свете, постарается на этот раз послать тебе побольше денег. Я знаю, как тебе трудно, и сердце мое обливается кровью. Ах, моя рыбка, как бы я хотел почувствовать твои пальчики у себя на щеке. Как же это получилось, что у такого большущего и толстого папки такая крохотная и красивая дочка? А теперь, моя рыбка, я расскажу тебе все, что случилось со мной за это время. Мы вышли из Побито неделю назад, простояв в порту всего четыре дня. Одну ночь я провел у сеньора Аранхуэса и выпил больше вина, чем следовало, но говорил я только о тебе. В порту я вел себя хорошо – ведь я же обещал своей рыбке; я ходил к исповеди и к причастию, поэтому, если со мной случится неладное по пути в Лиссабон – а кто же может в эти ужасные времена за что-нибудь поручиться? – мне не придется быть навеки разлученным с моей золотой рыбкой. С тех пор как мы вышли из Лобито, погода стоит хорошая. Даже пассажиры не страдают морской болезнью. Завтра ночью, когда мы наконец-то оставим Африку позади, мы устроим на пароходе концерт, и я буду свистеть. И во время выступления буду вспоминать те дни, когда ты сидела у меня на коленях и слушала как я свищу. Дорогая, я очень постарел и с каждым плаванием все больше толстею: я грешный человек, иногда я даже боюсь, что во всем этом большущем теле душа у меня не больше горошины. Ты и не подозреваешь, как легко человеку вроде меня впасть в грех отчаяния. Но тогда я вспоминаю о моей доченьке. Во мне, видно, прежде было что-то хорошее, и кое-что я все-таки сумел передать тебе. Жена делит с мужем его грех, поэтому супружеская любовь чистой быть не может. Но дочь может спасти душу отца даже в смертный час. Молись за меня, моя рыбка.

Твой отец, который любит тебя больше жизни".

Mais que a vida. У Скоби не было сомнений в искренности этого письма. Оно написано не для того, чтобы замаскировать план оборонительных сооружений Кейптауна или микрофотографические сведения о передвижении войск в Дурбане. Он знал, что надо проверить, не написано ли там чего-нибудь между строк бесцветными чернилами, посмотреть письмо под микроскопом, вывернуть подкладку конверта. Но он решил положиться на свою интуицию. Он порвал письмо, а за ним и свой рапорт и понес обрывки во двор, в печку, где сжигали мусор; это был бидон от керосина на двух кирпичках, продырявленный с боков, чтобы создать тягу. Когда он чиркнул спичкой, во двор вышел Фрезер. «Нам, признаться, дела нет до чужих тревог и бед». В кучке обрывков отчетливо были видны половинки заграничного конверта; можно было даже прочесть часть адреса: Фридрихштрассе. Скоби быстро поднес спичку к лежащей сверху бумажке. Фрезер оскорбительно молодой походкой пересек двор. Бумага вспыхнула – в ярком пламени на другом обрывке конверта выделялось имя: Гренер. Фрезер весело спросил: «Сжигаете улики?» – и заглянул в бидон. Немецкая фамилия почернела, там не осталось ничего, что мог бы увидеть Фрезер, кроме коричневого треугольника конверта, выглядевшего явно заграничным. Скоби растер золу палкой и поглядел в лицо Фрезеру, нет ли

там удивления или подозрительности. Но на бессмысленной физиономии, пустой, как школьная доска объявлений во время каникул, ничего нельзя было прочесть. Только биение собственного сердца подсказывало Скоби, что он виноват, – он вступил в ряды продажных полицейских чиновников: Бейли, державшего деньги в другом городе, чтобы никто о них не знал; Крейшоу, пойманного с алмазами; Бойстона, правда, не разоблаченного и вышедшего в отставку якобы по болезни. Их покупали за деньги, а его – взывая к состраданию. Сострадание опаснее, потому что его не измеришь. Чиновник, берущий взятки, неподкупен до определенной суммы, а вот чувство возьмет верх, стоит только напомнить дорогое имя, знакомый запах или показать фотографию близкого человека.

– Ну как сегодня прошел день, сэр? – спросил Фрезер, не спуская глаз с маленькой кучки пепла. Наверно, огорчился, что день не стал праздником для него.

– Как всегда, – сказал Скоби.

– А что будет с капитаном? – спросил Фрезер, заглядывая в керосиновый бак и снова напевая свою песенку.

– С каким капитаном?

– Дрюс говорил, что какой-то парень на него донес.

– Обычная история, – сказал Скоби. – Уволенный буфетчик хотел отомстить. Разве Дрюс вам не говорил, что мы ничего не нашли?

– Нет" он почему-то не был в этом уверен. До свидания, сэр. Пора топать в столовку.

– Тимблригг принял дежурство?

– Да, сэр.

Скоби посмотрел ему вслед. Спина была такая же невыразительная, как и лицо; там тоже ничего нельзя было прочесть. Скоби подумал, что вел себя как дурак. Как последний дурак. Он несет ответственность за Луизу, а не за толстого, сентиментального португальца, который нарушил правила паровой компании ради такой же несимпатичной, как и он, дочери. Вот на чем я поскользнулся, думал Скоби, на дочери. А теперь нужно возвращаться домой; я поставлю машину в гараж, и навстречу мне выйдет с фонариком Али; Луиза, наверно, сидит на сквозняке, и на ее лице я прочту все, о чем она думала целый день. Она надеется, что я уже что-то устроил и ей скажу: «Я заказал тебе в паровом агентстве билет в Южную Африку», – хоть и боится, что такое счастье нам уже не суждено. Она будет ждать, когда же я ей скажу, а я буду болтать все, что придет в голову, лишь бы подольше не видеть ее горя (оно притаится в уголках ее рта, а потом исказит все лицо). Он точно знал, что произойдет, – ведь это случалось уже столько раз. Он прорепетировал все, что ему надо сказать, пока шел назад в кабинет, запирает стол, спускался к машине. Люди любят рассказывать о мужестве тех, кто идет на казнь; но разве нужно меньше мужества, чтобы хоть с каким-то достоинством прикоснуться к горящему своему ближнему? Он забыл Фрезера, он забыл все на свете, кроме того, что его ожидало. Вот я войду и скажу: «Добрый вечер, дорогая!» – а она ответит: «Добрый вечер, милый. Ну как прошел день?» И я буду говорить, говорить, все время чувствуя, что близится минута, когда нужно будет задать вопрос: «Ну, а ты как, дорогая?» – и дать волю ее горя.

– Ну, а ты как, дорогая? – Он быстро отвернулся и стал смешивать коктейль. У них с женой почему-то было убеждение, что «выпивка помогает»; становясь несчастнее с каждой рюмкой,

они все надеялись, что потом станет легче.

– Да ведь тебе это безразлично.

– Что ты, детка! Как ты провела день?

– Тикки, почему ты такой трус? Почему ты не скажешь прямо, что ничего не вышло?

– Что не вышло?

– Ты знаешь, о чем я говорю: об отъезде. Ты мне все твердишь, с тех пор как пришел, об этой «Эсперансе». Но португальские суда приходят каждые две недели. И ты никогда так много о них не говоришь. Я ведь не ребенок. Сказал бы сразу, напрямик: «Ты не можешь уехать».

Он вымученно улыбался, глядя на свой бокал и медленно его вращая, чтобы густая ангостура осела на стенках.

– Я бы сказал неправду, – возразил он. – Я найду какой-нибудь выход. Ты уж поверь своему Тикки. – Он через силу выдавил из себя ненавистную кличку. Если и это не поможет, мучительное объяснение продлится всю ночь и не даст ему выспаться.

В его мозгу словно напряглись какие-то жилы. Если бы удалось оттянуть эту сцену до утра! Горе куда тяжелее в темноте: глазу не на чем отдохнуть, кроме зеленых штор затемнения, казенной мебели да летучих муравьев, растерявших на столе свои крыльшки; а метрах в ста от дома воют и лают бродячие псы.

– Погляди лучше на эту маленькую разбойницу, – сказал он, показывая ей ящерицу, которая всегда в этот час вылезала на стену, чтобы поохотиться за мошками и тараканами. – Мы же только вчера это надумали. Такие вещи сразу не делаются. Надо пораскинуть мозгами, пораскинуть мозгами... – повторил он с деланной шутливостью.

– Ты был в банке?

– Да, – признался он.

– И не сумел достать денег?

– Нет. Они не могут мне дать. Хочешь, детка, еще джина?

Она протянула ему, беззвучно рыдая, бокал; лицо ее покраснело от слез, и она выглядела на десять лет старше, – пожилая покинутая женщина; на него пахнуло тяжелым дыханием будущего. Он встал перед ней на колени и поднес к ее губам джин, словно это было лекарство.

– Дорогая, поверь, я все устрою. Ну-ка, выпей!

– Тикки, я больше не могу здесь жить. Я знаю, я тебе это не раз говорила, но сейчас это всерьез. Я сойду с ума. Тикки, мне так тоскливо. У меня никого нет...

– Давай позовем завтра Уилсона.

– Тикки, я тебя умоляю, перестань ты мне навязывать этого Уилсона. Ну, пожалуйста, пожалуйста, придумай что-нибудь!

– Конечно, придумаю. Ты только потерпи, детка. На это нужно время.

– А что ты придумаешь, Тикки?

– У меня тысяча самых разных планов, – устало пошутил он. (Здорово ему сегодня досталось!) – Дай им чуть-чуть побродить в голове.

– Ну расскажи мне хотя бы один. Только один! Взгляд его следил за ящерицей – та прыгнула; тогда он вынул из бокала муравьиное крыльшко и глотнул еще. Он думал: какой я дурак, что не взял сто фунтов. И даром порвал письмо. Ведь я же рисковал. Мог хотя бы...

Луиза сказала:

– Ты меня не любишь. Я давно это знаю. – Она говорила спокойно, но его не обманывало это спокойствие: настало затишье среди бури; на этом месте они почти всегда начинали говорить начистоту. Истина никогда, по существу, не приносит добра человеку – это идеал, к которому стремятся математики и философы. В человеческих отношениях доброта и ложь дороже тысячи истин. Он запутался в заведомо безнадежной попытке сохранить спасительную

ложь.

– Не будь дурочкой. Кого же, по-твоему, я люблю, если не тебя?

– Ты никого не любишь.

– Поэтому я так плохо с тобой обращаюсь? – Он старался говорить шутливым тоном и сам слышал его фальшь.

– Ну, тут тебе мешает совесть, – грустно сказала она. – И чувство долга. С тех пор как умерла Кэтрин, ты никого не любишь.

– Кроме себя самого. Ты ведь всегда говоришь, что я себялюбец.

– Нет, по-моему, ты и себя не любишь.

Он защищался, стараясь уклониться от опасной темы. В разгар бури он не мог прибегнуть к спасительной лжи.

– Я стараюсь, чтобы тебе было хорошо. Я делаю все, что в моих силах.

– Тикки, смотри, ты и сам не говоришь, что любишь меня! Ну, скажи. Скажи хоть раз.

Он посмотрел поверх бокала с джином на это живое свидетельство своих неудач: желтоватая от акрихина кожа, покрасневшие от слез глаза. Никто не может поручиться, что будет любить вечно, но четырнадцать лет назад он молча поклялся во время той немногочленной, но убийственно пристойной церемонии в Илинге, среди кружев и горящих свечей, что хотя бы постарается сделать ее счастливой.

– Тикки, ведь у меня, кроме тебя, ничего нет, а у тебя... у тебя есть почти все!

Ящерица метнулась вверх по стене и замерла снова; из ее маленькой крокодилей пасти торчало прозрачное крыльшко. Летучие муравьи глухо бились об электрическую лампочку.

– И все-таки ты хочешь меня бросить, – сказал он с упреком.

– Да. Я знаю, что и тебе плохо. Когда я уеду, у тебя будет хотя бы покой.

Он всегда попадался на том, что забывал, как она наблюдательна. У него и в самом деле было почти все; единственное, чего ему недостает, это покоя. «Все» – означало работу, раз навсегда заведенный порядок в маленьком голом тяжёлом кабинете, смену времен года в стране, которую он любит. Его часто жалели: работа у него суровая, неблагодарная. Но Луиза понимала его гораздо глубже. Если бы к нему вернулась молодость, он бы выбрал снова такую жизнь, но на этот раз не стал бы ни с кем делить ни крысу на краю ванны, ни ящерицу на стене, ни ураган, распахивающий ночью окна, ни последний розовый отсвет дня на дорогах.

– Ты говоришь чушь, дорогая, – сказал он уже безнадежно, смешивая коктейль. В голове у него снова натянулась какая-то жила. У несчастья тоже бывает свой ритуал: сначала страдает она, а он мучительно старается не произнести роковых слов; потом она ровным голосом говорит правду о том, о чем бы лучше солгать, и наконец самообладание изменяет ему и он сам бросает ей, как врагу, правду в лицо. И когда дело дошло до последней стадии и он вдруг крикнул ей, чуть не расплескав ангостуру – так у него дрожали руки: «Ты мне покоя не дашь никогда!» – он уже знал, что за этим последует примирение. А потом опять ложь, до новой сцены.

– Я сама тебе это говорю. Если я уеду, у тебя будет покой.

– Ты и понятия не имеешь, что такое покой! – бросил он ей со злостью. Он почувствовал себя оскорбленным, как если бы она неуважительно отозвалась о женщине, которую он любит. Скоби день и ночь мечтал о покое. Как-то он приснился ему в виде громадного сияющего рога молодой луны, плывущей за окном словно ледяная гора, – она сулит вселенной гибель, если столкнется с ней. Днём он пытался отвоевать хоть несколько минут покоя, запершись у себя в кабинете, ссутулившись под ржавыми наручниками и читая рапорты своих подчиненных. «Покой», «мир» – эти слова казались ему самыми прекрасными на свете: «Мир оставляю вам. Мир мой даю вам... Агнец божий, принявший на себя грехи мира, ниспошли нам мир свой». Во время обедни он зажимал пальцами веки, чтобы сдерживать слезы, так тосковал он о покое.

Луиза сказала с былою нежностью:

– Бедный ты мой, ты бы хотел, чтобы и я умерла, как Кэтрин. Ты так хочешь одиночества.

Но он упрямо ответил:

– Я хочу, чтобы ты была счастлива.

– А ты мне все-таки скажи, что меня любишь, – устало попросила она. – Мне будет легче.

Ну вот, подумал он хладнокровно, еще одна сцена позади; на сей раз она прошла довольно легко, сегодня мы сможем поспать.

– Ну, конечно, я тебя люблю, дорогая, – сказал он. – И я как-нибудь устрою, чтобы ты могла уехать. Вот увидишь!

Он бы все равно дал обещание, даже если бы мог предвидеть все, что из этого выйдет. Он всегда был готов отвечать за свои поступки и с тех пор, как дал себе ужасную клятву, что она будет счастлива, в глубине души догадывался, куда заведет его этот поступок. Когда ставишь себе недостижимую цель – плата одна: отчаяние. Говорят, это непростительный грех. Но злым и растленным людям этот грех недоступен. У них всегда есть надежда. Они никогда не достигают последнего предела, никогда не ощущают, что их постигло поражение. Только человек доброй воли несет в своем сердце вечное проклятие.

Уилсон уныло стоял у себя в номере и разглядывал длинный тропический пояс, который змеился на кровати, как рассерженная кобра; от бесплодной борьбы с ним в тесной комнатке стало еще жарче. Он слышал, как за стеной Гаррис в пятый раз чистит сегодня зубы. Гаррис свято верил в гигиену полости рта. «В этом треклятом климате, – рассуждал он над стаканом апельсинового сока, подняв к собеседнику бледное изможденное лицо, – я сохранил здоровье только тем, что всегда чистил зубы до и после еды». Теперь он полоскал горло, и казалось, будто это булькает вода в водопроводной трубе.

Уилсон присел на кровать и перевел дух. Он оставил дверь открытой, чтобы устроить сквозняк, и ему была видна ванная комната в другом конце коридора. Там на краю ванны сидел индеец, совсем одетый и в тюрбане; он загадочно посмотрел на Уилсона и поклонился ему.

– На одну минуточку, сэр! – крикнул индеец. – Если вы соблаговолите зайти сюда...

Уилсон сердито захлопнул дверь и сделал еще одну попытку справиться с поясом.

Когда-то он видел фильм «Бенгальский улан» – так, кажется, он назывался? – где такой же пояс был вышколен на славу. Слуга в тюрбане держал его смотанным, а щеголеватый офицер вертелся волчком, и пояс ровно и туго обхватывал его талию. Другой слуга, с прохладительными напитками, стоял рядом, а в глубине покачивалось опахало. Как видно, в Индии дело поставлено куда лучше. Тем не менее еще одно усилие – и Уилсону удалось намотать на себя эту проклятую штуку. Пояс был затянут слишком туго, он лег неровными сборками, а конец оказался на животе; там его и пришлось подоткнуть на самом виду. Уилсон грустно посмотрел на свое отражение в облезлом зеркале. В дверь постучали.

– Кто там? – крикнул Уилсон, решив было, что индеец совсем обнаглел и ломится прямо в комнату. Но это оказался Гаррис; индеец по-прежнему сидел на краю ванны, тасуя рекомендательные письма.

– Уходите, старина? – разочарованно спросил Гаррис.

– Да.

– Сегодня все как будто сговорились уйти. Я буду один за столом. – Он мрачно добавил: – И как назло на ужин индийский соус!

– В самом деле? Жаль, что я не буду ужинать.

– Сразу видно, что вам не подавали его каждый четверг два года подряд. – Гаррис взглянул на пояс. – Вы плохо его намотали, старина.

– Знаю. Но лучше у меня не получается.

– Я их вообще не ношу. Это вредно для желудка. Говорят, пояс поглощает пот, но лично у меня потеют совсем другие места. Охотнее всего я бы носил подтяжки, да только резина здесь быстро преет, вот я и обхожусь кожаным ремнем. Не люблю форсить. Где вы сегодня ужинаете, старина?

– У Таллита.

– Как это вы с ним познакомились?

– Он пришел вчера в контору уплатить по счету и пригласил меня ужинать.

– Когда идут в гости к сирийцу, не надевают вечерний костюм. Переоденьтесь, старина.

– Вы уверены?

– Ну конечно. Это не принято. Просто неприлично. – Но добавил: – Ужин будет хороший, только не налегайте на сладости. Хочешь жить – себя береги. Интересно, чего ему от вас надо?

Пока Гаррис болтал, Уилсон переодевался. Он умел слушать. Мозг его, как сито, целый день просеивал всякий мусор. Сидя в трусах на кровати, он слышал: «...остерегайтесь рыбы, я к

ней вообще не притрагиваюсь...» – но пропускал наставления Гарриса мимо ушей. Натягивая белые брюки на розовые колени, он повторял про себя:

...наказанный судом суровым
Кто знает за какие там ошибки,
Чудак в свое же тело замурован...

Как всегда перед ужином, у него бурчало в животе.

Он ждет от вас лишь песни иль улыбки,
За преданность свою, за все мученья
Не смея ждать иного награжденья.

Уилсон уставился в зеркало и провел пальцами по нежной, слишком нежной коже. На него смотрело розовощекое, пухлое, пышущее здоровьем лицо – лицо неудачника.

– Я как-то говорю Скоби... – с увлечением болтал Гаррис, и слова эти немедленно застряли в сите Уилсона.

– Удивительно, как Скоби на ней женился, – подумал он вслух.

– Всех это удивляет, старина. Скоби-то ведь неплохой парень.

– Она прелестная женщина.

– Луиза? – воскликнул Гаррис.

– Конечно. А кто же еще?

– На вкус и цвет товарищей нет. Желаю успеха, старина.

– Мне пора.

– Берегитесь сладостей, – начал было Гаррис с новой вспышкой энергии. – Ей-богу, я бы тоже хотел, чтобы мне надо было чего-то беречься, а не есть этот проклятый индийский соус. Ведь сегодня четверг?

– Да.

Они вышли в коридор и попались на глаза индийцу.

– Рано или поздно он вас все равно изнасилует, – сказал Гаррис. – От него спасения нет.

Лучше поддайтесь, не то вам не будет покоя.

– Я не верю в гаданье, – солгал Уилсон.

– Да я и сам не верю, но он свое дело знает. Он изнасилует меня в первую же неделю после приезда. И нагадал, что застряну здесь больше чем на два с половиной года. Тогда я думал, что получу отпуск через восемнадцать месяцев. Теперь-то я уже не такой дурень.

Индиец с торжеством следил за ними, сидя на краю ванны.

– У меня есть письмо от начальника сельскохозяйственного департамента, – сказал он. – И другое письмо от окружного комиссара Паркса.

– Ладно, – сказал Уилсон. – Гадайте, но только быстро.

– Лучше мне убраться, старина, пока он вас не вывел на чистую воду.

– Я не боюсь, – сказал Уилсон.

– Пожалуйста, присядьте на ванну, сэр, – вежливо пригласил его индиец. – Очень интересная рука, – добавил он не слишком уверенным тоном, то поднимая, то опуская руку Уилсона.

– Сколько вы берете?

– В зависимости от положения, сэр. С такого человека, как вы, я бы взял десять шиллингов.

– Дороговато.

– Младшие офицеры идут по пяти шиллингов.

– Значит, и с меня полагается только пять.

– Ну нет, сэр. Начальник сельскохозяйственного департамента дал мне целый фунт.

– Я только бухгалтер.

– Как угодно, сэр. Помощник окружного комиссара и майор Скоби дали по десяти шиллингов.

– Ну, хорошо, – сказал Уилсон. – Вот вам десять. Валяйте.

– Вы приехали только неделю или две назад, – начал индеец. – Иногда по ночам вы нервничаете. Вам кажется, что вы не имеете успеха.

– У кого? – спросил Гаррис, раскачиваясь в дверях.

– Вы очень честолобивы. Любите помечтать. Увлекаетесь стихами.

Гаррис хихикнул, а Уилсон оторвал взгляд от пальца, которым водили по линиям его руки, и с опаской посмотрел на предсказателя.

Индеец неумолимо продолжал.

Тюрбан склонился к самому носу Уилсона; из складок тюрбана несло чем-то тухлым – хозяин, видимо, прятал там куски краденой пищи.

– У вас есть тайна, – изрекал индеец. – Вы скрываете свои стихи от всех... кроме одного человека. Только одного, – повторил он. – Вы очень застенчивы. Вам надо набраться храбрости. Линия счастья у вас очень отчетливая.

– Желаю удачи, старина, – подхватил Гаррис.

Все это напоминало учение Куэ: стоит во что-нибудь крепко поверить, и оно сбудется. Робость удастся преодолеть. Ошибку – скрыть.

– Вы не нагадали мне на десять шиллингов, – заявил Уилсон. – Такое гаданье не стоит и пяти. Скажите поточнее, что со мной будет.

Он ерзал на остром краю ванны, глядя на таракана, прилипшего к стене, как большой кровавый волдырь. Индеец склонился над его ладонями.

– Я вижу большой успех, – сказал он. – Правительство будет вами очень довольно.

– Il pense, – произнес Гаррис, – что вы un bureaucrat.

– Почему правительство будет мною довольно? – спросил Уилсон.

– Вы поймаете того, кого нужно.

– Подумайте! – сказал Гаррис. – Он, кажется, принимает вас за полицейского.

– Похоже на то, – сказал Уилсон. – Не стоит больше тратить на него время.

– И в личной жизни вас ждет большой успех. Вы завоюете даму своего сердца. Вы уедете отсюда. Все будет хорошо. Для вас, – добавил индеец.

– Вот он и нагадал вам на все десять шиллингов, – захихикал Гаррис.

– Ну ладно, дружище, – сказал Уилсон. – Рекомендации вы от меня не получите. – Он поднялся, и таракан шмыгнул в щель. – Терпеть не могу эту нечисть, – произнес Уилсон, боком проходя в дверь. В коридоре он повернулся и повторил: – Ладно.

– Сперва и я их терпеть не мог, старина. Но мне удалось разработать некую систему. Загляните ко мне, я вам покажу.

– Мне пора.

– У Таллита всегда опаздывают с ужином.

Гаррис открыл дверь своего номера, и Уилсон почувствовал неловкость при виде царившего там беспорядка. У себя в комнате он бы никогда не позволил себе такого разгильдяйства – не вымыть стакан после чистки зубов, бросить полотенце на кровать...

– Глядите, старина.

Уилсон с облегчением перевел взгляд на стену, где были выведены карандашом какие-то знаки: вод буквой "У" выстроилась колонка цифр, рядом с ними даты, как в приходо-расходной кмиге. Дальше под буквами «В в» – еще цифры.

– Это мой личный счет убитых тараканов, старина. Вчера день выдался средний: четыре. Мой рекорд – девять. Вот что меня примирило с этими тварями.

– А что значит «В в»?

– «В водопровод», старина. Иногда я сшибаю их в умывальник и смываю струей. Было бы нечестно вносить их в список убитых, правда?

– Да.

– Главное – не надо себя обманывать. Сразу потеряешь всякий интерес. Беда только в том, что надоедает играть с самим собой. Давайте устроим матч, а, старина? Вы не думайте, тут нужна сноровка. Они безусловно слышат, как тыходишь, и удирают с молниеносной быстротой.

– Давайте попробуем, но сейчас мне надо идти.

– Знаете что? Я вас подожду. Когда вы вернетесь от Таллита, поохотимся перед сном хоть минут пять. Ну хоть пять минут!

– Пожалуй.

– Я вас провожу вниз, старина. Я слышу запах индийского соуса. Знаете, я чуть не заржал, когда этот старый дурень принял вас за полицейского.

– Да он почти все наврал, – сказал Уилсон. – Например, насчет стихов.

Гостиная в доме Таллита напомнила Уилсону деревенский танцзал. Мебель – жесткие стулья с высокими неудобными спинками – выстроились вдоль стен, а по углам сидели кумушки в черных шелковых платьях – ну и ушло же на них шелку! – и какой-то древний старик в ермолке. Они молчали и внимательно разглядывали Уилсона, а когда он прятал от них глаза, он видел стены, совсем голые, если не считать пришипленных в каждом углу сентиментальных французских открыток, разукрашенных лентами и бантиками: тут были молодые красавцы, нюхающие сирень... чье-то розовое глянцевиное плечо... страстный поцелуй...

Уилсон обнаружил, что в комнате, кроме него, только один гость – отец Ранк, католический священник в длинной сутане. Они сидела среди кумушек в противоположных концах комнаты, и отец Ранк громко объяснял ему, что здесь бабка и дед Таллита, его родители, двое дядей, двоюродная прапрабабка и двоюродная сестра. Где-то в другой комнате жена Таллита накладывала всевозможные закуски на тарелочки, которые разносили гостям младшие брат и сестра хозяина. Никто, кроме Таллита, не понимал по-английски, и Уилсон чувствовал себя неловко, когда отец Ранк громко разбирал по косточкам хозяина и его семью.

– Нет, спасибо, – говорил он, отказываясь от какого-то угощения и трясая седой взъерошенной гривой. – Советую вам быть поосторожней, мистер Уилсон. Таллит неплохой человек, но никак не поймет, что может переварить европейский желудок и чего – нет. У этих стариков желудки луженые!

– Любопытно, – сказал Уилсон и, поймав на себе взгляд одной из бабушек в другом углу

комнаты, улыбнулся ей и кивнул. Бабушка, очевидно, решила, что ему захотелось еще сладостей, и сердито позвала внучку. – Нет, нет, – тщетно отмахивался Уилсон, качая головой и улыбаясь столетнему старцу.

Старик разинул беззубый рот и свирепо прикрикнул на младшего брата Таллита, который поспешил принести еще одну тарелку.

– Вот это можете есть, – кричал отец Ранк. – Сахар, глицерин и немножко муки.

Им безостановочно подливали и подливали виски.

– Хотел бы я, чтобы вы признались мне на исповеди, Таллит, где вы достаете это виски, – взывал отец Ранк с шаловливостью старого слона, а Таллит сиял и ловко скользил из одного конца комнаты в другой: словечко – Уилсону, словечко – отцу Ранку. Своими белыми брюками, прилизанными черными волосами, серым, точно полированным, иноземным лицом и стеклянным, как у куклы, искусственным глазом Таллит напоминал Уилсону молодого опереточного танцора.

– Значит, «Эсперанса» вышла в море, – кричал отец Ранк через всю комнату. – Вы не знаете: они что-нибудь нашли?

– В конторе поговаривали, будто нашли алмазы, – сказал Уилсон.

– Держи карман шире, – воскликнул отец Ранк. – Как же, найдут они алмазы! Не знают, где их искать, правда, Таллит? – Он пояснил Уилсону: – Эти алмазы сидят у Таллита в печенках. В прошлом году его ловко надули, подсунув ему фальшивые. Здорово тебя Юсеф обставил, а, Таллит, мошенник ты этакий? Выходит, не так уж ты хитер, а? Ты, католик, позволяешь, чтобы тебя надул какой-то магометанин. Я готов тебе шею свернуть!

– Он поступил очень нехорошо, – сказал Таллит, остановившись между Уилсоном и священником.

– Я здесь всего недели две, – сказал Уилсон, – но повсюду только и слышишь, что о Юсефе. Говорят, будто он сбывает фальшивые алмазы, скупает у контрабандистов настоящие, торгует самодельной водкой, делает запасы ситца на случай французского вторжения и соблазняет сестер из военного госпиталя.

– Сукин сын – вот он кто, – смачно произнес отец Ранк. – Впрочем, здесь нельзя ничему верить. А то получится, что все живут с чужими женами и каждый полицейский, если он не состоит на жалованье у Юсефа, берет взятки у Таллита.

– Юсеф очень плохой человек, – объяснил Таллит.

– Почему же его не арестуют?

– Я живу здесь двадцать два года и еще не видел, чтобы удалось поймать с поличным хоть одного сирийца, – сказал отец Ранк. – Я не раз видел, как полицейские разгуливают с сияющими лицами – у них прямо на лбу написано, что они собираются кого-то сцапать, – но я ни о чем их не спрашиваю и только посмеиваюсь в кулак: все равно уйдут ни с чем.

– Вам, отец, надо бы служить в полиции.

– Кто его знает, – сказал отец Ранк. – Здесь в городе больше полицейских, чем кажется...

Так по крайней мере говорят.

– Кто говорит?

– Поосторожней с этими сладостями, – сказал отец Ранк, – в малых дозах они не повредят, но вы съели уже четыре штуки. Послушай-ка, Таллит, мистер Уилсон, кажется, голоден. Не подать ли пироги с мясом?

– Пироги с мясом?

– Пора приступать к пиршеству, – пояснил отец Ранк.

Раскаты его смеха гулко отдавались в пустой комнате. Целых двадцать два года он смеялся и шутил, весело увещевая свою паству и в дождливую и в засушливую пору. Но могла ли его

бодрость поддержать чей-то дух? И поддерживает ли она его самого? – думал Уилсон. Она была похожа на гам, раздающийся в кафельных стенах городской бани, на плеск воды и хохот чужих людей, скрытых в облаках пара.

– Конечно, отец Ранк. Сию минуту, отец Ранк.

Не дожидаясь приглашения, отец Ранк поднялся с места и сел за стол, который, как и стулья, стоял у стены и был накрыт всего на несколько персон. Это смутило Уилсона.

– Идите, идите. Садитесь, мистер Уилсон. С нами будут ужинать одни старики... ну и, конечно, Таллит.

– Вы, кажется, говорили насчет каких-то слухов?... – напомнил Уилсон.

– Голова у меня просто набита всякими слухами, – сказал отец Ранк, шутливо разводя руками. – Если мне что-нибудь рассказывают, я знаю – от меня хотят, чтобы я передал это дальше. В наше время, когда из всего делают военную тайну, полезно бывает напомнить людям, для чего у них подвешен язык: чтобы правда не оставалась под спудом... Нет, вы только поглядите на Таллита, – продолжал отец Ранк. Таллит приподнял уголок шторы и всматривался в темную улицу. – Ну, мошенник ты этакий, что там подельвает Юсеф? – спросил отец Ранк. – Юсефу принадлежит большой дом напротив, и Таллиту просто не терпится прибрать его к рукам, правда, Таллит? Ну, как же насчет ужина, Таллит? Мы ведь проголодались.

– Вот и ужин, отец мой, вот и ужин, – сказал Таллит, отходя от окна.

Он молча сел рядом со столетним дедом, а его сестра принялась разносить блюда.

– У Таллита всегда вкусно кормят, – сказал отец Ранк.

– У Юсефа сегодня тоже гости.

– Священнику не подобает быть привередливым, – сказал отец Ранк, – но твой обед мне, пожалуй, больше по нутру. – По комнате гулко прокатился его смех.

– Разве это так страшно, если кого-нибудь увидят у Юсефа?

– Да, мистер Уилсон. Если бы я увидел там вас, я бы сказал себе: «Юсефу позарез нужно знать, сколько ввезут тканей, – скажем, сколько их поступит в будущем месяце, сколько их отгружено, – и он заплатит за эти сведения». Если бы я увидел, как туда входит девушка, я пожалел бы ее от души, от всей души. – Он ткнул вилкой в свою еду и снова рассмеялся. – А вот если бы к нему в дом вошел Таллит, я бы знал, что сейчас начнут кричать караул.

– А что, если бы туда вошел полицейский? – спросил Таллит.

– Я бы не поверил своим глазам, – сказал священник. – Дураков больше нет после того, что случилось с Бейли.

– Вчера ночью Юсеф приехал домой на полицейской машине, – заметил Таллит. – Я ее прекрасно разглядел.

– Какой-нибудь шофер подрабатывал на стороне, – сказал отец Ранк.

– Мне показалось, что я узнал майора Скоби. Он был достаточно осторожен и не вышел из машины. Конечно, поручиться я не могу. Но _похоже_ было, что это майор Скоби.

– Ну и намолол же я тут чепухи, – сказал священник. – Старый пустомеля! Будь это Скоби, мне бы и в голову ничего плохого не пришло. – Он вызывающе обвел глазами комнату. – Ничего плохого, – повторил он. – Готов поспорить на весь воскресный сбор в церкви, что тут дело совершенно чистое.

И снова послышались гулкие раскаты его смеха «Хо! хо! хо!», словно прокаженный громогласно возвещал о своей беде.

Когда Уилсон вернулся в гостиницу, в комнате Гарриса еще горел свет. Уилсон устал, он был озабочен и хотел украдкой пробраться к себе, но Гаррис его услышал.

– Я вас поджидал, старина, – сказал он, размахивая электрическим фонариком.

На нем были противомоскитные сапоги, надетые поверх пижамы, и он выглядел, как поднятый со сна дружинник во время воздушной тревоги.

– Уже поздно. Я думал, вы спите.

– Не мог же я заснуть, пока мы не поохотимся. У меня это стало просто потребностью. Мы можем учредить ежемесячный приз. Вот увидите, скоро и другие вступят в это соревнование.

– Можно завести переходящий серебряный кубок, – ехидно предложил Уилсон.

– Не удивлюсь, если так и будет, старина. «Тараканий чемпионат» – ей-богу, звучит не так уж плохо!

Гаррис двинулся вперед и, неслышно ступая по половицам, вышел на середину комнаты; над железной кроватью серела москитная сетка, в углу стояло кресло с откидной спинкой, туалетный столик был завален старыми номерами «Пикчер пост». Уилсона снова поразило, что комната может быть еще более унылой, чем его собственная.

– По вечерам, старина, мы будем тянуть жребий, в чьей комнате охотиться.

– Какое у меня оружие?

– Возьмите одну из моих ночных туфель. – Под ногой у Уилсона скрипнула половица, и Гаррис быстро повернулся к нему. – У них слух, как у крыс, – сказал он.

– Я немножко устал. Может, лучше в другой раз?

– Ну хоть пять минут старина. Без этого я не засну. Смотрите, вон один прямо над раковиной. Уступаю вам первый удар.

Но как только тень туфли упала на оштукатуренную стену, таракана и след простыл.

– Так у вас ничего не получится, старина. Смотрите!

Гаррис наметил жертву: таракан сидел как раз на середине стены между потолком и полом, и Гаррис, осторожно ступая по скрипучим половицам, стал размахивать фонариком. Потом он ударил, оставив кровавое пятно на стене.

– Очко, – сказал он. – Их надо гипнотизировать.

Они метались по комнате, размахивая фонариками, шлепая туфлями, порою теряя голову и опрометью кидаясь в угол за своей дичью; охотничий азарт целиком захватил Уилсона. Сперва они перебрасывались корректными замечаниями, как истые спортсмены: «Славный удар», «Не повезло», – но когда счет сравнялся, они столкнулись у стены над одним тараканом, и тут их нервы не выдержали.

– Какой толк, старина, гоняться за одной и той же дичью? – заметил Гаррис.

– Я его первый заметил.

– Вашего вы прозевали. Это мой.

– Нет, мой. Он сделал двойной вираж.

– Ничего подобного.

– Ну а почему бы мне не поохотиться за вашим? Вы сами погнали его ко мне. Вы же его прозевали!

– Это не по правилам, – сухо сказал Гаррис.

– Может быть, не по _вашим_ правилам.

– Черт возьми, – сказал Гаррис, – игру-то придумал я!

Другой таракан сидел на коричневом куске мыла, лежавшем на умывальнике. Уилсон заметил его метнул туфлю с пяти шагов. Туфля угодила в мыло, и таракан свалился в раковину. Гаррис отвернул кран и смыл его струей воды в сток.

– Хороший удар, старина, – заметил он примирительно. – Один «В в».

– Черта с два «В в»!... – сказал Уилсон. – Он уже был дохлый, когда вы пустили воду.

– Никогда нельзя знать наверняка. Он мог только потерять сознание... получить сотрясение мозга. По правилам это «В в».

– Опять-таки по _вашим_ правилам.

– В этой игре мои правила – закон.

– Ну, это ненадолго, – пригрозил Уилсон.

Он хлопнул дверью так сильно, что задрожали стены его комнаты. Сердце у него колотилось от бешенства и от зноя этой ночи; пот ручьями струился у него под мышками. Но когда он встал у своей кровати и увидел точную копию комнаты Гарриса – умывальник, стол, серую москитную сетку и даже прилипшего к стене таракана, – гнев его понемногу улетучился и уступил место тоске. Ему казалось, что он поссорился со своим отражением в зеркале. «Что я, с ума сошел? – подумал он. – Чего это я так взбеленился? Я потерял хорошего приятеля».

Уилсон долго не мог заснуть в эту ночь, а когда наконец задремал, ему приснилось, что он совершил преступление; он проснулся, все еще ощущая гнет своей вины. Спускаясь к завтраку, он задержался у двери Гарриса. Оттуда не было слышно ни звука. Он постучал, но никто не ответил. Он приоткрыл дверь и кое-как разглядел сквозь серую сетку влажную постель Гарриса.

– Вы не спите? – тихо спросил он.

– В чем дело, старина?

– Извините меня за вчерашнее.

– Это я виноват, старина. Лихорадка одолела. Меня лихорадило еще с вечера. Вот нервы и расходились.

– Нет, это я виноват. Вы совершенно правы. Это было «В в».

– Мы решим это жребием, старина.

– Я вечером зайду.

– Вот и отлично.

Но после завтрака мысли его были отвлечены от Гарриса другими заботами. По дороге в контору он зашел к начальнику полиции и, выходя, столкнулся со Скоби.

– Здравствуйте, – сказал Скоби, – что вы тут делаете?

– Заходил к начальнику полиции за пропуском. Тут у вас требуют столько пропусков! Мне понадобился на вход в порт.

– Когда же вы к нам зайдете, Уилсон?

– Боюсь показаться навязчивым, сэр.

– Глупости. Луизе приятно будет опять поболтать с вами о книгах. Сам-то я их не читаю.

– Наверно, у вас времени не хватает.

– Ну, в такой стране, как эта, времени хоть отбавляй, – сказал Скоби. – Просто я не очень-то люблю читать. Зайдем на минутку ко мне в кабинет, я позвоню Луизе. Она вам будет рада. Вы бы иногда приглашали ее погулять. Ей нужно побольше двигаться.

– С удовольствием, – сказал Уилсон и тут же покраснел; к счастью, в комнате было полутемно.

Он огляделся: так вот он, кабинет Скоби. Он осматривал его, как генерал осматривает поле сражения, хотя ему трудно было представить себе Скоби врагом. Скоби откинулся в кресле, чтобы набрать номер, и ржавые наручники на стене звякнули.

– Вы свободны сегодня вечером?

Заметив, что Скоби его разглядывает, Уилсон поборол свою рассеянность: эти покрасневшие глаза чуть-чуть навывкате смотрели на него испытующе.

– Не понимаю, что вас сюда занесло, – сказал Скоби. – Такие, как вы, сюда не ездят.

– Да вот так иногда плывешь по течению... – солгал Уилсон.

– Со мной этого не бывает, – сказал Скоби. – Я все предусматриваю заранее. Как видите, даже для других.

Скоби заговорил в трубку. Его голос сразу изменился, словно он играл роль – роль, которая требовала нежности и терпения и разыгрывалась так часто, что рот произносил привычные слова, а глаза оставались пустыми.

– Вот и отлично. Значит, договорились, – сказал Скоби, кладя трубку.

– Это вы чудно придумали, – отозвался Уилсон.

– У меня все поначалу идет хорошо, – сказал Скоби. – Пойдите погуляйте с ней, а к вашему возвращению я приготовлю чего-нибудь выпить. Оставайтесь с нами ужинать, – добавил он с какой-то настойчивостью. – Мы будем вам очень рады.

Когда Уилсон ушел, Скоби заглянул к начальнику полиции.

– Я шел было к вам, сэр, но встретил Уилсона, – сказал он.

– Ах, Уилсона. Он заходил ко мне потолковать о капитане одного из их парусников.

– Понятно.

Жалюзи на окнах были опущены, и утреннее солнце не проникало в кабинет. Появился сержант с папкой, и в открытую дверь ворвался запах обезьянника. С утра парило, и уже в половине девятого все тело было мокрым от пота.

– Он сказал, что заходил к вам насчет пропуска, – заметил Скоби.

– Ах, да, – сказал начальник полиции, – и за этим тоже. – Он подложил под кисть руки промокашку, чтобы та впитывала пот, пока он пишет. – Да, он говорил что-то и насчет пропуска, Скоби.

Уже стемнело, когда Луиза и Уилсон снова пересекли мост через реку и вернулись в город. Фары полицейского грузовика освещали открытую дверь дома, и какие-то фигуры сновали взад и вперед со всякой кладью.

– Что случилось? – вскрикнула Луиза и пустилась бегом по улице.

Уилсон, тяжело дыша, побежал за ней. Из дома вышел Али, неся на голове жестяную ванну, складной стул и сверток, увязанный в старое полотенце.

– Что тут происходит, Али?

– Хозяин едет в поход, – сказал Али, и его зубы весело блеснули при свете фар. В гостиной сидел Скоби с бокалом в руке.

– Хорошо, что вы вернулись, – сказал он. – Я уж решил было оставить записку.

Уилсон увидел начатую записку. Скоби вырвал листок из блокнота и успел набросать несколько строк своим размашистым неровным почерком.

– Господи, что случилось. Генри?

– Я должен ехать в Бамбу.

– А разве нельзя подождать до четверга и поехать поездом?

– Нет.

– Можно мне поехать с тобой?

– В другой раз. Извини, дорогая. Мне придется взять с собой Али и оставить тебе мальчика.

– Что же все-таки стряслось?

– С молодым Пембертоном случилось несчастье.

– Серьезное?

– Да.

– Он такой болван! Оставить его там окружным комиссаром было чистое безумие.

Скоби допил свое виски и сказал:

– Извините, Уилсон. Хозяйничайте сами. Достаньте со льда бутылку содовой. Слуги заняты сборами.

– Ты надолго, дорогой?

– Если повезет, вернусь послезавтра. А что, если тебе это время побыть у миссис Галифакс?

– Мне и здесь хорошо.

– Я бы взял мальчика и оставил тебе Али, но мальчик не умеет готовить.

– Тебе будет лучше с Али, дорогой. Совсем как в прежние времена, до того, как я сюда приехала.

– Пожалуй, я пойду, сэр, – сказал Уилсон. – Простите, что я так задержал миссис Скоби.

– Что вы, я ничуть не беспокоился. Отец Ранк шел мимо и сказал, что вы укрылись от дождя в старом форте. Правильно сделали. Он промок до костей. Ему бы тоже следовало переждать дождь – в его возрасте приступ лихорадки совсем ни к чему.

– Разрешите долить вам, сэр? И я пойду.

– Генри никогда больше одного не пьет.

– На этот раз, пожалуй, выпью. Не уходите, Уилсон. Побудьте еще немножко с Луизой. А я допью и поеду. Спать сегодня не придется.

– Почему не может поехать кто-нибудь помоложе? Тебе это совсем не по возрасту, Тикки. Трястись в машине целую ночь! Отчего было не послать Фрезера?

– Начальник просил поехать меня. Тут нужны осторожность и такт – молодому человеку нельзя такого дела доверить. – Он допил виски и невесело отвел глаза под пристальным

взглядом Уилсона. – Ну, мне пора.

– Никогда не прощу этого Пембертону...

– Не говори глупостей, дорогая, – оборвал жену Скоби. – Мы бы очень многое прощали, если бы знали все обстоятельства дела. – Он нехотя улыбнулся Уилсону. – Полицейский, который всегда знает обстоятельства дела, обязан быть самым снисходительным человеком на свете.

– Жаль, что я ничем не могу быть полезен вам, сэр.

– Можете. Оставайтесь и выпейте еще рюмочку с Луизой, развлеките ее. Ей не часто удается поговорить о книжках.

Уилсон заметил, как она поджала губы при слове «книжки» и как передернулся Скоби, когда она назвала его Тикки; Уилсон впервые в жизни понял, как близкие люди мучаются сами и мучают друг друга. Глупо, что мы боимся одиночества.

– До свиданья, дорогая.

– До свиданья, Тикки.

– Поухаживай за Уилсоном. Не забывай ему подливать. И не хандри.

Когда она поцеловала Скоби, Уилсон стоял у двери со стаканом в руке; он вспомнил старый форт на горе и вкус губной помады. Ее рот хранил след его поцелуя ровно полтора часа. Он не чувствовал ревности – только досаду человека, который пробует писать письмо на влажном листе бумаги и видит, как расползаются буквы.

Стоя рядом, они глядели, как Скоби пересекает улицу, направляясь к грузовику. Он выпил больше, чем обычно, и, может быть, поэтому споткнулся.

– Надо было им послать кого-нибудь помоложе, – сказал Уилсон.

– Об этом они не заботятся. Начальник доверяет ему одному. – Они смотрели, как Скоби с трудом взбирается в машину. – Он подручный с самого рождения, – продолжала она с тоской. – Вол, который тащит воз.

Черный полицейский за рулем завел мотор и включил скорость, не отпустив тормоза.

– Даже хорошего шофера не могут ему дать! – сказала она. – Хороший шофер, наверно, повезет Фрезера и компанию на танцы. – Подпрыгивая и покачиваясь, грузовик выехал со двора. – Так-то, Уилсон, – сказала Луиза.

Она взяла со стола записку, которую писал Скоби, и прочитала вслух:

– «Дорогая, я должен ехать в Бамбу. Не говори пока никому. Случилась ужасная вещь. Бедняга Пембертон...» Бедняга Пембертон! – повторила она со злостью.

– Кто такой Пембертон?

– Щенок лет двадцати пяти. Прыщавый хвастунишка, Был помощником окружного комиссара в Бамбе, а когда Баттеруорт заболел, остался там на его месте. Даже ребенку было ясно, что беды тут не миновать. А когда беда случилась, отдуваться приходится Генри... и трястись всю ночь в машине...

– Пожалуй, мне лучше уйти? – спросил Уилсон. – Вам нужно переодеться.

– Да, вам лучше уйти... прежде, чем все узнают, что он уехал, а мы оставались целых пять минут одни в доме, где стоит кровать. Одни, если не считать мальчика и повара, а также их знакомых и родственников.

– Может, я могу быть вам чем-нибудь полезен?

– Ну, что ж, – сказала она. – Поднимитесь наверх и посмотрите, нет ли у меня в спальне крыс. Не хочу, чтобы мальчик знал, какая я трусиха. И закройте окно. Они забираются через окно.

– Вам будет жарко.

– Ничего.

Переступив порог, он тихонько хлопнул в ладоши, но крыс не было. Потом поспешно, воровато, словно он вошел сюда без спроса, Уилсон подошел к окну и закрыл его. В комнате стоял еле уловимый запах пудры. Уилсону он показался самым волнующим запахом из всех, какие он знал. Он снова остановился у порога, запоминая все в этой комнате: фотографию ребенка, баночки с кремом, платье, которое Али вынул из шкафа и приготовил хозяйке. На родине его обучали, как запоминать детали, отбирать самое важное, накапливать улики, но те, кому он служил, не предупреждали его, что он может очутиться в такой чуждой ему стране.

Полицейская машина пристроилась к длинной колонне военных грузовиков, ожидавших паром; фары горели в ночи, как огни маленького селения; деревья обступали машины со всех сторон, дыша дождем и зноем; где-то в хвосте колонны запел один из водителей: жалобные монотонные звуки поднимались и падали, словно ветер, свистящий в замочной скважине. Скоби засыпал и просыпался снова. Когда он не спал, он думал о Пембертоне: Скоби представил себе, что творилось бы сейчас у него на душе, будь он отцом Пембертона – одиноким пожилым человеком, который прежде был управляющим банка, а теперь удалился от дел; жена умерла во время родов, оставив ему сына. Но когда Скоби засыпал, то мягко погружался в забытие, полное ощущения свободы и счастья. Во сне он шел по просторному свежему лугу, а за ним следовал Али; никого больше он не видел, и Али не говорил ни слова. Высоко над головой проносились птицы, а раз, когда он опустился на землю, маленькая зеленая змейка, раздвинув траву, бесстрашно забралась ему на руку, а потом на плечо и, прежде чем снова соскользнуть в траву, коснулась его щеки холодным дружелюбным язычком.

Как– то раз он открыл глаза, и рядом с ним стоял Али, ожидавший его пробуждения.

– Хозяин ложится кровать, – сказал он ласково, но твердо, указывая пальцем на раскладушку, которую он поставил у края дороги, приладив москитную сетку к ветвям дерева. – Два, три часа, – добавил Али. – Много грузовиков.

Скоби послушно прилег и сразу же вернулся на мирный луг, где никогда ничего не случалось. Когда он проснулся снова, рядом по-прежнему стоял Али, на этот раз с чашкой чая и тарелкой печенья.

– Один час, – сказал Али.

Наконец очередь дошла до полицейской машины. Они спустились по красному глинистому склону на паром, а потом медленно поплыли к лесу на той стороне через темный, как воды Стикса, поток. На двух паромщиках, тянувших канат, не было ничего, кроме набедренных повязок, как будто они оставили всю одежду на том берегу, где кончалось все живое; третий отбивал им такт – в этом промежуточном мире ему служила инструментом жестянка из-под сардин. Неутомимый тягучий голос живого певца звучал теперь где-то позади.

Это была лишь первая переправа из трех, которые им предстояли в пути, и каждый раз машины вытягивались в длинную очередь. Скоби больше не удалось как следует заснуть: от тряски у него разболелась голова. Он проглотил таблетку аспирина, надеясь, что все обойдется. Заболеть лихорадкой в пути ему совсем не улыбалось. Теперь его беспокоил уже не Пембертон – пусть мертвые хоронят своих мертвецов, – его тревожило обещание, которое он дал Луизе. Двести фунтов – не бог весть какая сумма; голова у него раскальвалась, и цифры гудели в ней, как перезвон колоколов: «200, 002, 020»; его раздражало, что он не может подобрать четвертой комбинации – 002, 200, 020...

Они уже миновали места, где еще встречались лачуги под железными крышами и ветхие хижины колонистов; теперь им попадались только лесные селения из глины и тростника; нигде не было видно ни зги; двери повсюду закрыты и окна загорожены ставнями: только козы глаза следили за фарами автоколонны.

020, 002, 200, 200, 002, 020... Присев на корточки в кузове грузовика и обняв Скоби за плечи, Али протягивал ему кружку горячего чая, – каким-то образом ему опять удалось вскипятить чайник, на этот раз в тряской машине. Луиза оказалась права, все было как прежде. Будь он помоложе и не мучь его задача «200, 020, 002», как легко было бы теперь у него на душе. Смерть бедняги Пембертона его бы несколько не расстроила: это дело служебное, да к

тому же он всегда недолго любил Пембертона.

– Голова дурит, Али.

– Хозяин принимать много-много аспирина.

– А ты помнишь, Али, этот переход... 200, 002... вдоль границы, который мы проделали двенадцать лет назад за десять дней? Двое носильщиков тогда...

Он видел в зеркале кабины, как кивает ему, весь сияя, Али. Да, ему не надо другой любви и другой дружбы. Вот и все, что нужно для счастья: громящий грузовик, кружка горячего чая, тяжелые, влажные лесные испарения, даже больная голова. И одиночество. Если бы только сначала я мог устроить так, чтобы ей было хорошо, подумал он, – в хаосе этой ночи он вдруг позабыл о том, чему научил его опыт: ни один человек не может до конца понять другого, и никто не может устроить чужое счастье.

– Еще один час, – сказал Али, и Скоби заметил, что мрак поредел.

– Еще кружку чая, Али, и подлей туда виски.

Они расстались с автоколонной четверть часа назад: полицейская машина свернула с большой дороги и затряслась по проселку в чащу. Закрыв глаза. Скоби попробовал заглушить нестройный перезвон цифр мыслями об ожидавшей его печальной обязанности. В Бамбе остался только местный полицейский сержант, и прежде чем ознакомиться с его безграмотным рапортом, Скоби хотелось самому разобраться в том, что случилось. Он с неохотой подумал: лучше будет сперва зайти в миссию и повидать отца Клэя.

Отец Клэй уже проснулся и ожидал его в убогом домике миссии; сложенный из красного, необожженного кирпича, он выглядел среди глиняных хижин, как старомодный дом английского священника. Керосиновая лампа освещала коротко остриженные рыжие волосы и юное веснушчатое лицо этого уроженца Ливерпуля. Он не мог долго усидеть на месте: вскочив, он принимался шагать по крохотной комнатке из угла в угол – от уродливой олеографии к гипсовой статуэтке и обратно.

– Я так редко его видел, – причитал он, воздевая руки, словно у алтаря. – Его ничего не интересовало, кроме карт и выпивки, а я не пью и в карты никогда не играю, вот только пасьянс раскладываю, – понимаете, пасьянс. Какой ужас, какой ужас!

– Он повеселился?

– Да. Вчера днем прибежал ко мне его слуга. Пембертон с утра не выходил из своей комнаты, но это было в порядке вещей после попойки – понимаете, после попойки. Я послал слугу в полицию. Надеюсь, я поступил правильно? Что же мне было делать? Ничего. Ровным счетом ничего. Он был совершенно мертв.

– Правильно. Пожалуйста, дайте мне стакан воды и аспирина.

– Позвольте, я положу вам аспирин в воду. Знаете, майор Скоби, целыми неделями, а то и месяцами тут ничего не случается. Я все хожу здесь взад-вперед, взад-вперед – и вдруг, как гром среди ясного неба... Просто ужас!

Глаза у него были воспаленные и блестящие; Скоби подумал, что человек этот совсем не приспособлен к одиночеству. В комнате не было видно книг, если не считать требника и нескольких религиозных брошюр на маленькой полочке. У этого человека не было душевной опоры. Он снова заметался по комнате и вдруг, повернувшись к Скоби, взволнованно выпалил:

– Нет никакой надежды, что это убийство?

– Надежды?

– Самоубийство... – вымолвил отец Клэй. – Это такой ужас! Человек теряет право на милосердие божие. Я всю ночь только об этом и думал.

– Он ведь не был католиком. Может быть, это меняет дело? Согрешил по неведению, а?

– Я и сам стараюсь так думать.

На полдороге между олеографией и статуэткой он неожиданно вздрогнул и сделал шаг в сторону, словно повстречал кого-то на своем коротком пути. Потом быстро, украдкой взглянул, заметил ли это Скоби.

– Вы часто бываете у нас в городе? – спросил Скоби.

– Девять месяцев назад я провел там сутки. Почему вы спрашиваете?

– Перемена обстановки всякому нужна. У вас много новообращенных?

– Пятнадцать. Я стараюсь убедить себя, что молодой Пембертон, пока умирал, имел время... понимаете, имел время осознать...

– Трудно рассуждать, когда тебя душит петля, отец мой. – Скоби глотнул лекарство, и едкие кристаллы застряли у него в горле. – Вот если бы это было убийство, смертный грех совершил бы тогда не Пембертон, а кто-то другой, – сделал он слабую попытку сострить, но она тут же увяла, словно испугавшись божественного лика на олеографии.

– Убийце легче, у него еще есть время... – сказал отец Клэй. – Когда-то я был тюремным священником в Ливерпуле, – грустно добавил он, и в словах его послышалась тоска по родине.

– Вы не знаете, почему Пембертон это сделал?

– Я не был с ним близок. Мы друг с другом не ладили.

– Единственные белые люди здесь. Жаль.

– Он предлагал мне книги, но это были совсем не те книги, какие мне по душе, – любовные истории, романы...

– Что вы читаете, отец мой?

– Жития разных святых, майор Скоби. Особенно я преклоняюсь перед святой Терезой.

– Вы говорите, он много пил? Где он доставал виски?

– Наверно, в лавке Юсефа.

– Так. Может, он запутался в долгах?

– Не знаю. Какой ужас, какой ужас!

Скоби допил лекарство.

– Пожалуй, я пойду.

На дворе уже рассвело, и пока не взошло солнце, свет был удивительно чистый, мягкий, прозрачный и трепетный.

– Я пойду с вами, майор Скоби.

Перед домом окружного комиссара в шезлонге сидел сержант полиции. Он вскочил, неуклюже козырнул и тут же принялся рапортовать глухим ломким голосом:

– Вчера днем, в три тридцать, меня разбудил слуга окружного комиссара, который сообщил, что окружной комиссар Пембертон...

– Хорошо, сержант, я зайду в дом и погляжу.

За дверью его ожидал писарь. Гостиная – когда-то, во времена Баттеруорта, вероятно, гордость хозяина, – была обставлена изящно и со вкусом. Казенной мебели здесь не было. На стенах висели гравюры XVIII века, изображавшие колонию тех времен, а в книжном шкафу стояли книги, оставленные Баттеруортом. Скоби заметил там «Историю государственного устройства» Мэтленда, труды сэра Генри Мейна, «Священную Римскую империю» Брайса, стихотворения Гарди и старую хронику XI века. Но над всем этим витала тень Пембертона; кричащий пух из цветной кожи – подделка под кустарную работу; прожженные сигаретами метки на ручках кресел; груда книг, которые не пришлись по душе отцу Клэю, – Сомерсет Моэм, роман Эдгара Уоллеса, два романа Хорлера и раскрытый на тахте детектив «Смерть смеется над любыми запорами». Повсюду лежала пыль, а книги Баттеруорта заплесневели от сырости.

– Тело в спальне, – сказал сержант.

Скоби отворил дверь и вошел в спальню, за ним двинулся отец Клэй. Тело лежало на кровати, с головой покрытое простыней. Когда Скоби откинул край простыни, ему почудилось, будто он смотрит на мирно спящего ребенка; прыщи были данью переходному возрасту, а на мертвом лице не было и намека на жизненный опыт, помимо того, что дают классная комната да футбольное поле.

– Бедный мальчик, – произнес он вслух. Его раздражали благочестивые сетования отца Клэя. Он был уверен, что такое юное, незрелое существо имеет право на милосердие.

– Как он это сделал? – отрывисто спросил Скоби.

Сержант показал на деревянную планку для подвески картин, которую аккуратно приладил под потолком Баттеруорт – ни один казенный подрядчик до этого бы не додумался. Картина стояла внизу у стены – какой-то африканский царек стародавних времен принимает под церемониальным зонтом первых миссионеров, – а с медного крюка наверху все еще свисала веревка. Непонятно, как эта непрочная планка выдержала. Наверно, он мало весил, подумал Скоби и представил себе детские кости, легкие и хрупкие, как у птиц. Когда Пембертон повис на этой веревке, ноги его находились в каких-нибудь пятнадцати дюймах от пола.

– Он оставил записку? – спросил Скоби писаря. – Такие, как он, обычно оставляют. – Люди, собираясь умереть, любят напоследок выговориться.

– Да, начальник, она в канцелярии.

Одного взгляда на канцелярию было достаточно, чтобы понять, как плохо велись здесь дела. Шкаф с папками был открыт настежь; бумаги на столе покрылись пылью. Чернокожий писарь, как видно, во всем подражал своему начальнику.

– Вот, сэр, в блокноте.

Скоби прочел записку, нацарапанную крупным почерком, таким же детским, как и лицо покойного, – так, наверно, пишут во всем мире сотни его сверстников.

"Дорогой папа! Прости, что я причиняю тебе столько неприятностей. Но, кажется, другого выхода нет. Жаль, что я не в армии, тогда меня могли бы убить. Только не вздумай платить деньги, которые я задолжал, – мерзавец этого не заслужил! С тебя попробуют их получить. Иначе я не стал бы об этом писать. Обидно, что я впутал тебя в эту историю, но теперь уж ничего не поделаешь.

Твой любящий сын – Дикки".

Записка была похожа на письмо школьника, который просит прощения за плохие отметки в четверти.

Скоби передал записку отцу Клэю.

– Вы не сможете убедить меня, отец, что он совершил непростительный грех. Другое дело, если бы так поступили вы или я, – это был бы акт отчаяния. Разумеется, мы были бы осуждены на вечные муки, ведь мы ведаем, что творим, а он-то ведь ничего не понимал!

– Церковь учит...

– Даже церковь не может меня научить, что господь лишен жалости к детям. Сержант, – оборвал разговор Скоби, – проследите, чтобы побыстрее вырыли могилу, пока еще не припекает солнце. И поищите, нет ли неоплаченных счетов. Мне очень хочется сказать кое-кому пару слов по этому поводу – Он повернулся к окну, и его ослепил свет. Закрыв глаза рукой, он произнес: – Только бы голова у меня не... – и вдруг задрожал от озноба. – Видно, мне приступа не миновать. Если позволите, отец, Али поставит мне раскладушку у вас в доме, и я попробую как следует пропотеть.

Он принял большую дозу хинина, разделся догола и накрылся одеялом. Пока поднималось

солнце, ему попеременно казалось, будто каменные стены маленькой, похожей на келью комнатки то покрываются инеем от холода, то накаляются добела от жары. Дверь оставалась открытой, и Али сидел на ступеньке за порогом, строгая какую-то чурку. По временам он прогонял жителей деревни, которые осмеливались нарушить эту больничную тишину. *Reine forte et dure* тискалами сжимала лоб Скоби, то и дело ввергая его в забвение.

Но на этот раз он не видел приятных снов. Пембертон непонятно почему отождествлялся с Луизой. Скоби снова и снова перечитывал письмо, состоявшее из одних комбинаций двойки и двух нолей; подпись под письмом была не то «Дикки», не то «Тикки»; он ощущал, что время мчится, а он неподвижно лежит в постели, нужно куда-то спешить, кого-то спасти – не то Луизу, не то Дикки или Тикки, но он прикован к кровати и тяжелый камень лег ему на лоб, словно пресс-папье на кипу бумаг. Раз в дверях появился сержант, но Али его прогнал, раз вошел на цыпочках отец Клэй и взял с полки брошюру, а раз – но это, наверно, тоже был сон – в дверях показался Юсеф.

Скоби проснулся в пять часов дня, чувствуя, что ему не жарко, он не потеет, а только ослаб, и позвал Али.

– Мне снилось, что я вижу Юсефа.

– Юсеф ходил сюда к вам, хозяин.

– Скажи ему, чтобы он пришел сейчас же.

Тело ныло, точно от побоев; он повернулся лицом к каменной стене и тут же уснул опять. Во сне рядом с ним тихонько плакала Луиза; он протянул к ней руку и дотронулся до каменной стены: «Все устроится. Все. Тикки тебе обещает...» Когда он проснулся, рядом стоял Юсеф.

– У вас лихорадка, майор Скоби. Мне очень жаль, что я вижу вас в таком дурном состоянии.

– А мне жаль, что я вообще вас вижу, Юсеф.

– Ах, вы всегда надо мной смеетесь.

– Садитесь, Юсеф. Какие дела у вас были с Пембертоном?

Юсеф поудобней пристроил на жестком стуле свои необъятные ягодицы и, заметив, что у него расстегнута ширинка, опустил большую волосатую руку, чтобы ее прикрыть.

– Никаких, майор Скоби.

– Странное совпадение – вы оказались здесь как раз тогда, когда он покончил с собой.

– Я уж и сам думал: рука провидения!

– Он был вам должен?

– Он был должен моему приказчику.

– Какое давление вы хотели на него оказать, Юсеф?

– Ах, майор! Стоит дать псу дурную кличку, и псу лучше не жить! Если окружной комиссар хочет покупать у меня в лавке, разве может мой приказчик ему отказать? И что будет, если он откажет? Рано или поздно разразится страшный скандал. Областной комиссар узнает. Окружного комиссара отошлют домой. Ну а что если приказчик не отказал. Окружной комиссар выдает все новые и новые расписки. Приказчик из страха передо мной просит окружного комиссара заплатить – и все равно происходит скандал. Когда у вас такой окружной комиссар, как бедный молодой Пембертон, скандала все равно не избежать. А виноват, как всегда, сириец.

– Тут есть доля правды, Юсеф, – сказал Скоби. Боль одолевала его снова. – Подайте-ка мне виски и хинин.

– А вы не слишком ли много принимаете хинина, майор Скоби? Не забудьте, это вредно.

– Я не хочу застрять здесь надолго. Болезнь надо убить в зародыше. У меня слишком много дел.

– Приподнимитесь чуть-чуть, майор, дайте взбить вам подушку.

– Вы не такой уж плохой мальчик, Юсеф.

– Ваш сержант искал расписки, но не нашел их, – сказал Юсеф. – Вот эти расписки. Они лежали у приказчика в сейфе. – Он хлопнул себя бумагами по ляжке.

– Понятно. Что вы собираетесь с ними делать?

– Сжечь, – сказал Юсеф. Он вынул зажигалку и поджег листки. – Вот и все. Он расплатился, бедняга. Нечего беспокоить отца.

– Зачем вы сюда приехали?

– Приказчик тревожился. Я хотел уладить это дело.

– Ох, Юсеф, вам пальца в рот не клади – всю руку отхватите.

– Только врагам. Не друзьям. Для вас я на все готов, майор Скоби.

– Отчего вы всегда зовете меня своим другом, Юсеф?

– Майор Скоби, дружба – дело душевное, – сказал Юсеф, склонив большую седую голову, и на Скоби пахло бриллиантином. – Ее чувствуешь сердцем. Это не плата за услугу. Помните, как десять лет назад вы отдали меня под суд?

– Ну да. – Скоби отвернулся к стене от бывшего в глаза света.

– В тот раз вы меня чуть не поймали, майор Скоби. – Помните, на таможенных пошлинах. Если бы вы велели своему полицейскому чуть-чуть изменить показания, мне была бы крышка. Я тогда прямо ахнул, майор Скоби: сижу в суде и слышу – полицейский говорит правду. Вы, должно быть, здорово потрудились, чтобы узнать правду и заставить ер сказать. Вот я себе тогда и говорю: Юсеф, в нашу полицию пришел мудрый Соломон.

– Не болтайте, Юсеф. Ваша дружба мне ни к чему.

– Слова у вас жестокие, а сердце мягкое, майор Скоби. Я ведь хочу объяснить, почему я в душе всегда считаю вас другом. Благодаря вам я чувствую себя в безопасности. Вы не поставите мне ловушку. Вам нужны факты, а факты всегда будут говорить в мою пользу. – Он смахнул пепел с белых брюк, оставив на них еще одно серое пятно. – Вот вам факты. Я сжег все расписки.

– Но ведь я могу выяснить, какую сделку вы собирались заключить с Пембертоном. Этот пост лежит на одной из главных дорог, ведущих через границу из... черт возьми, с такой головой не упомнишь ни одного названия.

– Там тайком перегоняют скот. Но это не по моей части.

– На обратном пути контрабандисты могут прихватить с собой и кое-что другое.

– Вам везде чудятся алмазы, майор Скоби. С тех пор как началась война, все просто помешались на алмазах.

– Зря вы так уверены, Юсеф, что я ничего не найду в конторе Пембертона.

– Я в этом совершенно уверен, майор Скоби. Вы же знаете, я не умею ни читать, ни писать.

Никогда ничего не оставляю на бумаге. Все хранится у меня в голове.

Юсеф еще говорил, а Скоби уже опять задремал – это было то недолгое забытие, которое длится секунды, в нем успевает отразиться только то, что занимает твои мысли. Луиза шла ему навстречу, протянув руки, с улыбкой, которую он не видел уже много лет. «Я так рада, так рада», – говорила она, и он снова проснулся и снова услышал вкрадчивый голос Юсефа.

– Только друзья ваши не верят вам, майор Скоби. А я вам верю. Даже этот мошенник Таллит – и тот вам верит.

Прошла минута, прежде чем лицо Юсефа перестало расплываться у него перед глазами. В больной голове мысль с трудом перескочила со слов «так рада» к словам «не верят вам».

– О чем это вы, Юсеф? – спросил Скоби.

Он чувствовал, как с огромной натугой – со скрипом и скрежетом – в голове у него приходят в движение какие-то разболтанные рычаги, и это причиняло ему острую боль.

- Кто будет начальником полиции – это раз.
- Им нужен кто-нибудь помоложе, – невольно произнес он и тут же подумал: если бы не лихорадка, никогда бы я не стал обсуждать этого с Юсефом.
- Секретный агент, которого они прислали из Лондона, – это два.
- Приходите, когда у меня прояснится в голове. Я ни черта не понимаю, что вы там мелете.
- Они прислали из Лондона секретного агента расследовать дело с алмазами – все помешались на алмазах; только начальник полиции знает об этом агенте; другие чиновники – даже вы – не должны о нем знать.
- Что за чепуху вы несете, Юсеф. Никакого агента нет и в помине.
- Все уже догадались, кроме вас. Это Уилсон.
- Какая нелепость! Не верьте сплетням, Юсеф.
- И, наконец, третье. Таллит повсюду болтает, будто вы у меня бываете.
- Таллит! Кто поверит Таллиту?
- Дурной молве всегда верят.
- Ступайте отсюда, Юсеф. Что вы ко мне пристали?
- Я только хочу вас заверить, майор Скоби, что вы можете на меня положиться. Я ведь питаю к вам искреннюю дружбу. Это правда, майор Скоби, чистая правда. – Запах бриллиантина усилился: Юсеф склонился над кроватью; его карие глаза с поволокой затуманились. – Дайте я вам поправлю подушку, майор Скоби.
- Ради бога, оставьте меня в покое!
- Я знаю, как обстоят ваши дела, майор Скоби, и если бы я мог помочь... Я ведь человек состоятельный.
- Я не беру взяток, Юсеф, – устало сказал Скоби и отвернулся к стене, чтобы не слышать запаха бриллиантина.
- Я не предлагаю вам взятку, майор Скоби. Но в любое время дам займы под приличные проценты – четыре в год. Безо всяких условий. Можете арестовать меня на следующий же день, если у вас будут основания. Я хочу быть вашим другом, майор Скоби. Вы не обязаны быть моим другом. Один сирийский поэт сказал: «Когда встречаются два сердца, одно из них всегда как пламя, другое как лед; холодное сердце ценится дороже алмазов, горячее не стоит ничего, им пренебрегают».
- По-моему, ваш поэт никуда не годится. Но тут я плохой судья.
- Какой счастливый случай свел нас вместе! В городе столько глаз. Но здесь я наконец могу быть вам полезен. Вы позволите принести вам еще одеяло?
- Нет, нет, оставьте меня в покое.
- Мне больно видеть, что такого человека, как вы, майор Скоби, у нас не ценят.
- Надеюсь, что мне никогда не понадобится ваша жалость, Юсеф. Но если хотите доставить мне удовольствие, уйдите и дайте мне поспать.

Но как только он закрыл глаза, вернулись тяжелые сны. Наверху у себя плакала Луиза, а он сидел за столом и писал прощальное письмо. «Обидно, что я впутал тебя в эту историю, но теперь уже ничего не поделаешь. Твой любящий муж Дикки», Однако, когда он оглянулся и стал искать револьвер или веревку, он вдруг понял, что не может на это решиться. Самоубийство – выше его сил, он ведь должен обречь себя на вечные муки; в целом мире нет для этого достаточно веской причины. Он разорвал письмо и побежал наверх сказать Луизе, что в конце концов все обошлось; но она уже не плакала, и тишина в спальне его ужаснула. Он попробовал открыть дверь – дверь была заперта. Он крикнул: «Луиза, все хорошо! Я заказал тебе билет на пароход». Но никто не откликнулся. Он снова закричал: «Луиза!» – ключ в замке повернулся, дверь медленно отворилась, и он почувствовал, что случилась непоправимая беда.

На пороге стоял отец Клэй, он сказал: «Церковь учит...» Тут Скоби снова проснулся в тесной, как склеп, каменной комнатухе.

Скоби не было дома целую неделю – три дня он пролежал в лихорадке и еще два дня собирался с силами для обратного пути. Юсефа он больше не видел.

Было уже за полночь, когда он въехал в город. При свете луны дома белели, как кости; притихшие улицы простирались вправо и влево, словно руки скелета; воздух был пропитан нежным запахом цветов. Скоби знал, что, если бы он возвращался в пустой дом, на душе у него было бы легко. Он устал, ему не хотелось разговаривать, но нечего было и надеяться, что Луиза спит, нечего было надеяться, что в его отсутствие все уладилось и что она встретит его веселая и довольная, какой она была в одном из его снов.

Мальчик светил ему с порога карманным фонариком, в кустах квакали лягушки, бродячие собаки выли на луну. Он дома. Луиза обняла его; стол был накрыт к ужину; слуги носились взад и вперед с его пожитками, он улыбался, болтал и бодрился, как мог. Он рассказывал о Пембертоне и отце Клэе, помянул о Юсефе, но не мог забыть, что рано или поздно ему придется спросить, как она тут жила. Он пробовал есть, но был так утомлен, что не чувствовал вкуса пищи.

– Вчера я разобрал дела у него в канцелярии, написал рапорт... ну, вот и все. – Он помедлил. – Вот и все мои новости. – И через силу добавил: – А ты как тут?

Он взглянул ей в лицо и поспешно отвел глаза. Трудно было в это поверить, но могло же случиться, что она улыбнется, неопределенно ответит: «Ничего» – и сразу же заговорит о чем-нибудь другом. Он увидел по опущенным уголкам ее рта, что об этом нечего и мечтать. Что-то с ней тут произошло.

Но гроза – что бы она с собой ни несла – не грянула.

– Уилсон был очень внимателен, – сказала она.

– Он славный мальш.

– Слишком уж он образован для своей работы. Не пойму, почему он служит здесь простым бухгалтером.

– Говорит, что так сложились обстоятельства.

– С тех пор как ты уехал, я, по-моему, ни с кем и слова не сказала, кроме мальчика и повара. Да, еще миссис Галифакс.

Что-то в ее голосе подсказало ему, что опасность надвигается. Как всегда, он попытался увильнуть, хоть и без всякой надежды на успех.

– Господи, как я устал, – сказал он, потягиваясь. – Лихорадка меня вконец измочалила. Пойду-ка я спать. Почти половина второго, а в восемь я должен быть на работе.

– Тикки, – сказала она, – ты ничего еще не сделал?

– Что именно, детка?

– Насчет моего отъезда.

– Не беспокойся. Я что-нибудь придумаю.

– Но ты еще не придумал?

– У меня есть всякие соображения... Просто надо решить, у кого занять деньги.

«200, 020, 002», – звенело у него в мозгу.

– Бедняжка, – сказала Луиза, – не ломай ты себе голову. – Она погладила его по щеке. – Ты устал. У тебя была лихорадка. Зачем мне тебя терзать?

Ее рука, ее слова его обезоружили: он ожидал ее слез, а теперь почувствовал их в собственных глазах.

– Ступай спать, Генри, – сказала она.

– А ты не пойдешь наверх?

– Мне еще надо кое-что сделать.

Он ждал ее, лежа на спине под сеткой. Он вдруг понял – сколько лет он об этом не думал, – что она его любит; да, она любит его, бедняжка; она вдруг стала в его глазах самостоятельным человеческим существом со своим чувством ответственности, не просто объектом его заботы и внимания. И ощущение безвыходности становилось еще острее. Всю дорогу из Бамбы он думал о том, что в городе есть лишь один человек, который может и хочет дать ему двести фунтов, но именно у этого человека ему нельзя одалживаться. Гораздо безопаснее было получить взятку от португальского капитана. Мало-помалу он пришел к отчаянному решению – сказать ей, что не сможет достать деньги и что по крайней мере еще полгода, до его отпуска, ей нельзя будет уехать. Если бы он не так устал, он бы сразу сказал ей все – и дело с концом; но он не решился, а она была с ним ласкова, и теперь еще труднее ее огорчить. В маленьком домике царил тишина, только снаружи скулили от голода бродячие псы. Поднявшись на локте, он прислушался; лежа один в ожидании Луизы, он почувствовал странное беспокойство. Обычно она ложилась первая. Им овладели тревога, страх, и он вспомнил свой сон, как он стоял, притаившись за дверью, постучал и не услышал ответа. Он выбрался из-под сетки и босиком сбежал по лестнице.

Луиза сидела за столом, перед ней лежал лист почтовой бумаги, но она написала пока только первую строчку. Летучие муравьи бились о лампу и роняли на стол крылышки. Там, где свет падал на ее волосы, заметна была седина.

– В чем дело, милый?

– В доме было так тихо, – сказал он. – Я уж испугался, не случилось ли чего-нибудь. Вчера ночью мне приснился о тебе дурной сон. Самоубийство Пембертона совсем выбило меня из колеи.

– Какие глупости! Разве с нами это возможно? Ведь мы же верующие.

– Да, конечно. Мне просто захотелось тебя видеть, – сказал он, погладив ее по волосам.

Заглянув ей через плечо, он прочитал то, что она написала: «Дорогая миссис Галифакс...»

– Зачем ты ходишь босиком, – сказала она. – Еще подцепишь тропическую блоху.

– Мне просто захотелось тебя видеть, – повторил он, гадая, откуда эти потеки на бумаге – от слез или от пота.

– Послушай, – сказала она, – перестань ломать себе голову. Я тебя совсем извела. Знаешь, это как лихорадка. Схватит и отпустит. Так вот, теперь отпустило... до поры до времени. Я знаю, ты не можешь достать денег. Ты не виноват. Если бы не эта дурацкая операция... Так уж все сложилось.

– А при чем тут миссис Галифакс?

– Миссис Галифакс и еще одна женщина заказали на следующем пароходе двухместную каюту, а эта женщина не едет. Вот миссис Галифакс и подумала – не взять ли вместе нее меня... ее муж может поговорить в пароходном агентстве.

– Пароход будет недели через две, – сказал он.

– Брось. Не стоит биться головой об стенку. Все равно завтра нужно дать миссис Галифакс окончательный ответ. Я ей пишу, что не еду.

Он поторопился сказать – ему хотелось сжечь все мосты:

– Напиши, что ты едешь.

– Что ты говоришь, Тикки? – Лицо ее застыло. – Тикки, пожалуйста, не обещай невозможного. Я знаю, ты устал и не любишь семейных сцен. Но ничего этого не будет. А я не могу подвести миссис Галифакс.

– Ты ее не подведешь. Я знаю, где занять деньги.

– Почему же ты сразу не сказал, как вернулся?

– Я хотел сам принести билет. Сделать тебе сюрприз.

Она гораздо меньше обрадовалась, чем он ожидал: она, как всегда, была дальновиднее, чем он рассчитывал.

– И ты теперь успокоился? – спросила она.

– Да, я теперь успокоился. Ты довольна?

– Ну, конечно, – сказала она с каким-то недоумением. – Конечно, я довольна.

Пассажирский пароход пришел вечером в субботу; из окна спальни им был виден его длинный серый корпус, скользящий мимо бонов, там, за пальмами. Они следили за ним с упавшим сердцем – в конце концов, отсутствие перемен для нас желанней всякой радости, стоя рядом, они смотрели, как в бухте бросает якорь их разлука.

– Ну вот, – сказал Скоби, – значит, завтра после обеда.

– Родной мой, – сказала она, – когда пройдет это наваждение, я снова буду хорошая. Я просто не могу больше так жить.

Раздался грохот под лестницей – это Али, который тоже смотрел на океан, вытаскивал чемоданы и ящики. Похоже было, что весь дом рушится, и грифы, почувствовав, как содрогаются стены, снялись с крыши, гремя железом.

– Пока ты будешь складывать наверху свои вещи, – сказал Скоби, – я упакую книги.

Им казалось, будто последние две недели они играли в измену и вот доигрались до того, что приходится разводиться всерьез: рушилась совместная жизнь, пришла пора делить жалкие пожитки.

– Оставить тебе эту фотографию, Тикки?

Бросив искоса взгляд на лицо девочки перед первым причастием, он ответил:

– Нет, возьми ее себе.

– Я оставлю тебе ту, где мы сняты с Тедом Бромли и его женой.

– Хорошо.

С минуту он глядел, как она вынимает из шкафа свои платья, а затем сошел вниз. Он стал снимать с полки и вытирать тряпкой ее книги: Оксфордскую антологию поэзии, романы Вирджинии Вулф, сборники современных поэтов. Полки почти опустели – его книги занимали немного места.

На следующее утро они пошли к ранней обедне. Стоя рядом на коленях, они, казалось, публично заявляли, что расстаются не навсегда. Он подумал: я молил дать мне покой, и вот я его получаю. Даже страшно, что моя молитва исполнилась. Так и надо, недаром ведь я заплатил за это такой дорогой ценой. На обратном пути он с тревогой ее спросил:

– Ты довольна?

– Да, Тикки. А ты?

– Я доволен, раз довольна ты.

– Вот будет хорошо, когда я наконец сяду на пароход и расположусь в каюте! Наверно, я сегодня вечером немножечко выпью. Почему бы тебе не пригласить кого-нибудь пожить у нас?

– Нет, лучше я побуду один.

– Пиши мне каждую неделю.

– Конечно.

– И, Тикки, пожалуйста, не забывай ходить к обедне. Ты будешь ходить без меня в церковь?

– Конечно.

Навстречу им шел Уилсон; лицо его горело от жары и волнения.

– Вы в самом деле уезжаете? – спросил он. – Я заходил к вам: и Али сказал, что после обеда вы едете на пристань.

– Да, Луиза уезжает, – сказал Скоби.

– Вы мне не говорили, что так скоро едете.

– Я забыла, – сказала Луиза. – Было столько хлопот.

– Мне как-то не верилось, что вы уедете. Я бы так ничего и не знал, если бы не встретил в пароходстве Галифакса.

– Ну что ж, нам и Генри придется присматривать друг за другом.

– Просто не верится, – повторял Уилсон, продолжая топтаться на пыльной улице. Он стоял, загораживая им путь, не уступая дороги. – Я не знаю тут ни души, кроме вас... ну и, конечно, Гарриса.

– Придется вам завести новые знакомства, – сказала Луиза. – А сейчас вы нас извините. У нас еще столько дел.

Он не двигался с места, и им пришлось его обойти; Скоби оглянулся и приветливо помахал ему рукой – Уилсон казался таким потерянным и беззащитным, он выглядел очень нелепо на этой вспученной от зноя мостовой.

– Бедный Уилсон, – сказал Скоби. – По-моему, он в тебя влюбился.

– Это ему только кажется.

– Его счастье, что ты уезжаешь. Люди в таком состоянии в этом климате становятся просто несносными. Надо мне быть к нему повнимательнее, пока тебя нет.

– На твоём месте, – сказала она, – я бы не встречалась с ним слишком часто. Он не внушает доверия. В нём есть какая-то фальшь.

– Он молод, и он романтик.

– Чересчур уж он романтик. Врет на каждом шагу. Зачем он сказал, что ни души здесь не знает?

– Кажется, он и в самом деле никого не знает.

– Он знаком с начальником полиции. Я на днях видела, как он шел к нему перед ужином.

– Значит, он сказал так, для красного словца.

За обедом оба ели без аппетита, но повар захотел отметить ее отъезд и приготовил целую миску индийского соуса; вокруг стояло множество тарелочек со всем, что к нему полагалось: жареными бананами, красным перцем, земляными орехами, плодами папайи, дольками апельсинов и пряностями. Обоим казалось, что между ними уже легли сотни миль, заставленные ненужными блюдами. Еда стыла на тарелках, им нечего было сказать друг другу, кроме пустых фраз: «Я не голодна», «Попробуй, съешь хоть немножко», «Ничего в горло не лезет», «Нужно закусить как следует перед отъездом». Ласковые пререкания продолжались до бесконечности. Али прислуживал за столом, он появлялся и исчезал, совсем как фигурка на старинных часах, показывающая бег времени. Оба отгоняли мысль, что будут рады, когда разлука наконец наступит: кончится тягостное прощание, новая жизнь войдет в колею и

потянется своим чередом.

Это был другой вариант разговора, дававший возможность, сидя за столом, не есть, а только ковырять вилкой еду и припоминать все, что могло быть забыто.

– Наше счастье, что здесь только одна спальня. Дом останется за тобой.

– Меня могут выселить, чтобы отдать дом какой-нибудь семейной паре.

– Ты будешь писать каждую неделю?

– Конечно.

Время истекло: можно было считать, что они пообедали.

– Если ты больше не хочешь есть, я отвезу тебя на пристань. Сержант уже позаботился о носильщиках.

Им больше нечего было сказать. Они утратили друг для друга, всякую реальность; они еще могли коснуться один другого, но между ними уже тянулся целый материк; слова складывались в избитые фразы из старого письмовника.

Они поднялись на борт, и им стало легче от того, что больше не надо было быть наедине. Галифакс из департамента общественных работ весь искрился притворным добродушием. Он отпускал двусмысленные шутки я советовал обеим женщинам пить побольше джину.

– Это полезно для пузика, – говорил он. – На море прежде всего начинает болеть пузик. Чем больше вы вольете в него вечером, тем веселее будете утром.

Дамы пошли посмотреть свою каюту; они стояли в полумраке, как в пещере, говорили вполголоса, чтобы мужчины их не слышали, – уже больше не жены, а чужие женщины какого-то другого народа.

– Мы здесь больше не нужны, – старина, – сказал Галифакс. – Они уже освоились. Поеду на берег.

– Я с вами.

До сих пор все казалось нереальным, но вот он почувствовал настоящую боль, предвестницу смерти. Подобно осужденному на смерть, он долго не верил в свой приговор; суд прошел точно сон, и приговор ему объявили во сне, и на казнь он ехал как во сне, а вот сейчас его поставили спиной к голой каменной стене, и все оказалось правдой. Надо взять себя в руки, чтобы достойно встретить конец.

Они прошли в глубь коридора, оставив каюту Галифаксам.

– До свиданья, детка.

– До свиданья, Тикки. Ты будешь писать каждую...

– Да, детка.

– Ужасно, что я тебя бросаю.

– Нет, нет. Тут для тебя не место.

– Все было бы иначе, если бы тебя назначили начальником полиции.

– Я приеду к тебе в отпуск. Дай знать, если не хватит денег. Я что-нибудь придумаю.

– Ты всегда для меня что-то придумывал. Ты рад, что никто тебе больше не будет устраивать сцен?

– Глупости.

– Ты меня любишь?

– А ты как думаешь?

– Нет, ты скажи. Это так приятно слышать... даже если это неправда.

– Я тебя люблю. И это, конечно, правда.

– Если я там одна не выдержу, я вернусь.

Они поцеловались и вышли на палубу. С рейда город всегда казался красивым: узкая полоска домов то сверкала на солнце, как кварц, то терялась в тени огромных зеленых холмов.

– У вас надежная охрана, – сказал Скоби.

Эсминцы и торпедные катера застыли кругом, как сторожевые псы; ветерок трепал сигнальные флажки; блеснул гелиограф. Рыбачьи баркасы отдыхали в широкой бухте под своими коричневыми парусами, похожими на крылья бабочек.

– Береги себя, Тикки.

За плечами у них вырос шумливый Галифакс.

– Кому на берег? Вы на полицейском катере, Скоби? Миссис Скоби, Мэри осталась в каюте: вытирает слезы разлуки и пудрит нос, чтобы пококетничать с попутчиками.

– До свиданья, детка.

– До свиданья.

Вот так они и распрощались окончательно – пожали друг другу руки на виду у Галифакса и глазевших на них пассажиров из Англии. Как только катер тронулся, она почти сразу исчезла из виду – может быть, спустилась в каюту к миссис Галифакс. Сон кончился; перемена свершилась; жизнь началась заново.

– Ненавижу все эти прощанья, – сказал Галифакс. – Рад, когда все уже позади. Загляну, пожалуй, в «Бедфорд», выпью кружку пива. Хотите за компанию?

– Извините. Мне на дежурство.

– Теперь, когда я стал холостяком, неплохо бы завести хорошенькую черную служаночку, – сказал Галифакс. – Но мой девиз: верность до гробовой доски.

Скоби знал, что так оно и было.

В тени от укрытых брезентом ящиков стоял Уилсон и глядел на бухту. Скоби остановился. Его тронуло печальное выражение пухлого мальчишеского лица.

– Жаль, что мы вас не видели. Луиза велела вам кланяться, – невинно солгал Скоби.

Он попал домой только в час ночи; на кухне было темно, и Али дремал на ступеньках; его разбудил свет фар, скользнувший по лицу. Он вскочил и осветил Скоби дорогу карманным фонариком.

– Спасибо, Али. Иди спать.

Скоби вошел в пустой дом – он уже позабыл, как гулко звучит тишина. Сколько раз он возвращался, когда Луиза спала, но тогда тишина не бывала такой надежной и непроницаемой; ухо невольно ловило – даже если не могло поймать – чуть слышный звук чужого дыхания, едва приметный шорох. Теперь не к чему прислушиваться. Он поднялся наверх и заглянул в спальню. Все убрано, нигде никакого следа отъезда или присутствия Луизы; Али спрятал в ящик даже фотографию. Да, Скоби остался совсем один. В ванной заскреблась крыса, а потом звякнуло железо на крыше – это расположился на ночлег запоздалый гриф.

Скоби спустился в гостиную и устроился в кресле, протянув ноги на стул. Ложиться ему не хотелось, но уже клонило ко сну: день выдался долгий. Теперь, когда он остался один, он мог позволить себе бессмысленный поступок – поспать не на кровати, а в кресле. Постепенно его покидала грусть, уступая место чувству глубокого удовлетворения. Он выполнил свой долг: Луиза была счастлива. Он закрыл глаза.

Его разбудил шум въезжавшей во двор машины и свет фар в окнах. Скоби решил, что это полицейская машина, – его дежурство еще не кончилось; он подумал, что пришла какая-нибудь

срочная и, наверно, никому не нужная телеграмма. Он открыл дверь и увидел на ступеньках Юсефа.

– Простите, майор Скоби, я проезжал мимо, увидел у вас в окнах свет и подумал...

– Войдите, – сказал Скоби. – У меня есть виски, а может, вы хотите стаканчик пива?

– Вы очень гостеприимны, майор Скоби, – с удивлением сказал Юсеф.

– Если я на такой короткой ноге с человеком, что занимаю у него деньги, то уж во всяком случае обязан оказывать ему гостеприимство.

– Тогда дайте мне стаканчик пива.

– Пророк пиво не запрещает?

– Пророк понятия не имел ни о виски, ни о консервированном пиве. Приходится выполнять его заповеди, применяясь к современным условиям. – Юсеф смотрел, как Скоби достает банки из ледника. – Разве у вас нет холодильника, майор Скоби?

– Нет. Мой холодильник дожидается какой-то запасной части – и, наверно, будет дожидаться ее до конца войны.

– Я не могу этого допустить. У меня на складе есть несколько холодильников. Разрешите вам один прислать.

– Что вы, я обойдусь. Я обхожусь без холодильника уже два года. Значит, вы просто проезжали мимо...

– Видите ли, не совсем, майор Скоби. Это только так говорится. Правду сказать, я дождался, пока заснут ваши слуги, а машину я нанял в одном гараже. Мою машину так хорошо здесь знают! И приехал без шофера. Не хочу доставлять вам неприятности, майор Скоби.

– Повторяю, я никогда не буду стыдиться знакомства с человеком, у которого занял деньги.

– Зачем вы так часто это вспоминаете, майор Скоби? Это была чисто деловая операция. Четыре процента – справедливая цена. Я беру больше, только когда сомневаюсь, что должник заплатит. Разрешите, я все-таки пришлю вам холодильник.

– О чем вы хотели со мной поговорить?

– Прежде всего хотел узнать, как себя чувствует миссис Скоби. У нее удобная каюта? Ей ничего не нужно? Пароход заходит в Лагос, и я мог бы послать все, что она захочет. Я бы дал телеграмму своему агенту.

– По-моему, она ни в чем не нуждается.

– А потом, майор Скоби, мне хотелось сказать вам кое-что насчет алмазов.

Скоби поставил на лед еще две банки пива.

– Юсеф, – сказал он спокойно и мягко, – я бы не хотел, чтобы вы думали, будто я принадлежу к людям, которые сегодня занимают деньги, а завтра оскорбляют кредитора, чтобы потешить свое "я".

– Не понимаю.

– Неважно. Спасти свое самолюбие. Понятно? Я вовсе не собираюсь отрицать, что мы с вами стали соучастниками в сделке, но мои обязательства строго ограничены уплатой четырех процентов.

– Согласен, майор Скоби. Вы уже это говорили, и я согласен. Но, повторяю, мне никогда и в голову не придет просить у вас хоть какой-нибудь услуги. Куда охотнее я оказал бы услугу вам.

– Станный вы тип, Юсеф. Верю, вы и впрямь питаете ко мне симпатию.

– Так оно и есть, майор Скоби. – Юсеф сидел на краешке стула, который больно впивался в его пышные ягодицы: он чувствовал себя неловко повсюду, кроме собственного дома. – А теперь можно мне сказать вам насчет алмазов?

– Валяйте.

– Знаете, правительство, по-моему, просто помешалось на алмазах. Оно заставляет и вас и

разведку попусту тратить драгоценное время; оно рассылает секретных агентов по всему побережью; один есть даже тут, вы знаете, кто он, хоть и считается, что о нем знает только начальник полиции; агент дает деньги любому черному или бедняку сирийцу, который расскажет ему какую-нибудь небылицу, Потом он передает эту небылицу по телеграфу в Англию и по всему побережью. И все равно – нашли хоть один алмаз?

– Нас с вами, Юсеф, это не касается.

– Я буду говорить с вами, как друг, майор Скоби. Есть алмазы и алмазы, есть сирийцы и сирийцы. Ваши люди ловят не тех, кого надо. Вы хотите, чтобы промышленные алмазы перестали утекать в Португалию, а оттуда в Германию или через границу к вишистам? Но вы все время охотитесь за людьми, которые не интересуются промышленными алмазами, а просто хотят спрятать в сейф несколько драгоценных камней на то время, когда кончится война.

– Другими словами, за вами.

– Шесть раз за один этот месяц побывала полиция в моих лавках и перевернула все вверх дном. Там им никогда не найти промышленных алмазов. Ими занимается только мелкая шушера. Послушайте, ведь за полную спичечную коробку таких алмазов можно получить каких-нибудь двести фунтов. Я называю тех, кто ими промышляет, сборщиками гравия, – с презрением добавил Юсеф.

– Я так и знал, – медленно заговорил Скоби, – что рано или поздно вы о чем-нибудь меня попросите. Но вы не получите ничего, кроме четырех процентов, Юсеф, Завтра же я подам начальнику полиции секретный рапорт о нашей сделке. Конечно, он может потребовать моей отставки, но не думаю. Он мне доверяет – Тут он осекся: – Я думаю, что доверяет.

– А разве это разумно, майор Скоби?

– По-моему, разумно. Всякий тайный сговор между мной и вами – дело опасное.

– Как хотите, майор Скоби. Только мне от вас, честное слово, ничего не надо. Я бы хотел иметь возможность делать подарки вам. Вы не хотите взять у меня холодильник, но, может, вам пригодится хотя бы совет, информация?

– Я вас слушаю, Юсеф.

– Таллит – человек маленький. Он христианин. К нему в дом ходят отец Ранк и другие. Они говорят: «Если есть на свете честный сириец – это Таллит». Но Таллиту просто не очень везет, а со стороны это похоже на честность.

– Дальше.

– Двоюродный брат Таллита сядет на следующий португальский пароход. Конечно, его вещи обыщут и ничего не найдут. У него будет попугай в клетке. Мой вам совет, майор Скоби, не мешайте двоюродному брату Таллита уехать, но отберите у него попугая.

– А почему бы нам и не помешать этому двоюродному брату уехать?

– Вы же не хотите открывать Таллиту свои карты. Вы можете сказать, что попугай болен и его нельзя везти. Хозяин не посмеет скандалить.

– Вы хотите сказать, что алмазы в зобу у попугая?

– Да.

– Этим способом и раньше пользовались на португальских судах?

– Да.

– Придется, видно, завести в полиции птичник.

– Вы воспользуетесь моим советом, майор Скоби?

– Вы мне дали совет, Юсеф. А я вам пока ничего не скажу.

Юсеф кивнул и улыбнулся. Осторожно приподняв свою тушу со стула, он робко прикоснулся к рукаву Скоби.

– Вы совершенно правы, майор Скоби. Поверьте, я боюсь причинить вам малейших вред. Я

буду очень осторожен, и вы тоже, тогда все пойдет хорошо. – Можно было подумать, что они составляют заговор не причинять никому вреда, но даже невинные слова приобрели в устах Юсефа сомнительный оттенок. – Спокойнее будет, – продолжал Юсеф, – если вы иногда перекинетесь словечком с Таллитом. Его навещает агент.

– Я не знаю никакого агента.

– Вы совершенно правы, майор Скоби. – Юсеф колыхался, как большая жирная моль, залетевшая на свет. – Пожалуйста, передайте от меня поклон миссис Скоби, когда будете ей писать. Хотя нет – письма читает цензура. Нельзя. Но вы могли бы ей сообщить... нет, лучше не надо. Лишь бы сами вы знали, что я от души желаю вам всяческих благ...

Он пошел к машине, то и дело спотыкаясь на узкой дорожке. Он включил освещение и прижался лицом к стеклу. При свете лампочки на щитке лицо казалось огромным, одутловатым, взволнованным и не внушающим никакого доверия; он сделал робкую попытку помахать на прощанье Скоби – тот стоял одиноко и неподвижно в дверях притихшего, пустого дома.

Они стояли на веранде дома окружного комиссара в Пенде и смотрели, как мелькают факелы на той стороне широкой, сонной реки.

– Вот она, Франция, – сказал Дрюс, называя землю за рекой так, как звали ее здесь.

– Перед войной, – заметила миссис Перро, – мы часто уезжали во Францию на пикники.

Из дома на веранду вышел сам Перро, неся в каждой руке по бокалу; брюки на его кривых ногах были заправлены в противомоскитные сапоги, точно он только что слез с коня.

– Держите, Скоби, – сказал он. – Знаете, мне трудно представить себе французов врагами.

Мои предки покинули Францию вместе с гугенотами. Это, что ни говори, сказывается.

Вызывающее выражение не сходило с его худого, длинного, желтого лица, которое нос разрезал словно шрам; Перро свято верил в свою значительность; скептикам следовало дать отпор и по возможности подвергнуть их гонениям – эту свою веру он будет проповедовать, пока жив.

– Если они выступят на стороне немцев, – сказал Скоби, – Пенде, вероятно, одно из тех мест, где они на нас нападут.

– Еще бы, – откликнулся Перро. – Недаром меня перевели сюда в тридцать девятом. Правительство предвидело все заранее. Будьте уверены, мы готовы ко всему. А где доктор?

– Кажется, пошел еще раз посмотреть, готовы ли койки, – сказала миссис Перро. – Слава богу, майор Скоби, что ваша жена добралась благополучно. А вот эти несчастные... сорок дней в шлюпках! Страшно подумать.

– Каждый раз на одной и той же линии – между Дакаром и Бразилией, – недаром там самое узкое место Атлантики, – сказал Перро.

На веранду вышел доктор.

На том берегу опять стало тихо и мертво; факелы погасли. Фонарь, горевший на маленькой пристани возле дома, позволял разглядеть несколько футов плавно текущей черной воды. Из темноты показалось бревно, оно плыло так медленно, что Скоби успел досчитать до двадцати, прежде чем его опять поглотила мгла.

– Лягушатники вели себя на этот раз не так уж плохо, – хмуро заметил Дрюс, извлекая москита из стакана.

– Они доставили только женщин, стариков и умирающих, – откликнулся врач, пощипывая бородку. – Согласитесь, что это не так уж много.

Внезапно с дальнего берега донеслось гудение голосов, словно зажужжал рой мошкар. То там, то тут замелькали, как светлячки, факелы. Скоби поднес к глазам бинокль и поймал освещенное на миг черное лицо, шест гамака, белую руку, спину офицера.

– Кажется, они уже прибыли, – заметил он.

У края воды плясала длинная вереница огней.

– Ну что ж, – сказала миссис Перро, – пока что пойдете домой.

Москиты жужжали вокруг них монотонно, как швейные машинки. Дрюс вскрикнул и хлопнул себя по руке.

– Идете, – настаивала миссис Перро. – Москиты здесь малярийные.

Окна гостиной были затянуты москитными сетками. Стояла тяжелая духота, как всегда перед началом дождей.

– Носилки переправят в шесть утра, – сказал врач. – Кажется, у нас все готово, Перро. У нескольких человек лихорадка, у одного – в тяжелой форме, но большинство просто истощено до предела – самая страшная болезнь. Та, от которой почти все мы умираем в конце концов.

– Скоби и я займемся ходячими больными, – заявил Дрюс. – Вы нам скажете, доктор, если им не под силу отвечать на наши вопросы. А ваша полиция, Перро, присмотрит, надеюсь, за носильщиками – надо, чтобы все они вернулись обратно.

– Ну конечно, – сказал Перро. – Мы здесь начеку. Хотите еще выпить?

Миссис Перро повернула ручку радиоприемника, и за три тысячи миль к ним приплыли звуки органа из лондонского кинотеатра «Орфеум». С той стороны реки доносились то громче, то глуше возбужденные голоса носильщиков. Кто-то постучал в дверь, ведущую на веранду. Скоби беспокойно ерзал в кресле: орган гудел и стонал, исполняя эстрадную песенку, его музыка казалась Скоби возмутительно нескромной. Дверь открылась, и в гостиную вошел Уилсон.

– Здравствуйте, Уилсон, – сказал Дрюс. – А я и не знал, что вы здесь.

– Мистер Уилсон инспектирует у нас лавку ОАК, – объяснила миссис Перро. – Вам удобно в доме для приезжих? Там ведь редко останавливаются.

– Да, вполне удобно, – сказал Уилсон. – А-а, майор Скоби. Вот уж не ожидал вас тут встретить.

– Не знаю, чему вы удивляетесь, – сказал Перро. – Я же говорил вам, что он здесь. Садитесь, выпейте чего-нибудь.

Скоби вспомнил, что сказала об Уилсоне Луиза: она его назвала фальшивым. Он взглянул на Уилсона и заметил, как с его мальчишеского лица сползает румянец, вызванный предательским замечанием Перро, но тоненькие морщинки у глаз мешали верить даже в его молодость.

– Что слышно о миссис Скоби, сэр?

– Она благополучно доехала еще на прошлой неделе.

– Я рад. Очень рад.

– Ну, а о чем сплетничают у вас в большом городе? – спросил Перро. «В большом городе» Перро произнес с издевкой: он злился, что есть место, где люди преисполнены важности, а его не ставят ни во что. Город для него, как для гугенота – католический Рим, был обителью распутства, продажности и порока. – Мы, лесные жители, живем в своем дремучем углу потихоньку, – нудно вещал Перро. Скоби пожалел миссис Перро – ей так часто приходилось слышать эти разглагольствования; она, верно, давно уже забыла то время, когда Перро за ней ухаживал и она верила каждому его слову. Сейчас она под села к приемнику, передававшему тихую музыку, – слушала или делала вид, будто слушает старинные венские вальсы, сжав зубы и стараясь не обращать внимания на своего супруга в его излюбленном репертуаре. Ну так как. Скоби, что подельывает наше высокое начальство?

– Да что ж, – неопределенно сказал Скоби, с жалостью наблюдая за миссис Перро, – ничего особенного. Все так заняты войной...

– Ну, конечно, – отозвался Перро, – сколько одних папок надо перебрать в Администрации. Вот бы поглядеть, как бы они стали выращивать рис в наших краях. Узнали бы тогда, что такое настоящая работа.

– По-моему, больше всего шума у нас наделала история с попугаем, верно, сэр? – сказал Уилсон.

– С попугаем Таллита? – спросил Скоби.

– Или Юсефа, если верить Таллиту, – добавил Уилсон. – Разве не так, сэр? Может, я что-нибудь напутал?

– Вряд ли мы когда-нибудь узнаем, так это или не так, – ответил Скоби.

– А что это за история? Мы ведь здесь отрезаны от всего. Наше дело – думать о французах.

– Недели три назад двоюродный брат Таллита отправлялся в Лиссабон на португальском

пароходе. Мы осмотрели его вещи и ничего не нашли, но до меня дошли слухи, что контрабандисты иногда перевозят алмазы в зобу у птицы; вот я и забрал его попугая. И действительно, в нем оказалось фунтов на сто промышленных алмазов. Пароход еще не отчалил, и мы посадили двоюродного брата Таллита на берег. Дело казалось совершенно ясным.

– И что же дальше?

– Сириец всегда выйдет сухим из воды, – сказал врач.

– Слуга двоюродного брата Таллита показал под присягой, что это чужой попугай... ну и двоюродный брат Таллита, конечно, показал то же самое. По их версии, младший слуга подменил птицу, чтобы подвести Таллита под суд.

– И все было подстроено Юсефом? – спросил врач.

– Конечно. Беда в том, что младший слуга как в воду канул. Тут могут быть два объяснения: либо он получил деньги от Юсефа и скрылся, либо его подкупил Таллит, чтобы свалить вину на Юсефа.

– В наших краях, – сказал Перро, – я бы упрятал за решетку обоих.

– В городе, – ответил Скоби, – приходится действовать по закону.

Миссис Перро повернула ручку приемника, и чей-то голос прокричал с неожиданной силой: «Дайте ему пинка в зад!»

– Пойду спать, – сказал врач. – Завтра нам предстоит трудный день.

Сидя в постели под москитной сеткой, Скоби открыл свой дневник. Он уж и не помнил, сколько лет подряд записывал каждый вечер все, что случалось с ним за день, – одни голые факты. Ему легко было проверить, когда произошло то или иное событие, если об этом заходил спор; припомнить, когда начались в таком-то году дожди или когда перевели в Восточную Африку предпоследнего начальника департамента общественных работ, – все было под рукой, в одной из тетрадок, хранившихся дома в железном ящике у него под кроватью. Он никогда без надобности не открывал эти тетради, особенно ту, где кратко было записано: «Л. умерла». Он и сам не знал, почему хранит свои дневники; во всяком случае – не для потомства. Если бы потомство и заинтересовалось жизнью скромного полицейского чиновника в захудалой колонии, оно бы ничего не почерпнуло из этих лаконичных записей. Пожалуй, все началось с того, что сорок лет назад в приготовительном классе он получил «Алана Куотермейна» в награду за ведение дневника во время летних каникул, и это занятие вошло у него в привычку. Даже самый характер записей с тех пор мало изменился. «На завтрак сосиски. Чудная погода. Утром гулял. Урок верховой езды после обеда. На обед курица. Пирожок с патокой...» А теперь он писал: «Луиза уехала. Вечером заезжал Ю. Первый ураган в 2:00». Перо его бессильно было передать значение того или другого события; только он сам, если бы дал себе труд перечитать предпоследнюю фразу, мог понять, какую страшную брешь сострадание к Луизе пробило в его неподкупности. Не зря он написал «Ю.», а не «Юсеф».

Сейчас Скоби записал: «5 мая. Приехал в Пенде встречать спасенных с парохода 43». (Из предосторожности он пользовался шифром). «Со мной Дрюс». Немного помедлив, он добавил: «Здесь Уилсон». Закрыв дневник и растянувшись под сеткой, он принялся молиться. Это тоже вошло у него в привычку. Он прочитал «Отче наш», «Богородицу», а потом, когда сон уже смежил ему веки, покался в грехах. Это была чистая формальность, и не потому, что он не знал за собой он и его жизнь имеют хоть какое-то значение. Он не пил, не прелюбодействовал, он даже не лгал, но никогда не считал, что отсутствие этих грехов делает его праведником. Когда он вообще о себе думал, он казался себе вечным новобранцем, рядовым, которому просто не представлялось случая, серьезно нарушить воинский устав. «Вчера я пропустил обедню без особых причин. Не прочитал вечерних молитв». Он и тут вел себя как солдат: старался, если можно, увильнуть от наряда. «Помилуй, господи...» – но, прежде чем Скоби успел назвать, кого

именно, он заснул.

На следующее утро все они стояли у пристани; первые холодные лучи длинными полосками высвечивали небо на востоке. Окна деревенских хижин еще серебрила луна. В два часа ночи смерч – бешено вертящийся черный столб – налетел с побережья, и в воздухе после дождя стало холодно. Подняв воротники, они глядели на французский берег, а за ними сидели на корточках носильщики. По тропинке, протирая глаза, спускалась миссис Перро; с того берега чуть слышно донеслось бляение козы.

– Они опаздывают? – спросила миссис Перро.

– Нет, это мы поднялись слишком рано. – Скоби не отрываясь смотрел в бинокль на противоположный берег. – Кажется, там что-то движется, – сказал он.

– Вот бедняги, – вздохнула миссис Перро, поеживаясь от утренней прохлады.

– Они остались живы, – заметил врач.

– Да.

– Мы, врачи, считаем это немаловажным обстоятельством.

– А можно когда-нибудь оправиться от такого потрясения? Сорок дней в шлюпке в открытом океане!

– Если они остались живы, – сказал врач, – они поправятся. Человека может сломить только неудача, а им повезло.

– Их выносят из хижин, – сказал Скоби. – Если не ошибаюсь, там шесть носилок. Вот подгоняют лодки.

– Нас предупредили, чтобы мы приготовились принять девять лежащих больных и четырех ходячих, – сказал врач. – Должно быть, еще несколько человек умерли.

– Я мог ошибиться. Их понесли вниз. Носилок, кажется, семь. Ходячих отсюда не видно.

Отлогие холодные лучи были не в силах рассеять утренний туман, и другой берег теперь, казалось, был дальше, чем в полдень. В тумане зачернел выдолбленный из ствола челнок, в котором, по-видимому, находились «ходячие» больные; неожиданно он оказался совсем рядом. На том берегу испортился лодочный мотор: было слышно, как он тарахтит с перебоями, будто запыхавшееся животное.

Первым из «ходячих» вышел на берег пожилой человек с рукой на перевязи. На голове у него был грязный тропический шлем, на плечи наброшен кусок домотканой материи; здоровой рукой он тербил и чесывал белую щетину на лице.

– Я Лодер, главный механик, – произнес он с явным шотландским акцентом.

– Добро пожаловать, мистер Лодер, – сказал Скоби. – Не хотите ли подняться в дом, доктор зайдет к вам через несколько минут.

– А на что они мне, эти доктора?

– Тогда посидите и отдохните. Я с вами сейчас побеседую.

– Мне нужно доложить здешним властям.

– Отведите его, пожалуйста, в дом, Перро.

– Я окружной комиссар, – сказал Перро. – Можете обо всем доложить мне.

– Тогда чего мы тут ждем? – спросил механик. – Уже почти два месяца прошло, как потонул пароход. На мне огромная ответственность – ведь капитана нет в живых. – Пока они с

Перро поднимались к дому, на берегу был слышен настойчивый голос шотландца, ровный, как стук динамомашин. – Я отвечаю перед владельцами...

На пристань вышли еще трое, а с того берега доносились все те же звуки: звонкие удары зубила, звяканье металла, а затем опять прерывистое пыхтенье мотора. Двое из первой партии были рядовыми жертвами таких катастроф: по виду обыкновенные мастеровые; их можно было бы принять за братьев, если бы фамилия одного не была Форбс, а другого – Ньюол. Это были пожилые люди, не умевшие ни приказывать, ни жаловаться, принимавшие удары судьбы как должное; у одного из них была раздолблена ступня, и он опирался на костыль; у другого – забинтована лоскутьями рубахи рука. Они стояли на пристани с таким же безразличным видом, с каким ожидали бы открытия пивной где-нибудь в Ливерпуле. За ними из челнока вышла рослая седая женщина в противомоскитных сапогах.

– Ваше имя, мадам? – спросил Дрюс, заглядывая в список. – Вы не миссис Ролт?

– Я не миссис Ролт. Я мисс Малкот.

– Поднимитесь, пожалуйста, в дом. Доктор...

– У доктора найдутся дела посерьезнее, чем возиться со мной.

– Но вам, наверно, хочется прилечь, – сказала миссис Перро.

– Ничуть, – заявила мисс Малкот. – Я ни капельки не устала. – После каждой фразы она плотно сжимала губы. – Я не хочу есть. Нервы у меня в порядке. Я хочу ехать дальше.

– Куда?

– В Лагос. В департамент просвещения.

– Боюсь, что вам суждена еще не одна задержка.

– Меня уже и так задержали на два месяца. Я не выношу никаких задержек. Работа не ждет. Неожиданно она подняла лицо к небу и завывала как собака.

Врач бережно взял ее под руку.

– Мы сделаем все возможное, чтобы отправить вас немедленно. Пойдемте в дом, вы оттуда сможете позвонить по телефону.

– Хорошо, – согласилась мисс Малкот, – по телефону все можно уладить.

– Пошлите этих двух парней за нами следом, – предложил врач. – С ними все в порядке. Если вам нужно их допросить, мистер Скоби, что ж, допрашивайте.

– Я их провожу, – сказал Дрюс. – Оставайтесь здесь, Скоби, ждите моторку. Я не очень силен во французском.

Скоби уселся на перила пристани и стал смотреть на ту сторону. Теперь, когда туман рассеивался, другой берег стал ближе; он мог уже разглядеть простым глазом все детали: белое здание склада, глиняные хижины, сверкавшие на солнце медные части моторки; ему были видны и красные фески африканских солдат. Вот так же я мог бы ждать, что и Луизу принесут на носилках, подумал он, а может, уже и не ждал бы ее вовсе. Кто-то пристроился на перилах рядом с ним, но Скоби не повернул головы.

– О чем вы думаете, сэр?

– Я думаю о том, что Луиза в безопасности, Уилсон.

– Я тоже об этом подумал, сэр.

– Отчего вы всегда зовете меня «сэр»? Ведь вы же не служите в полиции. Когда вы меня так величаете, я чувствую себя совсем стариком.

– Простите, майор Скоби.

– А как вас звала Луиза?

– Уилсон. Ей, наверно, не нравится мое имя.

– Кажется, они наконец починили мотор. Будьте добры, Уилсон, позовите доктора.

На носу лодки стоял французский офицер в замусоленном белом мундире. Солдат бросил

конец. Скоби поймал и закрепил его.

– Bonjour, – сказал он и отдал честь.

Французский офицер – тощий субъект, у которого подергивался левый глаз, – ответил на приветствие.

– Здравствуйте, – сказал он по-английски. – Тут у меня семеро лежачих.

– По моим сведениям, их должно быть девять.

– Один умер в пути, другой – сегодня ночью. Один от лихорадки, другой от... я плохо говорю по-английски, можно сказать – от утомления?

– От истощения.

– Вот-вот.

– Если вы позволите моим людям подняться на борт, они заберут носилки. – Повернувшись к носильщикам, Скоби сказал: – Только потише, потише...

Приказание было излишнее: ни один белый санитар не сумел бы поднять и нести носилки осторожнее.

– Не хотите ли размяться на берегу? – спросил Скоби офицера. – А может быть, поднимемся и выпьем кофе?

– Нет, спасибо. Я только прослежу, чтобы все было в порядке.

Он был вежлив и неприступен, но левый глаз его то и дело подавал сигнал растерянности и бедствия.

– Если хотите, могу дать вам английские газеты.

– Нет, нет, спасибо. Я с трудом читаю по-английски.

– Вы говорите очень хорошо.

– Это другое дело.

– Хотите папиросу?

– Нет, спасибо. Я не люблю американский табак.

На берег вынесли первые носилки; одеяло было натянуто до самого подбородка, и, глядя на окаменевшее, безучастное лицо, невозможно было определить возраст этого человека. Навстречу спустился врач, он повел носильщиков к дому для приезжих, где для больных приготовили койки.

– Мне приходилось бывать на вашем берегу, – сказал Скоби, – я там охотился с начальником полиции. Славный парень, его фамилия Дюран, он из Нормандии.

– Его больше нет.

– Уехал домой?

– Сидит в дакарской тюрьме, – ответил француз, стоя в своей моторке, как изваяние на носу галеона, но глаз его все дергался и дергался.

Мимо Скоби медленно поплыли в гору носилки: пронесли мальчика лет десяти с лихорадочными пятнами на щеках и сухонькой, как жердочка, рукой поверх одеяла; старуху с растрепанными седыми волосами, которая все время металась и что-то шептала; мужчину с носом пьяницы – сизой шишкой на желтом лице. Носилки за носилками поднимались в гору; ноги носильщиков ступали ритмично, уверенно, как ноги вьючных животных.

– А как поживает отец Брюль? – спросил Скоби. – Прекрасный человек!

– Умер год назад от лихорадки.

– Он провел здесь безвыездно лет двадцать, верно? Его нелегко заменить.

– Его и не заменили, – сказал офицер.

Он повернулся и сердито отдал короткий приказ одному из своих солдат. Скоби взглянул на следующие носилки и поспешно отвел глаза. На носилках лежала девочка – ей, видимо, не было и шести лет. Она спала тяжелым, нездоровым сном; светлые волосы спутались и слиплись

от пота; раскрытые губы пересохли и потрескались; тельце ее равномерно дергалось от озноба.

– Ужасно, – пробормотал Скоби.

– Что ужасно?

– Такой маленький ребенок.

– Да. Родители погибли. Но не беда. Она тоже умрет.

Скоби смотрел, как медленно поднимались в гору носильщики, осторожно переступая босыми ногами. Объяснить это, думал он, было бы трудно даже отцу Брюлю. Дело не в том, что ребенок умрет, – тут объяснять нечего. Даже язычники понимают, что ранняя смерть знаменует порою милость божию, хотя и видят в ней совсем другой смысл; но то, что ребенку позволено было промучиться сорок дней и сорок ночей в открытом море, – вот загадка, которую трудно совместить с милосердием Божиим.

А он не мог верить в бога, который так бесчеловечен, что не любит своих созданий.

– Каким чудом ей удалось выжить? – удивился он вслух.

– Конечно, все в шлюпке о ней заботились, – угрюмо сказал офицер. – Часто уступали ей свою порцию воды. Глупо, конечно, но нельзя же всегда подчиняться одному рассудку. Кроме того, это их отвлекало от своей судьбы. – Тут крылся намек на какое-то объяснение – увы, слишком неясный, чтобы его можно было понять. Офицер продолжал: – А вот еще одна, на которую нельзя смотреть спокойно.

Ее лицо было обезображено голодом: кожа обтянула скулы так туго, что, казалось, вот-вот лопнет; лишь отсутствие морщин показывало, что это молодое лицо.

– Она только что вышла замуж, – сказал французский офицер, – перед самым отъездом. Муж утонул. По паспорту ей девятнадцать. Она может выжить. Видите, она еще не совсем обессилела.

Ее руки, худые, как у ребенка, лежали на одеяле, пальцы крепко вцепились в какую-то книгу. Скоби заметил на высохшем пальце обручальное кольцо.

– Что это? – спросил он.

– *Timbres*, – ответил французский офицер и с горечью добавил: – Когда началась эта проклятая война, она, верно, была еще школьницей.

Скоби навсегда запомнил, как ее внесли в его жизнь – на носилках, с закрытыми глазами, судорожно вцепившуюся в альбом для марок.

Вечером они снова собрались у окружного комиссара, но настроение у всех было подавленное; даже Перро уже больше не пыжился.

– Ну вот, завтра я укачу, – сказал Дрюс. – Вы тоже, Скоби?

– Вероятно.

– Вам все удалось выяснить? – спросила миссис Перро.

– Все, что нужно. Главный механик просто золото. Он запомнил все подробности. Я едва успевал записывать. Как только он кончил, он потерял сознание. Парня только и поддерживала его «ответственность». Знаете, ведь они добирались сюда пешком целых пять дней, те, кто мог ходить.

– Они плыли без конвоя? – спросил Уилсон.

– Они вышли с караваном судов, но у них что-то случилось с машиной, а вы знаете

неписанный закон наших дней: горе отстающим. Они отстали от конвоя на двенадцать часов и пытались его нагнать, но их торпедировали. После этого подводная лодка поднялась на поверхность и командир дал им направление. Он сказал, что взял бы их на буксир, если бы за ним самим не охотился морской патруль. Как видите, в этой истории трудно найти виноватого. – И перед глазами Скоби сразу возник конец «этой истории»: ребенок с открытым ртом, худенькие руки, сжимающие альбом для марок. – Может, доктор заглянет сюда, когда у него будет свободная минута? – спросил он.

Ему не сиделось на месте, и он вышел на веранду, тщательно прикрыв за собой дверь и опустив сетку; сразу же около его уха загудел москит. Жужжание было беспрестанным, но, когда москиты переходили в наступление, звук становился густым, как у пикирующих бомбардировщиков. В окнах импровизированной больницы горел свет, и бремя всего этого горя тяжело давило ему на плечи. У него было такое чувство, будто он избавился от одной ответственности только для того, чтобы взять на себя другую. Правда, это была ответственность, которую он разделял со всеми людьми на свете, но такая мысль не давала утешения, ибо иногда ему казалось, что свою ответственность сознает только он один. Правда, в Содоме и Гоморре и одна-единственная душа могла изменить божью волю.

По ступенькам веранды поднялся врач.

– А-а, Скоби, – произнес он голосом таким же усталым, как его плечи. – Вышли подышать ночным воздухом? В здешних местах это не очень-то рекомендуется.

– Как они? – спросил Скоби.

– Я думаю, будет еще только два смертельных исхода. Может быть, один.

– А как девочка?

– Не доживет до утра, – отрывисто произнес врач.

– Она в сознании?

– Не совсем. Иногда зовет отца: наверно, ей кажется, будто она все еще в шлюпке. От нее скрывали правду, говорили, что родители в другой лодке. Сами-то они знали, кто погиб, – у них была между лодками сигнализация.

– А вас она не принимает за отца?

– Нет, борода мешает.

– Как учительница? – спросил Скоби.

– Мисс Малкот? Она поправится. Я дал ей большую дозу снотворного, теперь проспит до утра. Это все, что ей нужно, и еще сознание, что она не сидит на месте, а куда-то едет. Не найдется ли у вас места в полицейском грузовике? Надо бы ее увезти отсюда.

– Там едва уместимся Дрюс и я со слугами и вещами. Мы вам вышлем санитарную машину, как только приедем. Как «ходячие»?

– Они выживут.

– А мальчик и старуха?

– Тоже.

– Чей это мальчик?

– Учился в Англии. В начальной школе. Родители – в Южной Африке, они думали, что с ними он будет в безопасности.

– Ну а та молодая женщина... с альбомом для марок? – как-то нехотя спросил Скоби.

Ему почему-то запомнилось не ее лицо, а альбом для марок да еще обручальное кольцо, болтавшееся на пальце, как если б ребенок, играя, надел мамино кольцо.

– Не знаю, – сказал врач. – Если она протянет до утра... быть может...

– Вы ведь сами еле держитесь на ногах! Зайдите, выпейте стаканчик.

– Да. Я вовсе не хочу, чтобы меня съели москиты.

Доктор открыл дверь, а тем временем москит впился Скоби в шею. Он даже не отмахнулся. Медленно, нерешительно он побрел туда, откуда только что пришел доктор, – вниз по ступенькам на неровную скалистую дорожку. Под ногами осыпались камешки. Он вспомнил Пембертона. Как глупо ждать счастья в мире, где так много горя. Свою потребность в счастье он узрел до минимума: фотографии убраны в ящик, мертвые вычеркнуты из памяти; вместо украшений на стене – ремень для правки бритвы и пара ржавых наручников; и все равно, думал он, у человека остаются глаза, которые видят, и уши, которые слышат. Покажите мне счастливого человека, и я покажу вам либо самовлюбленность, эгоизм и злобу, либо полнейшую духовную слепоту.

У дома для приезжих он остановился. В окнах горел свет, создавая удивительное ощущение покоя, если, конечно, не знать, что происходит внутри; вот так и звезды в эту ясную ночь создавали ощущение полнейшей отрешенности, безмятежности и свободы. Если бы мы все знали досконально, подумал он, мы бы, верно, испытывали жалость даже к планетам. Если дойти до того, что зовут самую сутью дела...

– Это вы, майор Скоби? – Его окликнула жена миссионера. Она была в белом, словно сиделка, ее волосы чугуно-серого цвета были зачесаны назад уступами, как выветрившиеся холмы. – Пришли полубопытствовать? – вызывающе спросила она.

– Да, – сказал он.

Он не нашелся, что ответить: не мог же он описать миссис Боулс свою тревогу, навязчивые мысли, отчаянное чувство бессилия, ответственности и сострадания.

– Войдите, – сказала миссис Боулс, и он последовал за ней послушно, как ребенок.

В доме было три комнаты. В первой поместили ходячих больных; приняв большие дозы снотворного, они мирно спали, как после хорошей прогулки. Во второй комнате лежали те, кто подавал надежду на благополучный исход. В третьей, совсем маленькой, стояло только две койки, разделенные ширмой: тут были шестилетняя девочка с потрескавшимися губами и молодая женщина – она лежала на спине без сознания, все еще судорожно сжимая альбом для марок. В блюдце стояла свеча, она отбрасывала слабую тень на пол между кроватями.

– Если хотите помочь, – сказала миссис Боулс, – побудьте тут немножко. Мне надо сходить в аптеку.

– В аптеку?

– Она же кухня. Приходится приспособливаться.

Скоби стало зябко и как-то не по себе. По спине пробежали мурашки.

– А я не могу пойти вместо вас? – спросил он.

– Вы шутите! – сказала миссис Боулс. – Разве вы умеете готовить лекарства? Я уйду всего на несколько минут. Позовите меня, если у ребенка начнется агония.

Если бы она дала ему опомниться, он придумал бы какую-нибудь отговорку, но она тут же ушла, и он тяжело опустился на стул. Взглянув на девочку, он увидел у нее на голове белое покрывало для первого причастия: это была игра теней на подушке и игра его воображения. Он отвел глаза и опустил голову на руки. Он был тогда в Африке и не видел, как умер его ребенок. Он всегда благодарил бога за то, что избежал этого испытания. Но, кажется, в жизни ничего не удастся избежать. Если хочешь быть человеком, надо испить чашу до дна. Пусть сегодня она тебя миновала, – завтра ты сам трусливо ее избежал – все равно, тебе непременно поднесут ее в третий раз. И он помолился, все еще закрывая ладонями лицо: "Боже, не дай ничему случиться, пока не придет миссис Боулс. Он слышал дыхание ребенка, тяжелое, неровное, словно тот нес в гору непосильную ношу; мучительно было сознавать, что ты не можешь снять с него это бремя. Он подумал все, у кого есть дети, обречены чувствовать такие муки непрерывно, а я не могу вынести их даже несколько минут Родители ежечасно дрожат за жизнь своих детей. «Защити ее,

отче. Ниспошли ей покой». Дыхание прервалось, стихло и опять возобновилось с мучительным усилием. Между пальцами ему было видно, как лицо ребенка искажается от натуги, словно лицо грузчика. «Отче, ниспошли ей покой, – молил он. – Лиши меня покоя навеки, но ей даруй покой». На ладонях у него выступил пот.

– Папа...

Он услышал, как слабый, прерывающийся голосок повторил «папа», и, отведя руки, встретил взгляд голубых воспаленных глаз. Он с ужасом подумал: вот оно, то, чего я, казалось, избежал. Он хотел позвать миссис Боулс, но у него отнялся язык. Грудь ребенка вздымалась, лоя воздух, чтобы повторить короткое слово «папа». Он нагнулся над кроватью и сказал:

– Да, детка. Помолчи, я здесь, с тобой.

Свеча отбросила на одеяло тень его сжатого кулака, и та привлекла взгляд девочки. Ей стало смешно, но она только скорчилась и не смогла рассмеяться. Скоби поспешно убрал руку.

– Спи, детка, – сказал он, – тебе ведь хочется спать. Спи. – В памяти возникло воспоминание, которое он, казалось, глубоко похоронил; Скоби вынул носовой платок, свернул его, и на подушку упала тень зайчика. – Вот тебе зайчик, он заснет с тобой. Он побудет с тобой, пока ты спишь. Спи. – Пот градом катился у него по лицу и оставлял во рту вкус соли, вкус слез. – Спи.

Заяц шевелил и шевелил ушами: вверх – вниз, вверх – вниз.

Вдруг Скоби услышал за спиной негромкий голос миссис Боулс.

– Перестаньте, – отрывисто сказала она. – Ребенок умер.

Утром он сообщил врачу, что останется до прихода санитарных машин; он уступает мисс Малкот свое место в полицейском грузовике. Ей лучше поскорее уехать – смерть ребенка снова выбила ее из колеи, а разве можно поручиться, что не умрет кто-нибудь еще? Ребенка похоронили на другое утро, положив его в единственный гроб, который удалось достать. Гроб был рассчитан на взрослого человека, но в этом климате медлить было нельзя. Скоби не пошел на похороны; погребальную службу отслужил мистер Боулс, присутствовали супруги Перро, Уилсон и два-три почтовых курьера; врач был занят своими больными. Скоби захотелось уйти подальше, он быстро зашагал по рисовым полям, поговорил с агрономом об оросительных работах, потом, исчерпав эту тему, зашел в лавку и сел там в темноте, дожидаясь Уилсона, окруженный консервными банками с маслом, супами, печеньем, молоком, картофелем, шоколадом. Но Уилсон не появлялся: видно, их всех доконали похороны и они зашли выпить к окружному комиссару. Скоби отправился на пристань и стал смотреть, как идут к океану парусные лодки. Раз он поймал себя на том, что говорит кому-то вслух:

– Почему ты не дал ей утонуть?

Какой-то человек посмотрел на него с недоумением, и он двинулся дальше вверх по откосу.

Возле дома для приезжих миссис Боулс дышала свежим воздухом; она дышала им обстоятельно, как принимают лекарство, ритмично открывая и закрывая рот, делая вдохи и выдохи.

– Здравствуйте, майор, – сухо сказала она и глубоко вдохнула воздух. – Вы не были на похоронах?

– Не был.

– Мистеру Боулсу и мне редко удается вместе побывать на похоронах. Разве что когда мы в отпуске.

– А будут еще похороны?

– Кажется, еще одни. Остальные пациенты постепенно поправятся.

– А кто умирает?

– Старуха. Ночью ей стало хуже. А ведь она уже как будто выздоравливала.

Он почувствовал облегчение и выругал себя за бессердечие.

– Мальчику лучше?

– Да.

– А миссис Ролт?

– Нельзя сказать, что она вне опасности, но, я думаю, выживет. Она пришла в себя.

– И уже знает о гибели мужа?

– Да.

Миссис Боулс стала делать взмахи руками. Потом шесть раз поднялась на носки.

– Я бы хотел чем-нибудь помочь, – сказал Скоби.

– Вы умеете читать вслух? – спросила, поднимаясь на носки, миссис Боулс.

– Думаю, что да.

– Тогда можете почитать мальчику. Ему скучно лежать, а скука таким больным вредна.

– Где мне взять книгу?

– В миссии их сколько угодно. Целые полки.

Только бы не сидеть сложа руки. Скоби пошел в миссию и нашел там, как говорила миссис Боулс, целые полки книг. Он плохо разбирался в книгах, но даже на его взгляд тут нечем было развлечь больного мальчика. На старомодных, покрытых плесенью переплетах красовались такие заглавия, как «Двадцать лет миссионерской деятельности», «Потерянные и обретенные души», «Тернистый путь», «Наставление миссионера». По-видимому, миссия обратилась с призывом пожертвовать ей книги, и здесь скопились излишки библиотек из набожных английских домов. «Стихотворения Джона Оксенхэма», «Ловцы человеков». Он взял наугад какую-то книгу и вернулся в дом для приезжих. Миссис Боулс приготавливала лекарства в своей «аптеке».

– Нашли что-нибудь?

– Да.

– Насчет этих книг можете быть спокойны, – сказала миссис Боулс. – Они проходят цензуру – их проверяет специальный комитет. Некоторые люди норовят послать сюда совсем неподходящие книги. Мы учим детей грамоте не для того, чтобы они читали... извините за выражение, романы.

– Да, наверно.

– Дайте-ка взглянуть, что вы там нашли.

Тут он и сам взглянул на заглавие: «Архипастырь среди племени банту».

– Это, должно быть, интересно, – сказала миссис Боулс. Он не очень уверенно кивнул. – Вы знаете, где лежит мальчик. Только читайте минут пятнадцать, не больше.

Старуху перевели в дальнюю комнату, где умерла девочка, мужчина с сизым носом перебрался в ту, которую миссис Боулс называла палатой выздоравливающих, а средняя комната была отведена мальчику и миссис Ролт. Миссис Ролт лежала лицом к стене, с закрытыми глазами. По-видимому, альбом удалось наконец вынуть из ее рук – он был на стуле рядом с кроватью. Мальчик смотрел на вошедшего Скоби блестящими, возбужденными от лихорадки глазами.

– Моя фамилия Скоби. А твоя?

- Фишер.
- Миссис Боулс просила тебе почитать, – застенчиво сказал Скоби.
- А вы кто? Военный?
- Нет, я служу в полиции.
- Это книга про сыщиков?
- Нет, как будто нет.

Он раскрыл книгу и напал на фотографию епископа в полном облачении, сидящего на деревянном стуле с высокой спинкой возле маленькой церквушки, крытой железом; вокруг стояли, улыбаясь в объектив, мужчины и женщины из племени банту.

- Лучше почитайте про сыщиков. А вы сами хоть раз поймали убийцу?

– Да, но не такого, как ты думаешь: мне не надо было его выслеживать и устраивать погоню.

- Что же это тогда за убийство?
- Ну, людей иногда убивают и в драке.

Скоби говорил вполголоса, чтобы не разбудить миссис Ролт. Она лежала, вытянув на одеяле сжатую в кулак руку; кулак был не больше теннисного мяча.

– Как называется ваша книга? Может, я ее читал. Я читал на пароходе «Остров сокровищ». Вот если бы она была про пиратов! Как она называется?

- «Архипастырь среди банту».
- Что это такое?

Скоби перевел дух.

- Видишь ли. Архипастырь – это фамилия героя.
- А как его зовут?
- Иеремия.
- Слюнявое имя.

– А он и есть слюнтяй. – И вдруг, отведя взгляд, он заметил, что миссис Ролт не спит: она слушала, уставившись в стену. Он продолжал наобум: – Настоящие герои там – банту.

- А кто они, эти банту?

– Свирепые пираты, которые укрываются на островах Вест-Индии и нападают на корабли в той части Атлантического океана.

- И Иеремия Архипастырь их ловит?

– Да. Видишь ли, книга немножко и про сыщиков, потому что он тайный агент английского правительства. Одевается как простой матрос и нарочно плавает на торговых судах, чтобы попасть в плен к банту. Знаешь, пираты ведь разрешают простым матросам поступать к ним на корабль. Если бы он был офицером, его бы вздернули на рее. А так он умудрился разведать все их пароли и тайники, узнал, какие они замышляют набеги, а потом, в решающую минуту, их выдал.

- Тогда он порядочная свинья, – сказал мальчик.

- Да, он еще влюбился в дочку предводителя пиратов и тут-то стал настоящим слюнтяем.

Но это уже под самый конец, мы до него не дойдем. До этого будет много всяких схваток и убийств.

- Книга вроде ничего. Ладно, читайте.

– Видишь ли, сегодня миссис Боулс разрешила мне побыть с тобой совсем недолго, я тебе просто рассказал про книгу, а начнем мы завтра.

- А вдруг вас завтра уже здесь не будет. Если кого-нибудь убьют.

– Но книга-то будет здесь. Я оставляю ее у миссис Боулс. Это ее книга. Правда, если она будет читать, получится немножко иначе...

– Ну, вы хоть начните, – попросил мальчик.

– Да, начните, – чуть слышно произнес голос с соседней кровати; он было решил, что ему померещилось, но, повернувшись, увидел, что она на него смотрит; глаза на истощенном лице казались громадными, как у испуганного ребенка.

– Я очень плохо читаю вслух, – сказал Скоби.

– Начинайте, – с нетерпением воскликнул мальчик. – Кто же не умеет читать вслух!

Глаза Скоби были прикованы к книге, она начиналась так: «Я никогда не забуду своего первого впечатления о континенте, где мне предстояло трудиться в поте лица тридцать лучших лет моей жизни».

– С той самой минуты, как они покинули Бермуды, – медленно начал он, – за ними не переставало следовать глубоко сидевшее в воде разбойничьего вида суденышко. Капитан был явно встревожен – он не мог отвести бинокля от странного корабля. Настала ночь, а тот все шел за ними, и первое, что они увидели, когда наступил рассвет, было таинственное судно. Неужели, подумал Иеремия Архипастырь, я встречу наконец тех, за кем охочусь, – самого предводителя банту Черную Бороду или его кровожадного помощника...

Скоби перевернул страницу и на мгновение запнулся, увидев фотографию архипастыря в белом костюме с высоким пастырским воротничком и в тропическом шлеме: он играл в крикет и как раз собирался отбить мяч, брошенный негром из племени банту.

– Дальше, – потребовал мальчик.

– ...или его кровожадного помощника Бешеного Дэвиса, прозванного так за дикие вспышки ярости: в минуту гнева он мог вздернуть на рею всю команду захваченного судна. Капитан Буллер, видно, понял, что дело плохо; он приказал поднять все паруса, и некоторое время казалось, что они улизнут от погони. Но вдруг над морем загрохотал пушечный выстрел, ядро упало в воду футах в двадцати от носа. Капитан Буллер поднес бинокль к глазам и крикнул с мостика Архипастырю: «Клянусь богом, это „Веселый Роджер!“ Из всего экипажа один капитан знал тайну Иеремии...»

В комнату деловито вошла миссис Боулс.

– Ну вот и хватит, – сказала она. – На сегодня довольно. Что он читал тебе, Джимми?

– «Архипастырь среди банту».

– Надеюсь, тебе понравилось.

– Мировая книжечка.

– Умница, – одобрила его миссис Боулс.

– Спасибо, – произнес голос с соседней кровати, и Скоби нехотя повернул голову, чтобы взглянуть на молодое измученное лицо. – Вы нам завтра опять почитаете?

– Не приставайте к майору Скоби, Элен, – строго сказала миссис Боулс. – Ему надо вернуться в город. Без него там все перережут друг друга.

– Вы служите в полиции?

– Да.

– У меня был знакомый полицейский... у нас в городе... – голос ее замер: она заснула.

С минуту он постоял, глядя на ее лицо. На нем, как на картах гадалки, безошибочно можно было прочесть прошлое: дорога, утрата, болезнь. Если перетасовать карты, может быть, увидишь будущее. Он взял альбом для марок и открыл его на первой странице; там было написано: «Элен с любовью от папы в день четырнадцатилетия». Потом альбом раскрылся на странице с марками Парагвая, они пестрели причудливыми изображениями попугаев – такие марки любят собирать дети.

– Придется раздобыть для нее новые марки, – печально произнес он.

Возле дома его ждал Уилсон.

– Я искал вас с самых похорон, майор Скоби, – сказал он.

– А я занимался богоугодными делами, – объяснил Скоби.

– Как поживает миссис Ролт?

– Есть надежда, что она поправится... и мальчик тоже.

– Ах да, и мальчик... – Уилсон подбросил носком камешек на тропинке. – Мне нужен ваш совет, майор Скоби. Меня немного беспокоит одно дело.

– Какое?

– Знаете, я здесь ревизую вашу лавку. И вот выяснилось, что управляющий скупал военное имущество. В лавке есть консервы, которые никогда не ввозились нашими поставщиками.

– Что ж тут беспокоиться, выгоните его – и все.

– Да ведь обидно выгонять мелкого жулика, когда через него можно добраться до крупного; но это уж, конечно, ваша обязанность. Вот почему я и хотел с вами об этом поговорить. – Уилсон помялся, и лицо его, как всегда, вспыхнуло предательским румянцем. – Видите ли, продолжал он, – наш управляющий купил товар у приказчика Юсефа.

– Ничуть не удивлюсь, если это так.

– Да ну?

– Только ведь приказчик Юсефа совсем не то же, что Юсеф. Юсефу нетрудно поступиться каким-то деревенским приказчиком. Больше того, Юсеф тут, может, а действительно ни при чем. Трудно, конечно, поверить, но и такая возможность не исключена. Вы сами тому подтверждение. В конце концов, вы же только что узнали о проделках вашего управляющего.

– А полиция захочет вмешаться, если налицо будут неопровержимые улики? – спросил Уилсон.

Скоби остановился.

– Что вы хотите этим сказать?

Уилсон покраснел и замялся. Потом он выпалил с неожиданной злобой, просто поразившей Скоби:

– Ходят слухи, что у Юсефа есть сильная рука.

– Вы живете здесь уже не первый день и должны бы знать, чего стоят эти слухи.

– Но их повторяет весь город!

– А распространяет Таллит... а то и сам Юсеф.

– Не поймите меня превратно, – сказал Уилсон. – Вы были ко мне так добры... и миссис Скоби тоже. Мне казалось, вам надо знать, что говорят люди.

– Я здесь уже пятнадцать лет, Уилсон.

– Да, конечно, это дерзко с моей стороны, – сказал Уилсон. – Но людей смущает история с попугаем Таллита. Говорят, попугая ему подсунули – Юсеф хочет выжить его из города.

– Да, я слышал.

– И еще говорят, будто вы с Юсефом ходите друг к другу в гости. Это, конечно, ложь, но...

– Это чистейшая правда. Но я хожу в гости и к санитарному инспектору, и это несколько не помешало бы мне возбудить против него дело... – Скоби вдруг замолчал, а потом добавил: – Я вовсе не намерен перед вами оправдываться, Уилсон.

– Я просто думал, что вам следует об этом знать, – повторил Уилсон.

– Вы слишком молоды для своей работы, Уилсон.

– Какой работы?

– Какой бы то ни было.

Уилсон снова поразил его, выпалив с дрожью в голосе:

– Вы просто невыносимы. Как только земля носит такого праведника?

Лицо Уилсона пылало; казалось, даже колени его покраснели от бешенства, стыда и унижения.

– В этих местах нельзя ходить с непокрытой головой, Уилсон, – только и ответил ему Скоби.

Они стояли лицом к лицу на каменистой тропинке, которая вела к дому окружного комиссара; лучи солнца косо ложились на рисовые поля внизу, и Скоби сознавал, что они сразу бросятся в глаза любому наблюдателю.

– Вы отправили Луизу потому, что испугались меня, – сказал Уилсон.

Скоби тихонько рассмеялся.

– Это солнце, Уилсон, ей-богу же, солнце. Завтра утром мы все забудем.

– Ей опротивела ваша тупость, необразованность... вы даже понятия не имеете, что на душе у такой женщины, как Луиза.

– Наверно, вы правы. Но людям и не нужно, чтобы другие знали, что у них на душе.

– Я ее поцеловал в тот вечер... – сказал Уилсон.

– У нас в колониях это любимый вид спорта.

Скоби не хотелось бесить этого юнца; он старался обратить все в шутку, чтобы завтра оба они могли вести себя как ни в чем не бывало. Парня просто припекло солнцем, повторял он себе: за пятнадцать лет он видел бессчетное количество раз, как это бывает.

– Вы ее не стоите, – сказал Уилсон.

– Мы оба ее не стоим.

– Где вы взяли деньги, чтобы ее отправить? Вот что я хотел бы знать! Вы столько не зарабатываете. Мне это известно. Достаточно посмотреть в платежные списки.

Если бы юнец не вел себя так глупо, Скоби мог бы рассердиться и, пожалуй, они бы еще расстались друзьями. Но спокойствие Скоби только подливало масла в огонь.

– Давайте потолкуем об этом завтра, – сказал он. – Все мы расстроены смертью ребенка. Пойдемте к Перро и выпьем по стаканчику.

Он попытался обойти Уилсона, но тот стоял посреди тропинки, лицо его пылало, на глазах были слезы. Он зашел слишком далеко, надо было идти дальше – путь к отступлению был отрезан.

– Не думайте, что вы от меня спрячетесь; я за вами слежу, – сказал он. – Скоби даже онемел от такой бессмыслицы. – Берегитесь, – продолжал Уилсон, – что касается миссис Ролт...

– При чем тут еще миссис Ролт?

– Не воображайте, пожалуйста, будто я не знаю, почему вы здесь задержались, почему вы торчите в больнице... Пока мы были на похоронах, вы воспользовались случаем и пробрались сюда...

– Вы действительно сошли с ума, Уилсон, – сказал Скоби.

Внезапно Уилсон опустился на землю, словно ему подогнула ноги чья-то невидимая рука. Он закрыл лицо руками и зарыдал.

– Это солнце, – сказал Скоби. – Ей-богу же, это солнце. Вы лучше прилягте. – И, сняв свой шлем, он надел его на голову Уилсону.

Сквозь растопыренные пальцы Уилсон смотрел на Скоби – на человека, который видел его слезы, – и в глазах у него была ненависть.

Сирены выли, требуя полного затемнения, они выли сквозь дождь, лившийся потоками слез; слуги сбились в кучку на кухне и заперли двери, словно хотели спрятаться от лесного дьявола. Сто сорок четыре дюйма ежегодных осадков безостановочно и однообразно низвергались на крыши города. Вряд ли кому-нибудь захочется воевать в такое время года, и уж, во всяком случае, не хмурым малярикам с вишинской территории, – они ведь еще не опомнились от разгрома. Однако нельзя забывать о равнинах Абрагама... Бывают подвиги, которые меняют все наши представления о том, на что человек способен.

Скоби вышел в черную мокреть, вооружившись большим полосатым зонтом: было жарко, не хотелось надевать плащ. Он обошел дом; нигде не пробивалось ни единого луча света, ставни на кухне были закрыты наглухо, дома креолов скрывала пелена дождя. В автопарке через дорогу мелькнул луч карманного фонарика, но Скоби крикнул – и луч погас; это было чистой случайностью, ведь никто не мог расслышать его голос сквозь неумолчный грохот воды по крышам. Наверху, в европейском поселке, офицерский клуб сверкал сквозь ливень всеми огнями фасада, обращенного на океан, однако за тот сектор Скоби уже не отвечал. Фары военных грузовиков бисерной ниткой бежали по склону горы, но это тоже касалось кого-то другого.

Внезапно на горе за автопарком зажегся свет в одном из железных домиков, где жили мелкие чиновники; этот дом пустовал еще накануне: там, как видно, кто-то поселился. Скоби хотел было вынести машину из гаража, но дом находился всего шагах в двухстах, и он пошел пешком. Если бы не стук дождя по крышам, по дороге, по зонтику, царила бы полная тишина; только звенел в ушах еще минуту-другую замирающий вой сирен. Позднее Скоби казалось, что в этот час он испытал высшее счастье – в темноте, один под дождем, не чувствуя ни любви, ни жалости.

Он постучал в дверь как можно громче, чтобы перекрыть гулкие удары дождя по черной крыше железного домика; пришлось постучать дважды, прежде чем ему открыли. На миг его ослепил свет.

– Извините за беспокойство, – сказал он. – У вас не замаскировано окно.

– Ах, простите, – отозвался женский голос. – Какая небрежность...

Глаза его привыкли к свету, но сперва он никак не мог сообразить, кому принадлежат эти необычайно знакомые черты. В колонии он знал всех. Но здесь перед ним был кто-то приезжий издалека... раннее утро... река... умирающий ребенок...

– Боже мой, – сказал он, – да это же миссис Ролт! Я думал, вы еще в больнице.

– Да, это я. А вы кто? Разве я вас знаю?

– Я майор Скоби из полицейского управления. Мы с вами виделись в Пенде.

– Простите, – сказала она. – Я не помню, что там со мной было.

– Разрешите замаскировать окно?

– Конечно. Пожалуйста.

Он вошел в дом, задернул шторы и переставил настольную лампу. Комната была разделена занавеской; на одной половине стояли кровать и что-то вроде туалетного столика, на другой – стол и два стула – незамысловатая мебель, которую выдавали мелким чиновникам с заработком до пятисот фунтов в год.

– Не очень-то роскошно вас устроили, – сказал он. – Жаль, что я не знал. Я бы мог вам помочь.

Теперь он разглядел ее поближе: молодое, измученное лицо, тусклые волосы... На ней была

просторная, не по росту пижама, она падала безобразными складками, в которых тонула ее фигура. Он посмотрел, по-прежнему ли болтается на пальце обручальное кольцо, но оно исчезло совсем.

– Все были ко мне так добры, – сказала она. – Миссис Картер подарила мне очень миленький пуф.

Скоби оглядел комнату: нигде не было ничего своего – ни фотографий, ни книг, ни безделушек; но тут же он вспомнил, что она ничего не спасла от океана, кроме себя самой и альбома с марками.

– Что, ждут налета? – испуганно спросила она.

– Налета?

– Выли сирены.

– Не обращайтесь внимания. Очередная тревога. Они бывают примерно раз в месяц. И никогда ничего не случается. – Он снова кинул на нее внимательный взгляд. – Зря они вас так рано выписали из больницы. Не прошло еще и полутора месяцев...

– Я сама попросилась. Мне хотелось побыть одной. Люди все время приходили туда на меня смотреть.

– Что ж, пожалуй, я пойду. Не забудьте, если вам что-нибудь понадобится; я живу рядом, в конце дороги. Двухэтажный белый дом на болоте, против автопарка.

– Может, вы подождете, пока кончится дождь? – спросила она.

– Не стоит, – сказал он. – Дождь, видите ли, будет идти здесь до сентября. – Ему удалось заставить ее улыбнуться натянутой, бледной улыбкой.

– Какой страшный шум.

– Не пройдет и двух-трех недель, как вы к нему привыкнете. Живут ведь рядом с железной дорогой. Но вам даже привыкать не придется. Скоро вас отправят домой. Пароход будет через две недели.

– Хотите выпить? Миссис Картер подарила мне не только пуф, но и бутылку джина.

– Тогда надо помочь вам ее выпить. – Когда миссис Ролт достала бутылку, он заметил, что она наполовину пуста. – У вас есть лимоны?

– Нет.

– А вам дали слугу?

– Дали, но я не знаю, что с ним делать. Да его никогда и не видно.

– Вы пьете чистый джин?

– Ах нет, я к нему не притронулась. Слуга опрокинул бутылку – так по крайней мере объяснил.

– Я утром с ним поговорю, – сказал Скоби. – У вас есть ледник?

– Да, но слуга не может достать лед. – Она бессильно опустилась на стул. – Не подумайте, что я такая дура. Просто я еще не знаю, на каком я свете. Все мне здесь чужое.

– А вы откуда?

– Из Бэри-Сент-Эдмундса. Это в Суффолке. Я была там всего каких-нибудь два месяца назад.

– Ну нет. Два месяца назад вы уже были в шлюпке.

– Да. Совсем забыла.

– Зря они вас выпустили из больницы, ведь вы же совсем одна.

– Я уже поправилась. Им нужна была койка. Миссис Картер приглашала меня погостить у нее, но мне захотелось побыть одной. А доктор сказал, чтобы мне во всем потакали.

– Я понимаю, почему вам не хотелось жить у миссис Картер, – сказал Скоби. – Вы только скажите – я тоже уйду.

– Лучше подождите отбоя. Понимаете, у меня немножко расходились нервы.

Скоби всегда удивляла женская выносливость. Эта женщина провела сорок дней в шлюпке, в открытом океане, и жалуется, что у нее немножко расходились нервы! Он вспомнил о погибших, о которых докладывал главный механик: третий помощник и двое матросов умерли от истощения, кочегар напился морской воды, сошел с ума и утонул. Мужчина не выдерживает тягот. А эта женщина лишь теперь дала волю своей слабости.

– Вы уже решили, как жить дальше? – спросил Скоби. – Вернетесь в Бэри?

– Не знаю. Может быть, поступлю здесь на работу.

– А вы когда-нибудь работали?

– Нет, – призналась она, не глядя на него. – Видите ли, я всего год, как кончила школу.

– А вас там хоть чему-нибудь научили?

Ему казалось, что больше всего ей поможет сейчас болтовня – пустая, бесцельная болтовня. Она думает, что ей хочется одиночества, но на самом деле ее тяготит бремя чужой жалости. Разве может такой ребенок играть роль женщины, чей муж утонул чуть ли не у нее на глазах? С таким же успехом ей пристало играть роль леди Макбет. Миссис Картер, конечно, трудно сочувствовать ее беспомощности. Уж эта-то знает, как себя держать, не зря ведь она похоронила мужа и троих детей.

– Лучше всего – играть в баскетбол, – отозвалась миссис Ролт, нарушив течение его мыслей.

– Для учительницы гимнастики у вас сложение неподходящее, – заметил он. – А может, и было подходящее, пока вы не попали в эту передрагу?

И вдруг она заговорила, будто он произнес заветное слово, отомкнувшее какую-то дверь, – он уж и сам забыл, что это было за слово, может быть, «учительница гимнастики», – она сразу затараторила о баскетболе (миссис Картер, подумал Скоби, верно, только и твердила ей, что о сорока днях в шлюпке да о трехнедельном супружестве).

– Я два года играла в школьной команде, – рассказывала она, подавшись от увлечения вперед, опустив подбородок на руку и опершись костлявым локтем на костлявое колено. Своей белой кожей, еще не пожелтевшей от акрихина и от солнца, она напоминала кость, которую отмыло и выбросило море. – А раньше целый год играла запасной. Если бы я осталась еще на год, я была бы уже капитаном. В сороковом году мы побили Родин и сыграли вничью с Челтенхэмом.

Он слушал с напряженным интересом, какой обычно вызывает в нас чужая жизнь, с тем интересом, который молодые ошибочно принимают за любовь. Сидя с рюмкой джина в руке и слушая Элен под шум дождя, он чувствовал ту неуязвимость, которую дают человеку годы. Она рассказывала, что ее школа стоит на холме, сразу за Сипортом; у них была француженка, мадемуазель Дюпон – ну просто ведьма! Директриса читала по-гречески совсем как по-английски, например Вергилия...

– Я всегда думал, что Вергилий – это латынь.

– Ах, да. Я хотела сказать – Гомера. Вообще я была не очень-то сильна в древних языках.

– А в чем вы были сильны?

– Я была, по-моему, второй ученицей по математике, но тригонометрия всегда у меня хромала.

Летом они ходили в Сипорт купаться, каждую субботу устраивали пикник где-нибудь на холмах, иногда ездили верхом на пони, а однажды затеяли велосипедные гонки через все графство – они чуть не кончились бедой: две девочки вернулись около часа ночи. Он слушал как замороженный, вертя в руках рюмку и забыв, что ее надо выпить. Сирены провыли отбой, перекрывая шум дождя, во ни он, ни она не обратили на это внимания.

– А на каникулы вы ездили домой? – спросил он.

Выяснилось, что мать ее умерла десять лет назад, а отец был священником при соборе в Бэри. Они жили в маленьком домишке на Энджел-хилл. Видно, в Бэри ей нравилось меньше, чем в школе; она снова стала о ней рассказывать, вспомнив учительницу гимнастики, которую звали, как и ее, Элен: весь класс был без ума от учительницы, это было всеобщее Schwarmerei. Теперь она свысока посмеивалась над прежней страстью – только этим и показывая ему, что она стала взрослой, стала замужней женщиной, или, точнее, побывала ею.

Внезапно она замолчала.

– Как глупо, что я вам все это рассказываю, – сказала она.

– Мне очень интересно.

– Вы ни разу не спросили меня о... вы сами знаете...

Он знал – ведь он читал донесение. Он точно знал, сколько воды получал каждый человек в шлюпке – по кружке два раза в день, а через три недели – по полкружки. Такую порцию выдавали почти до самого их спасения – главным образом потому, что удавалось сэкономить на умерших. За школьными корпусами Сипорта, за баскетбольной сеткой ему мерещилась мертвая зыбь, поднимающая и опускающая шлюпку, снова поднимающая ее и снова опускающая.

– Я чувствовала себя такой несчастной, когда кончила школу; это было в конце июля. Я проплакала в такси всю дорогу до вокзала.

Скоби подсчитал: с июля до апреля девять месяцев, за это время созревает плод в утробе матери, а какой же плод созрел тут? Смерть мужа, волны Атлантики, катившие обломки кораблекрушения к длинному низкому берегу Африки, да еще матрос, прыгнувший за борт...

– То, о чем вы рассказываете, интереснее, – сказал он. – Об остальном я могу догадаться сам.

– Ну и наговорилась же я! А знаете, я сегодня, пожалуй, усну.

– Вы плохо спите?

– В больнице всю ночь слышишь чужое дыхание. Люди вертятся, дышат, бормочут во сне. Когда гасили свет, это было совсем как... ну, вы знаете...

– Здесь вы будете спать спокойно. Вам нечего бояться. Тут есть ночной сторож. Я с ним поговорю.

– Вы такой добрый, – сказала она. – Миссис Картер и все там... они тоже очень добрые. – Она подняла к нему истощенное, доверчивое детское лицо. – Вы мне очень нравитесь.

– Вы мне тоже очень нравитесь, – серьезно сказал он.

Оба чувствовали себя в полнейшей безопасности; они просто друзья и никогда не станут ничем другим: их разделяет надежная преграда – мертвый муж, живая жена, отец священник, учительница гимнастики по имени Элен и большой-большой жизненный опыт. Они могут говорить друг другу все, что им заблагорассудится.

– Спокойной ночи. Завтра я принесу вам марки для вашего альбома.

– Откуда вы знаете, что у меня есть альбом?

– Это моя обязанность. Я ведь полицейский.

– Спокойной ночи.

Он ушел, чувствуя себя необыкновенно счастливым, но потом, вспоминая тот день, счастьем ему казалось не это; счастьем ему казалось, как он вышел из дому в ночь, в дождь, в одиночество.

С половины девятого до одиннадцати утра он разбирал дело о мелкой краже; нужно было допросить шесть свидетелей, а он не верил ни единому их слову. В Европе есть слова, которым веришь, и слова, которым не веришь, там ты можешь провести приблизительную черту между правдой и ложью; там хоть как-то можно руководствоваться принципом *cuī bono*, и, если возникает обвинение в краже, а потерпевшего не подозревают в том, что он сам подстроил эту кражу и просто хочет получить страховую премию, ты твердо знаешь хотя бы одно – что-то действительно украдено. Но здесь нельзя быть уверенным даже в этом, нельзя провести границу между правдой и ложью. Скоби знавал полицейских чиновников, чьи нервы не выдерживали, когда они пытались обнаружить хоть крупницу истины: они набрасывались с кулаками на свидетеля; их клеймили местные газеты, а потом отсылали под предлогом, что они больны, в Англию или переводили в другую колонию. Были и такие, у кого просыпалась лютая ненависть к людям с черной кожей, но за пятнадцать лет Скоби уже давно преодолел в себе это опасное состояние. Теперь, увязая в сетях лжи, он чувствовал горячую любовь к этим людям, которые побеждали чуждый им закон таким незамысловатым способом.

Наконец его кабинет опустел; список происшествий был исчерпан; вынув блокнот и подложив под запястье промокашку, чтобы пот не стекал на бумагу, он собрался написать Луизе. Писать письма ему всегда было трудно. Вероятно, в силу служебной привычки он просто не мог поставить свою подпись даже под самой невинной ложью. Ему приходилось быть точным; боясь причинять огорчение, он мог только умолчать. Вот и теперь, написав «Дорогая», он приготовился умалчивать. Он не может написать, что тоскует по ней, но не напишет ничего такого, откуда Луиза поймет, что он доволен жизнью.

"Дорогая! Прости меня за еще одно короткое письмо. Ты знаешь, я не большой мастер писать письма.

Вчера я получил твое третье письмо, то самое, где ты сообщаешь, что погостишь недельку у приятельницы миссис Галифакс в окрестностях Дурбана. У нас все по-старому. Сегодня ночью была тревога, но потом выяснилось, что американский летчик принял за подводные лодки стаю дельфинов. Дожди, разумеется, уже начались. Миссис Ролт, о которой я говорил в предыдущем письме, выписалась из больницы; в ожидании парохода ее поселили в одном из домиков за автопарком. Я сделаю все возможное, чтобы помочь ей устроиться поудобнее. Мальчик еще в больнице, но поправляется. Вот, пожалуй, и все наши новости. Дело Таллита еще тянется, – не думаю, чтобы оно окончилось чем-нибудь путным. Али надо было вчера вырвать несколько зубов. Ну и волновался же он! Мне пришлось отвезти его в больницу на машине, не то он так и не пошел бы".

Скоби остановился: ему было неприятно, что нежные слова в конце письма прочтут цензоры, – а ими были миссис Картер и Коллоуэй. «Береги себя, дорогая, и не беспокойся обо мне. Мне хорошо, когда я знаю, что хорошо тебе. Через девять месяцев я смогу взять отпуск, и мы опять будем вместе». Он хотел было добавить: «Я не забываю о тебе ни на минуту», но под этим он не смог бы подписаться. Тогда он написал: «Я очень часто вспоминаю о тебе, каждый день», а потом задумался. Нехотя, но пытаясь доставить ей удовольствие, он подмахнул письмо: «Твой Тикки». Тикки... На мгновение он вспомнил другое письмо, за подписью «Дикки», которое два или три раза ему снилось.

Вошел сержант, промаршировал до середины комнаты, лихо сделал поворот и взял под козырек. Пока это продолжалось, Скоби успел написать адрес.

- Слушаю вас, сержант...
- Начальник полиции, он просит вас зайти.
- Хорошо.

Начальник полиции был не один. В полутемной комнате сияло кротостью мокрое от пота лицо начальника административного департамента, а рядом с ним сидел высокий костлявый человек, которого Скоби никогда раньше не видел; вероятно, он прилетел на самолете, так как парашютов вот уже полторы недели не было. Нашивки полковника на его мешковатом, плохо пригнанном мундире выглядели так, будто он нацепил их по ошибке.

– Вот майор Скоби. – Скоби сразу заметил, что начальник полиции взволнован и раздражен. – Садитесь, Скоби. Это по делу Таллита. – Пелена дождя скрадывала свет и преграждала доступ свежему воздуху. – Полковник Райт прилетел из Кейптауна, чтобы ознакомиться с этим делом.

– Из Кейптауна, сэр?

Начальник полиции вытянул поудобнее ноги и стал играть перочинным ножиком.

– Полковник Райт – представитель MI-5.

Начальник административного департамента сказал так тихо, что всем пришлось подставить поближе ухо, чтобы его расслышать:

– Весьма неприятная история. – Начальник полиции стал обстругивать ножиком угол стола, всем своим видом показывая, что не желает слушать. – Мне кажется, полиции не следовало действовать... так, как она действовала... не согласовав этого вопроса.

– Я всегда полагал, – сказал Скоби, – что борьба с контрабандой алмазами входит в круг наших прямых обязанностей.

– Алмазов нашли всего на какую-нибудь сотню фунтов, – произнес начальник административного департамента своим тихим, невнятным голосом.

– Это единственный раз, когда мы вообще обнаружили алмазы.

– Улики против Таллита были не такие уж веские, чтобы его задерживать.

– Его не задерживали. Его только допросили.

– Адвокаты Таллита утверждают, будто он был доставлен в полицейское управление под конвоем.

– Его адвокаты лгут. Надеюсь, это вы понимаете.

Начальник административного департамента обратился к полковнику Райту:

– Видите, какие у нас трудности! Сирийцы-католики утверждают, что они – угнетенное меньшинство, а полиция-де состоит на содержании у сирийцев-мусульман.

– Если бы дело происходило наоборот, было бы только хуже, – заметил Скоби. – Английский парламент питает больше симпатий к мусульманам, чем к католикам.

У него было ощущение, что никто еще не заикнулся о подлинной цели этого совещания. Начальник полиции все строгал и строгал, откровенно показывая, что умывает руки, а полковник Райт откинулся на спинку кресла и не открывал рта.

– Лично я всегда... – тихий голос начальника административного департамента перешел в неясный шепот.

Заткнув пальцем одно ухо и наклонив голову набок, полковник Райт вслушивался, словно никак не мог разобрать, что ему говорят по испорченному телефону.

– Не слышу, что вы говорите, – сказал Скоби.

– Я сказал, что лично я всегда поверю скорее Таллиту, чем Юсефу.

– Это потому, что вы живете в этой колонии всего пять лет.

– А сколько лет живете здесь вы, майор Скоби? – вмешался вдруг полковник Райт.

– Пятнадцать.

Полковник Райт неопределенно хмыкнул.

Начальник полиции вдруг перестал строгать угол стала и злобно вонзил нож в доску.

– Полковник Райт хочет знать, что сообщили вам о Таллите, Скоби, – сказал он.

– Вы это знаете, сэр. Юсеф.

Райт и начальник административного департамента сидели рядом, не спуская глаз со Скоби; он наклонил голову, ожидая, что будет дальше. Но они молчали; Скоби знал, что после такого смелого ответа они ждут от него объяснений, но он знал также и то, что любое его объяснение сочтут признанием собственной слабости. Молчание становилось все более и более тягостным: Скоби казалось, что его словно в чем-то обвиняют. Несколько недель назад он сказал Юсефу, что собирается доложить начальнику полиции о взятых в долг деньгах; может быть, у него и в самом деле было такое намерение, а может быть, он брал Юсефа на пушку – сейчас он уже не помнил. Он только понимал, что теперь уже слишком поздно. Рассказывать надо было до дела с Таллитом, а никак не после. По коридору прошел, насвистывая свою любимую песенку, Фрезер; он открыл дверь кабинета, сказал: «Простите, сэр» – и ретировался, оставив после себя запашок обезьяньего питомника. Дождь все шумел и шумел. Начальник полиции выдернул ножик из доски стола и снова принялся обстругивать угол, точно еще раз давал понять, что все это его не касается. Начальник административного департамента кашлянул.

– Юсеф... – повторил он.

Скоби кивнул.

– Вы считаете, что Юсеф заслуживает доверия? – спросил полковник Райт.

– Разумеется, нет, сэр. Но приходится пользоваться теми сведениями, какие получаешь, а эти все же подтвердились.

– В чем именно?

– Алмазы были найдены.

– Вы часто получаете сведения от Юсефа? – спросил начальник административного департамента.

– Нет, раньше этого не случалось.

Начальник административного департамента снова что-то сказал, но Скоби расслышал только одно слово: «Юсеф».

– Я вас не слышу, сэр.

– Я спросил: вы как-нибудь связаны с Юсефом?

– Не понимаю, что вы хотите сказать.

– Вы часто с ним встречаетесь?

– За последние три месяца я виделся с ним три... нет, четыре раза.

– По делу?

– Не только по делу. Раз я подвез его домой, когда у него сломалась машина. Раз он зашел ко мне, когда я лежал в лихорадке в Бамбе. Раз...

– Мы вас не допрашиваем. Скоби, – сказал начальник полиции.

– Мне показалось, сэр, что эти господа меня допрашивают.

Полковник Райт расправил длинные ноги и сказал:

– Давайте сведем все к одному вопросу. Таллит выдвинул контробвинения против полиции, против вас лично, майор Скоби. Он утверждает, что Юсеф вам заплатил. Он заплатил вам?

– Нет, сэр, Юсеф мне ничего не платил. – Скоби почувствовал странное облегчение оттого, что пока ему не приходится лгать.

– Вам, конечно, было по средствам отправить жену в Южную Африку... – сказал начальник административного департамента.

Скоби молча откинулся на стуле. Он снова ощущал напряженное молчание, жадно впитывающее каждое его слово.

– Вы не отвечаете? – нетерпеливо спросил начальник административного департамента.

– Я не понял, что это вопрос. Повторяю, Юсеф мне не платил.

– Его надо остерегаться. Скоби.

– Может быть, когда вы поживете здесь столько, сколько я, вы поймете, что полиции поневоле приходится иметь дело с людьми, которых у вас в департаменте и на порог не пустят.

– Не стоит горячиться, ладно?

Скоби поднялся.

– Разрешите идти, сэр? Если у этих господ нет ко мне больше вопросов... У меня деловое свидание.

Пот выступил у него на лбу, сердце колотилось от бешенства. В такую минуту, когда кровь стучит в висках и перед глазами стелется красная пелена, всегда надо помнить об осторожности.

– Вы свободны. Скоби, – сказал начальник полиции.

– Простите за беспокойство, – вмешался полковник Райт. – Ко мне поступило донесение. Мне пришлось его проверить. Я вполне удовлетворен.

– Спасибо, сэр.

Но эти заверения запоздали: перед глазами Скоби маячило мокрое лицо начальника административного департамента.

– Элементарная мера предосторожности, вот и все, – сказал тот.

– Если я вам понадоблюсь в ближайшие полчаса, – обратился Скоби к начальнику полиции, – я буду у Юсефа.

В конце концов, они все-таки заставили солгать: у него не было свидания с Юсефом. Но ему действительно хотелось с ним потолковать: кто знает, может, все-таки удастся выяснить историю с Таллитом, если не для суда, то хотя бы для собственного удовольствия. Он медленно ехал под дождем – дворник на ветровом стекле машины уже давно не работал – и по дороге встретил Гарриса, боровшегося со своим зонтиком на пороге гостиницы «Бедфорд».

– Давайте я вас подвезу. Нам по пути.

– У меня сногшибательные новости, – сказал Гаррис. Лицо его с впалыми щеками блестело от дождя и от восторга. – Наконец мне дали дом!

– Поздравляю.

– Вернее, не настоящий дом, а один из тех железных домиков, рядом с вами. Но все-таки свой угол. Мне придется поселиться еще с кем-нибудь, но все-таки свой угол.

– Кто будет жить с вами?

– Хочу предложить Уилсону, но он смылся – уехал на неделю-другую в Лагос. Непоседа проклятый! Как раз когда он мне нужен. С ним же связана и другая поразительная новость! Знаете, что я обнаружил? Мы оба с ним были в Даунхеме.

– В Даунхеме?

– Ну да, в Даунхемской школе. Я зашел к нему за чернилами и на столе в его комнате увидел номер «Старого даунхемца».

– Какое совпадение!

– Знаете, это и в самом деле день потрясающих событий! Перелистываю журнал и вдруг на последней странице читаю: «Секретарь Общества старых даунхемцев хочет связаться с однокашниками, которых мы потеряли из виду»; в самой середине списка черным по белому напечатана моя фамилия... Здорово, а?

– Ну и что вы сделали?

– Как только я пришел на службу, я тут же сел и ему написал, – прежде чем дотронулся до телеграмм, кроме, конечно, «весьма срочных»; но потом оказалось, что я забыл записать адрес секретаря общества, и вот мне пришлось вернуться за журналом домой. Может, зайдете взглянуть на мое письмо?

– Только ненадолго.

Гаррису отвели пустовавшую комнатку в доме компании «Элдер Демпстер». Она была не больше каморки для прислуги в старых квартирах; сходство с людской усугублялось тем, что здесь висел старинный умывальник, и стояла газовая плитка. Заваленный телеграфными бланками стол втиснулся между умывальником и окном, похожим на иллюминатор и выходящим прямо на пристань и на серую, подернутую рябью бухту. В корзине для корреспонденции лежало школьное издание «Айвенго» и половина булки.

– Извините за беспорядок. Берите стул, – сказал Гаррис. Но свободного стула не оказалось. – Куда же я это засунул? – вслух удивлялся Гаррис, роясь в телеграфных бланках на столе. – Ага, вспомнил! – Он открыл томик «Айвенго» и вынул из него сложенный листок. – Конечно, это еще только черновик, – сказал он смущенно. – Пожалуй, лучше будет подождать приезда Уилсона. Я тут, видите ли, упоминаю и о нем.

Скоби прочитал:

«Уважаемый господин секретарь! Случайно мне попался экземпляр „Старого даунхемца“, который лежал в комнате другого бывшего даунхемца, Э.Уилсона (выпуск 1928 года). Вот уже много лет, как я потерял связь с нашей старой школой, и очень обрадовался и в то же время почувствовал себя чуть-чуть неловко, что вы меня разыскиваете. Может быть, вам хочется узнать, что я поделяю здесь, в „могиле белого человека“, но, поскольку я служу цензором на телеграфе, вы сами поймете, что я не могу слишком распространяться о моей работе. Придется с этим подождать, пока мы выиграем войну. Сейчас у нас в самом разгаре дожди – и какие дожди! Кругом свирепствует малярия, но у меня был всего один приступ, а Э.Уилсон пока ей не поддается вовсе. Мы устроились вместе в небольшом домике, так что, как видите, старые даунхемцы держатся друг за дружку даже в таких дальних и диких местах. Мы организовали охотничью команду старых даунхемцев в составе двух человек, но охотимся только на тараканов (ха-ха!). Ну, пора кончать и трудиться для победы. Привет всем старым даунхемцам от старого африканского волка!»

Подняв глаза, Скоби поймал встревоженный и застенчивый взгляд Гарриса.

– Ну, как по-вашему получилось? – спросил он. – Я немного сомневался насчет «уважаемого господина секретаря».

– Мне кажется, вы нашли нужный тон.

– Знаете, школа была не очень хорошая и жилось мне там неважно. Раз я даже убежал.

– А теперь они вас поймали.

– Наводит на размышления, а? – сказал Гаррис. Он уставился на серую воду за окном, и слезы показались в его озабоченных воспаленных глазах. – Как я завидовал ребятам, которым

там было хорошо!

– Я тоже не очень любил школу, – попробовал утешить его Скоби.

– Если начинаешь жизнь счастливчиком... – сказал Гаррис, – все у тебя и потом идет как по маслу. Пожалуй, даже в привычку войдет, а? – Он взял хлеб со стола и бросил его в корзину для бумаг. – Я давно собираюсь здесь прибраться.

– Ну, мне пора, Гаррис. Я рад, что у вас теперь есть свой угол... и «Старый даунхемец».

– Интересно, как там жилось Уилсону, – размышлял Гаррис. Он взял «Айвенго» и поглядел вокруг, куда бы его девать, но поставить книгу было некуда. Он снова положил томик на прежнее место. – Вряд ли очень сладко, – продолжал он, – иначе как бы он попал сюда?

Скоби оставил машину у самых дверей Юсефа: это было похоже на вызов, брошенный в лицо начальнику административного департамента. Слуге он сказал:

– Мне нужен хозяин. Я знаю, как пройти.

– Хозяина нет.

– Тогда я подожду.

Он отстранил слугу и вошел. Перед ним тянулась вереница комнатушек, обставленных совершенно одинаково: диванами, заваленными подушками, и низенькими столиками для напитков – совсем как в публичном доме. Откидывая одну занавеску за другой. Скоби заглянул во все помещения, пока не добрался до маленькой комнатки, где почти два месяца назад потерял свою неподкупность. На диване спал Юсеф.

Он лежал на спине в белых парусиновых брюках, раскрыв рот и похрапывая. На столике у изголовья стоял стакан, и Скоби заметил на дне его белый осадок. Юсеф принял снотворное, Скоби сел рядом и стал ждать. Окно было открыто, но дождь, как плотная занавеска, не пропускал свежего воздуха. Настроение у Скоби было подавленное, может быть, от духоты, а может, ему тяжело было вернуться на место своего грехопадения. Напрасно уговаривать себя, что он не совершил ничего дурного. Как женщина, вышедшая замуж без любви, он остро ощущал в этой комнате, безликой, как номер гостиницы, запах измены.

Прямо под окном сломался желоб, и вода хлестала оттуда, точно из крана; одновременно было слышно, как дождь журчит и как он льется потоком. Скоби закурил и стал разглядывать Юсефа. Он не чувствовал ненависти к этому человеку. Он поймал Юсефа в ловушку так же обдуманно и так же ловко, как Юсеф поймал его. Брачный союз был заключен с согласия обеих сторон. Пристальный взгляд Скоби, видимо, пробился сквозь туман снотворного; жирные ягодицы Юсефа заерзали на диване, он застонал, пробормотал во сне: «Голубчик мой!» – и повернулся на бок, лицом к Скоби. Скоби снова оглядел комнату, хотя он ее уже рассмотрел в тот раз, когда приходил договариваться о займе; а здесь с тех пор ничего не изменилось: все те же безобразные лиловые шелковые подушки – шелк на них истлел от сырости, – ярко-оранжевые занавески и даже синий сифон на прежнем месте; все это казалось вечным и неизменным, как наше представление о том, что такое ад. Здесь не было ни книжных полок – Юсеф не умел читать, ни письменного стола – он не умел писать. Нечего было искать здесь бумаг – Юсеф не знал бы, что с ними делать. Все, что ему было нужно, хранилось в этой большой скульптурной голове.

– Вот тебе раз!... Майор Скоби!...

Глаза открылись, но затуманенные снотворным, никак не могли ни на чем остановиться.

– Здравствуйте, Юсеф.

На этот раз Скоби застал его врасплох; сначала казалось, что Юсеф снова погрузился в наркотический сон, но потом он с усилием приподнялся на локте.

– Я пришел поговорить о Таллите.

– О Таллите... Простите, майор Скоби.

– И об алмазах.

– Просто помешались все на этих алмазах... – с трудом пробормотал, снова засыпая, Юсеф.

Он потряс головой, так что седая прядь закачалась из стороны в сторону, затем ошупью потянулся за сифоном.

– Это вы подстроили дело против Таллита?

Юсеф потащил сифон через стол, опрокинув стакан со снотворным, повернул сифон к себе и нажал на рычажок; содовая брызнула ему в лицо и разлилась по лиловому шелку подушки. Он застонал от удовольствия, как человек, принимающий душ в жаркий день.

– Что случилось, майор Скоби? Что-нибудь неладно?

– Таллита не будут судить.

Юсеф похож был на усталого пловца; он старается выбраться на берег, а волны гонятся за ним по пятам.

– Простите меня, майор Скоби, – сказал он. – Я так плохо сплю последнее время. – Он в раздумье помотал головой вверх и вниз, как трясут копилку, прислушиваясь, не звякнет ли что-нибудь внутри. – Вы как будто упомянули о Таллите, майор Скоби? – Он снова пустился в объяснения. – Переучет товаров. Сколько цифр. Три-четыре лавки. Меня так и норвят обмануть, потому что я все держу в голове.

– Таллита не отдадут под суд, – повторил Скоби.

– Ничего. Когда-нибудь он сломает себе шею.

– Это были ваши алмазы, Юсеф?

– Мои?! Вас научили не доверять мне, майор Скоби.

– Вы подкупили его младшего слугу?

Тыльной стороной руки Юсеф вытер мокрое лицо.

– Конечно, майор Скоби. От него я получил сведения.

Миг слабости прошел: снотворное больше не туманило его большую голову, хотя грузное тело все еще было распластано на диване.

– Я вам не враг, Юсеф. Я питаю к вам даже симпатию.

– Когда вы так говорите, майор Скоби, у меня сердце дрожит от радости. – Он шире раскрыл ворот рубахи, словно для того, чтобы показать, как оно дрожит, и струйки содовой побежали по черной поросли у него на груди. – Я слишком толстый, – сказал он.

– Мне хочется вам верить, Юсеф. Скажите мне правду. Чьи это были алмазы – ваши или Таллита?

– Я всегда хочу говорить вам только правду, майор Скоби. Я никогда не утверждал, что это алмазы Таллита.

– Они ваши?

– Да, майор Скоби.

– Здорово вы меня одурачили, Юсеф! Будь у меня свидетели, я бы вас непременно посадил.

– Я вовсе не хотел вас дурачить, майор Скоби. Я только хотел, чтобы выслали Таллита. Всем было бы лучше, если бы его выслали. Нехорошо, что сирийцы разбились на две партии. Если бы они держались вместе, вы бы могли прийти ко мне и сказать: «Юсеф, правительство хочет, чтобы сирийцы сделали то-то и то-то», – и я бы мог ответить: «Будет сделано».

– А контрабанда алмазами попала бы в одни руки.

– Ах, алмазы, алмазы, алмазы, – устало посетовал Юсеф. – Поверьте, майор Скоби, я получаю за год от самой маленькой из моих лавок больше, чем получил бы в три года от алмазов. Вы даже представить себе не можете, сколько тут надо дать взятки.

– Ну что ж, Юсеф, я больше не стану пользоваться вашей информацией. На этом нашим добрым отношениям конец. Разумеется, каждый месяц я буду выплачивать вам проценты.

Его слова казались ему самому неубедительными. Оранжевые занавески висели неподвижно. Некоторые вещи мы при всем желании не можем вычеркнуть из памяти: занавески и подушки этой комнаты были для него неразрывно связаны со спальней во втором этаже, с залитым чернилами письменным столом, с убраным кружевами алтарем в Илинге – все это для него будет жить, пока теплится сознание.

Юсеф опустил ноги на пол и сел.

– Вы слишком близко принимаете к сердцу мою маленькую проделку, майор Скоби, – сказал он.

– Прощайте, Юсеф, вы совсем не плохой парень, но прощайте.

– Ошибаетесь, майор Скоби, я плохой парень. – Он говорил очень серьезно. – Моя симпатия к вам – вот единственное, что есть светлого в моем черном сердце. Я не могу от нее отказаться. Мы должны остаться друзьями.

– Боюсь, что не выйдет, Юсеф.

– Послушайте, майор Скоби. Я прошу вас только об одном: время от времени – может быть, ночью, когда никто не видит, – приходите поговорить со мной. Вот и все. Просто поговорить. Я больше не буду клепать на Таллита. Я вообще буду молчать. Мы просто будем сидеть здесь за бутылкой виски и сифоном с содовой...

– Я не такой уж дурак, Юсеф. Я знаю, как вам выгодно, чтобы люди думали, будто мы с вами друзья. Такой помощи вы от меня не ждете.

Юсеф сунул палец в ухо и прочистил его от попавшей туда содовой. Он бросил мрачный и наглый взгляд на Скоби. Вот так, подумал тот, он смотрит на приказчика, который пробует его надуть, пользуясь тем, что все цифры хранятся только у него в голове.

– А вы рассказали начальнику полиции о нашей маленькой сделке, майор Скоби, или вы меня обманывали?

– Пойдите спросите у него сами.

– Пожалуй, я так и сделаю. Сердце мое полно обиды и горечи. Оно велит мне пойти к начальнику полиции и все ему рассказать.

– Всегда слушайтесь голоса сердца, Юсеф.

– Я скажу ему, что вы взяли деньги и что мы вместе задумали посадить Таллита за решетку. Но вы не выполнили обещания, и я пришел к нему, чтобы вам отомстить. Отомстить, – угрюмо повторил Юсеф, уронив свою скульптурную голову на жирную грудь.

– Валийте. Поступайте как знаете, Юсеф. Между нами все кончено.

Скоби старательно играл свою роль, но вся сцена казалась ему неправдоподобной: она походила на размолвку влюбленных. Он не верил в угрозы Юсефа, как не верил и в собственную невозмутимость; он даже не верил в это прощание. То, что случилось в оранжево-лиловой комнате, было слишком важным, чтобы бесследно кануть в безбрежный океан прошлого. И он не удивился, когда Юсеф, подняв голову, сказал:

– Понятно, я никуда не пойду. Когда-нибудь вы вернетесь и опять предложите мне свою дружбу. А я встречу вас с превеликой радостью.

«Неужели я в самом деле попаду в такое отчаянное положение?» – подумал Скоби, словно в словах сирийца звучало пророчество.

По дороге домой Скоби остановил машину у католической церкви и вошел. Была первая суббота месяца – в этот день он всегда ходил к исповеди. Возле исповедальни стояла очередь – несколько старух, низко повязанных платками, как прислуги во время уборки, сестра милосердия и солдат с артиллерийскими нашивками, а изнутри доносилось монотонное бормотанье отца Ранка.

Подняв глаза к распятию. Скоби прочитал «Отче наш», «Богородицу», покаянную молитву. Томительный ритуал нагонял на него тоску. Он чувствовал себя случайным зрителем – одним из тех в толпе вокруг креста, на чьем лице взгляд Распятого, искавший либо друга, либо врага, наверно, даже не остановился бы. А иногда ему казалось, что его профессия и мундир неумолимо ставят его в один ряд с безыменными римскими стражниками, которые блюли порядок на городских улицах во время крестного пути на Голгофу. Одна за другой в исповедальню входили старые негритянки, а Скоби рассеянно и бессвязно молился за Луизу – молился, чтобы она была счастлива ныне и вовеки, чтобы он вольно или невольно не причинил ей зла. Из исповедальни вышел солдат, и Скоби, поднявшись с колен, занял его место.

– Во имя отца и сына и святого духа, – начал он. – Со времени моей последней исповеди месяц назад я пропустил воскресную обедню и одну праздничную службу.

– Вам что-нибудь помешало?

– Да, но при желании я мог бы лучше распределить свое время.

– Дальше.

– Весь этот месяц я работал спустя рукава. Я был излишне резок с одним из моих подчиненных... – Он долго молчал.

– Это все?

– Не знаю, как это выразить, отец мой, но у меня такое чувство, словно я... устал от моей веры. Она для меня как будто уже ничего не значит. Я старался возлюбить бога всем сердцем моим, но... – он сделал жест, которого священник не видел, потому что сидел боком к решетке. – Я даже вообще не убежден, что я верую.

– Подобные мысли легко растрavляют душу, – сказал священник. – Особенно в наших краях. Будь это в моей власти, я бы на многих наложил одну и ту же епитимью: шестимесячный отпуск. Здешний климат кого угодно доконает. Легко принять обыкновенную усталость за... скажем, неверие.

– Я не хочу вас задерживать, отец мой. Вас ждут. Я знаю, все это пустые выдумки. Но я чувствую себя... опустошенным. Да, опустошенным.

– В такие минуты мы порой ближе всего к богу, – сказал священник. – А теперь ступайте и прочитайте десять молитв по четкам.

– У меня нет четок. По крайней мере...

– Ну, тогда пять раз «Отче наш» и пять раз «Богородицу». – Отец Ранк стал произносить слова отпущения грехов. Беда в том, подумал Скоби, что нечего отпустить. Слова священника не приносили облегчения – какую тяжесть они могли с него снять? Они были пустой формулой: набор латинских слов, волшебное заклинание. Скоби вышел из исповедальни и снова опустился на колени – это тоже был пустой ритуал. Ему вдруг показалось, что бог слишком доступен, к нему слишком легко прибегнуть. Любой его последователь мог обратиться к нему в любую минуту, как к уличному проповеднику. Посмотрев на распятие, Скоби подумал: он даже страдает публично.

– Я принес вам марки, – сказал Скоби. – Выпрашивал их всю неделю у всех подряд. Даже миссис Картер подарила великолепного попугая, откуда-то из Южной Америки, вот посмотрите. А тут целая серия либерийских марок с надпечаткой американских оккупационных войск. Мне их дал морской летчик-наблюдатель.

Оба чувствовали себя совершенно свободно и отсюда делали вывод, что они друг от друга в полной безопасности.

– А почему вы собираете марки? – спросил он. – Странное занятие, когда тебе уже больше шестнадцати.

– Не знаю, – сказала Элен Ролт. – Я их в общем и не собираю. Я просто вожу их с собой. Наверно, привычка. – Раскрыв альбом, она добавила: – Нет, это не только привычка. Я люблю эти картинки. Видите зеленую марку в полпенса с Георгом Пятым? С нее я начала свою коллекцию. Мне было восемь лет. Я ее отпарила с конверта и наклеила в тетрадку. Тогда отец мне подарил альбом. Мама умерла, вот он и подарил мне альбом для марок. – Она попыталась объяснить точнее: – Они вроде фотографий. Их так удобно возить с собой. Если собираешь фарфор, его с собой не повезешь. Или книги. И тебе никогда не приходится вырывать листы из альбома для марок, как потом иногда выдираешь чьи-нибудь фотографии.

– Вы ни разу не рассказали мне о своем муже, – заметил Скоби.

– Нет, не рассказывала.

– Стоит ли выдирать фотографию: ведь всегда видно, откуда она была выдрана.

– Да.

– Когда выговоришься, легче утешиться, – сказал Скоби.

– Не в этом беда, – возразила Элен. – Беда в том, что ужасно легко утешиться. Она его поразила: он не ожидал, что она уже так повзрослела и усвоила этот жизненный урок, прошла через эту пытку. Она продолжала: – Он ведь умер всего... когда это было?... неужели прошло всего два месяца? А он уже такой мертвый. Совершенно мертвый! Какая я, наверно, дрянь!

– Зря вы это, – произнес Скоби. – Так, по-моему, бывает со всеми. Когда мы кому-нибудь говорим: «Я без тебя жить не могу», – мы на самом деле хотим сказать: «Я жить не могу, зная, что ты страдаешь, что ты несчастна, что ты в чем-то нуждаешься». Вот и все. Когда же они умирают, кончается и наша ответственность. Мы уже ничего больше не можем поделать. Наступает покой.

– Я и не подозревала, что я такая черствая, – призналась Элен. – Страшно черствая.

– У меня был ребенок, – сказал Скоби, – он умер. Я тогда находился здесь. Жена послала мне две телеграммы из Бексхилла – одну в пять, а другую в шесть вечера, но их перепутали. Она хотела меня подготовить. Одну телеграмму я получил сразу после завтрака. Было восемь часов утра – в это время редко узнаешь новости. – Он никогда еще не рассказывал об этом никому, даже Луизе. Но сейчас он слово в слово прочел наизусть обе телеграммы. – В одной сообщалось: «Кэтрин умерла сегодня вечером без мучений храни тебя господь». К часу дня пришла вторая телеграмма: «Кэтрин серьезно больна. Доктор еще надеется разный мой». Это была телеграмма, отправленная в пять часов. «Разный» – просто переврали: наверно, она написала «родной». Понимаете, чтобы меня подготовить, она не могла подумать ничего более безнадежного, чем «доктор еще надеется».

– Какой это, наверно, был ужас! – сказала Элен.

– Нет, ужас был в другом: когда я получил вторую телеграмму, у меня все так перепуталось в голове, что я подумал: произошла какая-то ошибка, она еще жива. И на какую-то минуту, пока

не сообразил, что случилось, меня это... испугало. Вот в чем был ужас! Я подумал: теперь начнутся тревоги и мучения. Но, когда я понял, я сразу успокоился: ведь она умерла, и можно ее понемножку забыть.

– И вы ее забыли?

– Я теперь вспоминаю ее не так уж часто. Понимаете, я ведь не видел, как она умирала. Это выпало на долю жены.

Его удивляло, как легко и быстро они подружились. Их тесно сблизили две смерти.

– Не знаю, что бы я здесь без вас делала, – сказала она.

– Ну, тут бы все о вас заботились.

– Мне кажется, они меня боятся, – заметила она. Он рассмеялся. – Нет, в самом деле. Лейтенант Багстер – он летчик – пригласил меня сегодня на пляж, но я видела, что он меня боится. Потому что я невеселая и еще из-за мужа. Все на пляже делали вид, будто им весело, я тоже скалила зубы, но у меня ничего не получалось. Помните, когда первый раз в жизни идешь на вечеринку, поднимаешься по лестнице, слышишь чужие голоса и не знаешь, что ты должна говорить. Вот так было и со мной. Я сидела в купальном костюме миссис Картер и скалила зубы, а Багстер поглаживал мою ногу, и мне очень хотелось домой.

– Теперь уже недолго ждать.

– Я говорю совсем не про тот дом. Я говорю про этот, где я могу запереть дверь и не откликаться, когда стучат. Я еще не хочу уезжать.

– Но разве вам здесь хорошо?

– Я боюсь океана, – сказала она.

– Вам он снится?

– Нет. Иногда снится Джон – это еще хуже. Мне и прежде о нем всегда снились дурные сны и сейчас тоже. Мы вечно ссорились с ним во сне и теперь все еще ссоримся.

– А на самом деле вы ссорились?

– Нет. Он был со мной такой ласковый. Ведь мы были женаты всего месяц. Не так уж трудно быть ласковым всего месяц, правда? Когда все это случилось, я еще и понять не успела, что к чему.

Скоби подумал, что она никогда не понимала, что к чему – по крайней мере с той поры, как рассталась со своей баскетбольной командой. Неужели это было всего год назад? Иногда он видел, как она плывет день за днем в уютной лодчонке по маслянистой глади океана, а рядом с ней еще один умирающий ребенок, обезумевший матрос, мисс Малкот и главный механик, одержимый чувством ответственности перед судовладельцами; иногда он видел, как ее несут на носилках с зажатым в руках альбомом для марок; а теперь он еще видел ее в чужом уродливом купальном костюме – она скалит зубы Багстеру, который гладит ее ногу и прислушивается к чужому веселью, к плеску воды, не зная, как вести себя со взрослыми. Он с грустью ощущал, как чувство ответственности, подобно вечернему приливу, выносит его на незнакомый берег.

– Вы написали отцу?

– Само собой. Он телеграфировал, что пускает в ход все свои связи для того, чтобы ускорить мой приезд. Бедняжка, какие у него в Бэри могут быть связи? Он вообще никого не знает. В телеграмме он пишет, конечно, и о Джоне. – Она подняла с кресла подушку и вытащила из-под нее телеграмму – Вот, прочтите. Папа такой милый, но, конечно, ровно ничего обо мне не знает.

Скоби прочел; «Глубоко скорблю с тобой деточка но помни что он сейчас счастлив твой любящий отец».

Дата отправления сразу показала Скоби, какое бесконечное пространство разделяет отца и дочь.

– В каком смысле он ничего о вас не знает?

– Понимаете, он верит в бога, в рай и во всю эту дребедень.

– А вы нет?

– Я перестала, когда кончила школу. Джон всегда над ним за это подшучивал – знаете, так – добродушно. Отец не обижался. Но он не знал, что мы с Джоном думаем одинаково. Дочери священника часто приходится притворяться. Он бы в ужас пришел, если бы узнал, что Джон и я... ну, были вместе недели за две до свадьбы.

Он снова увидел, что она еще не понимает, что к чему; не мудрено, что Багстер ее боялся. Багстер был не из тех, кто любит нести ответственность за других, а разве она может за что-нибудь отвечать сама, эта глупенькая, растерянная девочка? Перебирая маленькую стопочку собранных для нее марок, он спросил:

– А что вы будете делать, когда вернетесь домой?

– Наверно, меня призовут, – сказала она.

Он подумал: будь моя дочь жива, она уже достигла бы призывного возраста и ее бросили бы, как слепого котенка, в какую-нибудь мрачную казарму. После волн Атлантики – Вспомогательные территориальные части или Женевский корпус военно-воздушных сил, шумливый сержант с пышным бюстом, дежурство по кухне и чистка картошки, лесбиянка в офицерском мундире, с тонкими губами и аккуратно зачесанными крашеными волосами и солдаты – солдаты, поджидающие в кустах на пустыре за оградой лагеря... По сравнению с этим даже Атлантический океан мог показаться родным домом.

– Вы умеете стенографировать? Знаете языки? – спросил он.

Войны можно было избежать только с помощью знаний, хитрости или связей.

– Нет, – сказала она, – я ни на что не гожусь.

Больно было думать, что ей не дали утонуть в море только для того, чтобы швырнуть обратно, как рыбешку, которую не стоило и ловить.

– А печатать на машинке вы умеете? – спросил он.

– Я довольно быстро печатаю, но одним пальцем.

– Пожалуй, вы сможете найти работу и тут. У нас не хватает секретарей. Все жены стали секретаршами, и все равно не хватает. Только климат здесь для женщин неподходящий.

– Я бы охотно осталась. Давайте выпьем за это. – Она позвала: – Мальчик! Мальчик!

– Вы уже кое-чему научились, – сказал Скоби, – неделю назад вы его не на шутку побаивались...

Слуга подал на подносе стаканы, лимоны, воду, непечатую бутылку джина.

– Это не тот, с которым я говорил, – сказал Скоби.

– Тот ушел. Вы говорили с ним слишком грозно.

– А этот пришел вместо него?

– Да.

– Как тебя зовут?

– Ванде, начальник.

– Я тебя уже где-то видел, а?

– Нет, начальник.

– Кто я такой?

– Большой полицейский начальник.

– Только не спугните мне и этого, – взмолилась Элен.

– У кого ты служил?

– У окружного комиссара Пембертона, там в лесу. Я бел младший слуга.

– Так вот где я тебя видел, – сказал Скоби. – Да, наверно, там. Служи теперь получше этой

хозяйке, и я найду тебе хорошую работу, когда она уедет домой. Так и запомни.

– Да, начальник.

– Вы еще не взглянули на марки.

– В самом деле.

Капля джина упала на марку и оставила пятно. Он смотрел, как она берет марку, смотрел на ее прямые волосы, падавшие крысиными хвостиками ей на затылок, словно Атлантика высосала из них всю силу, смотрел на ее запавшие щеки. Ему казалось, что он не чувствовал себя так свободно ни с кем уже много лет – с тех пор, как Луиза была молодой. Но тут совсем другое, говорил он себе: они друг для друга не опасны. Он старше ее больше чем на тридцать лет, тело его в этом климате забыло, что такое вожделение; он смотрел на нее с грустью, нежностью и бесконечной жалостью – ведь настанет время, когда он уже больше не сможет служить ей проводником в этом мире, где она блуждает в потемках. Когда она поворачивалась и свет падал ей прямо на лицо, она выглядела очень некрасивой, – такими некрасивыми порой бывают детские лица с еще не определившимися чертами. Ее некрасивость сковывала его, как наручники.

– Эта марка бракованная, – сказал он. – Я достану вам такую же.

– Что вы, – возразила она. – Сойдет и так. Я ведь не настоящий коллекционер.

Он никогда не чувствовал себя в ответе за людей красивых, изящных, умных. Они могли устроить свою жизнь и без него. В его преданности нуждались только те, чьи лица оставляли других равнодушными, на которые никто не заглядывался украдкой, те, кто скоро почувствуют щелчки и всеобщее пренебрежение. Слово «сострадание» опошлено не менее, чем слово «любовь»; это страшная, необузданная страсть, которую испытывают немногие.

– Понимаете, сказала она, – эта марка с пятном всегда будет мне напоминать мою здешнюю комнату...

– Значит, марка все-таки вроде фотографии.

– Марку можно вырвать, – сказала она с пугающей прямолинейностью, свойственной юности, – вы и знать не будете, что она тут была. – Повернувшись к нему, она вдруг сказала: – Как мне с вами хорошо. Я могу вам сказать все, что на ум взбредет. Я не боюсь вас задеть. Вам ничего от меня не надо. Мне так спокойно.

– Нам обоим спокойно.

Вокруг них был только дождь, мерно падавший на железную крышу. Она вдруг воскликнула с неожиданным порывом:

– Боже мой, какой вы хороший!

– Ничуть.

– У меня такое чувство, будто я всегда смогу на вас положиться.

Эти слова прозвучали для него как приказ, который придется выполнять, чего бы это ни стоило. Пригоршни ее полны были нелепыми клочками бумаги, которые он ей принес.

– Ваши марки я сохраню навсегда, – сказала она. – Мне никогда не придется вырывать их из альбома.

Постучали в дверь, и кто-то весело произнес:

– Это я, Фредди Багстер. Больше никого. Только я, Фредди Багстер.

– Не отвечайте, – шепнула она. – Не отвечайте.

Она взяла его под руку и уставилась на дверь, слегка приоткрыв рот, точно у нее перехватило дыхание. Она напоминала ему зверька, которого загнали в нору.

– Впустите Фредди, – хныкал все тот же голос. – Будьте человеком, Элен. Ведь это только я, Фредди Багстер. – Он был слегка пьян.

Она стоя прижалась к Скоби и обняла его. Когда шаги Багстера удалились, она подняла к

нему лицо, и они поцеловались. То, что они принимали за безопасность, на поверку оказалось уловкой врага, который действует под маской дружбы, доверия и сострадания.

Дождь все лил и лил, снова превращая в болото клочок осушенной земли, на котором стоял его дом. Ветер раскачивал створку окна; по-видимому, ночью сорвало крючок. Дождь хлестал в комнату, с туалетного столика текло, на полу стояла лужа. Стрелки будильника показывали двадцать пять минут пятого. У Скоби было такое ощущение, будто он вернулся в дом, где давно уже никто не живет. Его бы не удивило, если бы он нашел паутину на зеркале, истлевшую москитную сетку и мышинный помет на полу.

Он опустил на стул, вода потекла с брюк и образовала вторую лужу, вокруг его противомоскитных сапог. Уходя от Элен домой, он забыл свой зонтик.

В душе у него было какое-то странное ликование, словно он вновь обрел что-то давно утраченное, забытое с юности. Шагая в сырой тьме, полной шума дождя, он даже затянул во весь голос одну из песенок Фрезера, но петь он совсем не умел. Но вот где-то между ее домом и своим он потерял это счастливое чувство.

Он проснулся в четыре часа утра. Она уткнулась головой ему под мышку, и он чувствовал у себя на груди ее волосы. Вытянув руки из-под москитной сетки, он нащупал лампу. Элен лежала, скорчившись в неестественной позе, как человек, которого смерть настигла на бегу. Даже тогда, до того, как в нем проснулись нежность и чувство благодарности, ему на миг почудилось, будто он глядит на подстреленную птицу. Когда ее разбудил свет, она пробормотала спросонок:

– Пусть Багстер убирается к черту.

– Ты видела его во сне?

– Мне снилось, что я заблудилась в болоте, а Багстер меня нашел.

– Мне пора, – сказал он. – Если мы сейчас заснем, то не проснемся до рассвета.

Он принялся обстоятельно рассуждать за них обоих. Как преступник, он стал обдумывать план преступления, которое нельзя будет раскрыть: он взвешивал каждый шаг; впервые в своей жизни он прибегал к запутанной казуистике обмана. Если случится то-то и то-то... надо поступить так-то.

– Когда приходит твой слуга? – спросил он.

– Около шести. Не знаю точно. Он будит меня в семь.

– Али начинает кипятить воду без четверти шесть. Кажется, деточка, мне пора.

Он внимательно огляделся, не осталось ли следов его присутствия, разгладил циновку, задумался, что делать с пепельницей. И в конце концов забыл в углу свой зонтик. Типичный промах преступника! Когда дождь напомнил о зонтике, возвращаться было поздно. Ему пришлось бы стучаться, а в одном из домиков уже зажегся свет. Теперь, в своей комнате, стоя с одним сапогом в руке, он устало и грустно размышлял: в будущем надо быть осмотрительнее.

В будущем... вот где ждет беда. Кажется, это бабочка умирает при совокуплении? Но люди обречены отвечать за его последствия. Ответственность, равно как и вина, лежала на нем – он ведь не Багстер, он знает, что делает. Он поклялся заботиться о счастье Луизы, а теперь принял на себя другое обязательство, противоречащее первому. Он заранее испытывал усталость при мысли о той лжи, которую ему придется произносить; он уже видел, как кровоточат еще не

нанесенные раны. Откинувшись на подушку и не чувствуя сна ни в одном глазу, он смотрел в окно на ранний серый прилив. Где-то на поверхности этих темных вод витало предчувствие еще одной несправедливости и еще одной жертвы – не Луизы и не Элен. Далеко в городе запели первые петухи.

– Вот. Что скажете? – спросил Гаррис с затаенной гордостью.

Он стоял на пороге железного домика, пропустив вперед Уилсона, который осторожно, как охотничий пес по жнивью, пробирался между наставленной повсюду казенной мебелью.

– Лучше, чем в гостинице – вяло заметил Уилсон, нацеливаясь на казенное кресло.

– Я хотел сделать вам сюрприз к вашему возвращению из Лагоса. – С помощью занавесок Гаррис разделил барак на три комнаты: получилось две спальни и общая гостиная. – Меня беспокоит только одно. Не знаю, есть ли здесь тараканы.

– Ну, мы ведь играли в эту игру, только чтобы от них избавиться.

– Знаю, но сейчас мы будем по ней скучать.

– Кто наши соседи?

– Миссис Ролт, которую потопила подводная лодка, два парня из департамента общественных работ, какой-то Клайв из сельскохозяйственного департамента и еще Болинг, он ведаёт канализацией; все как будто славные люди. Ну и, конечно, дальше по дороге – Скоби.

– Ну да.

Уилсон беспокойно побродил по дому и остановился перед фотографией, которую Гаррис прислонил к казенной чернильнице. На лужайке в три длинных ряда выстроились мальчики: передний ряд сидел на траве, скрестив ноги, второй – в высоких крахмальных воротничках – сидел на стульях, третий стоял, а в центре восседали пожилой мужчина и две женщины, одна из них косая.

– Эта косая... – сказал Уилсон, – честное слово, я ее где-то видел.

– Вам что-нибудь говорит фамилия Снэки?

– Как же, конечно. – Уилсон всмотрелся в фотографию внимательнее. – Значит, вы тоже были в этой дыре?

– Я нашел в вашей комнате «Даунхемца» и вытащил эту фотографию, чтобы сделать вам сюрприз. Надзирателем у меня в интернате был Джеггер. А у вас?

– Я был проходящим учеником, – сказал Уилсон.

– Ну что ж, – разочарованно протянул Гаррис, – и среди проходящих попадались неплохие ребята. – Он бросил на стол фотографию, как кидают карту, когда она не выиграла. – Я мечтал, что мы устроим ужин старых даунхемцев.

– Зачем? – спросил Уилсон. – Нас ведь только двое.

– Каждый мог бы пригласить гостя.

– Не понимаю, кому это надо.

– В конце концов, настоящий даунхемец вы, а не я, – с горечью сказал Гаррис. – Я никогда не состоял в обществе. И журнал получаете вы. Мне казалось, вы любите нашу старую школу.

– Отец записал меня пожизненным членом в общество и зачем-то высылает мне этот идиотский листок, – отрывисто произнес Уилсон.

– Он лежал возле вашей кровати. Я думал, вы его читали.

– Перелистывал.

– Там я и упомянут. Они хотят узнать мой адрес.

– Неужели вы не понимаете, зачем это делается? – сказал Уилсон. – Они обращаются ко всем бывшим даунхемцам, которых удастся раскопать. Небось в актовом зале надо сменить обшивку. На вашем месте я бы не торопился сообщать свой адрес.

Он один из тех, подумал Гаррис, кто всегда в курсе дела: заранее может сообщить, какие вопросы зададут на устном экзамене; знает, почему не явился в школу такой-то парень и о чем

спорят на школьном совете. Несколько недель назад он был здесь новичком и Гаррис охотно его опекал; он вспомнил тот вечер, когда Уилсон чуть было не отправился в смокинге на ужин к какому-то сирийцу и Гаррис его вовремя остановил. Но уже в младших классах Гаррису пришлось наблюдать, как быстро осваиваются новички: в первом семестре он играл роль снисходительного ментора, а в следующем ему давали отставку. Он никак не мог угнаться за самым юным из новичков. Гаррис вспомнил, как в первый же вечер тараканьей охоты, которую он выдумал, его правила была отвергнута.

– Наверно, вы правы, – уныло сказал он. – Может, письмо посылать и не стоит. – И он добавил униженно: – Я занял кровать с этой стороны, но мне все равно, где спать...

– Ладно, пусть так, – согласился Уилсон.

– Я нанял только одного слугу. Рассчитывал, что на этом мы немножко сэкономим.

– Чем меньше здесь будет шнырять слуг, тем лучше, – сказал Уилсон.

Этот вечер был первым вечером их совместной жизни. Затемнив окна, они устроились читать в своих одинаковых казенных креслах. На столе стояла бутылка виски для Уилсона и бутылка лимонада для Гарриса. Дождь безостановочно барабанил по крыше. Уилсон читал детективный роман; Гаррис блаженно наслаждался покоем. Время от времени, вопя во весь голос и со скрежетом выжимая тормоза, мимо проносились пьяные летчики из офицерского клуба, но это только усиливало ощущение тишины в доме. Иногда взгляд Гарриса блуждал в поисках таракана – но нельзя же требовать всего сразу.

– У вас нет под рукой «Даунхемца», старина? Я бы просмотрел его еще разок. Очень уж не хочется мне читать книгу.

– Вон под зеркалом свежий номер, я его еще не открывал.

– Вы не возражаете, если я его посмотрю?

– А чего мне возражать?

Прежде всего Гаррис разыскал заметку о бывших даунхемцах и установил, что поиски местонахождения Г.Р.Гарриса (выпуск 1921 года) все еще продолжаются. У него мелькнуло сомнение, не ошибся ли Уилсон, – в заметке ни слова не говорилось о ремонте актового зала. Может быть, все-таки отослать письмо? Он уже предвкушал ответ секретаря общества: «Дорогой Гаррис, – так приблизительно будет гласить этот ответ, – мы в восторге, что получили от вас письмо из таких романтических мест. Почему бы вам не прислать обстоятельный очерк для нашего журнала. И, кстати, почему бы вам не вступить в Общество старых даунхемцев? Вы ведь, кажется, не состоите его членом. Должен заявить от имени всех старых даунхемцев, что мы будем рады приветствовать вас в своих рядах». Он мысленно прикинул, будет ли так сказано: «горячо приветствовать», но отверг такой вариант. Гаррис был все-таки реалист.

«Старый даунхемец» сообщал об успешных рождественских состязаниях. Они забили лишний гол Харпендену, два гола – коммерческому училищу и сыграли вничью с Дансингом. Даккер и Тирни показали себя отличными форвардами, но команда все еще не сыгралась как следует. Он перевернул страницу и узнал, что оперный кружок превосходно поставил в актовом зале «Терпение». Ф.Д.К. – по-видимому, это был преподаватель английской литературы – писал: «Лэйн в роли Банторна обнаружил столько художественного вкуса, что удивил всех своих товарищей по пятому Б. До сих пор мы и не подозревали, что он так чувствует дух средневековья, и не ассоциировали его с геральдическими лилиями. Но он убедил нас в том, что мы его недооценивали. Bravo, Лэйн!»

Гаррис пробежал глазами отчеты о пяти матчах и сказку под заглавием «Когда тикают часы», которая начиналась словами: «Жила-была маленькая старушка, больше всего на свете она любила...»

Перед его мысленным взором вырастали стены Даунхема – красный кирпич, окаймленный

желтым; старинные водосточные желоба, украшенные химерами; по каменным ступеням стучат мальчишеские ботинки, и надтреснутый колокол возвещает начало нового скучного дня. Он почувствовал нежность, которую все мы испытываем к несчастной поре своей жизни, словно несчастье – наше естественное состояние. Слезы выступили у него на глазах, он отпил лимонаду и решил: «Отправлю письмо, что бы там ни говорил Уилсон». На улице кто-то прокричал: «Багстер! Багстер, сволочь ты этакая, где ты?» – и тут же шлепнулся в канаву. Это было похоже на Даунхем, но там, разумеется, не стали бы так ругаться.

Гаррис перевернул еще две-три страницы, и тут его внимание привлекло заглавие одного стихотворения. Оно называлось «Западный берег Африки» и было посвящено «Л.С.». Он не слишком любил стихи, но его заинтересовало то, что на этой нескончаемой ленте побережья, состоящей из песка и вони, живет еще один старый даунхемец. Он стал читать:

На дальнем берегу к устам подносит вновь
Иной Тристан все тот же кубок, с ядом,
И Марк иной следит все тем же взглядом,
Как скрыться от него торопится любовь.

Четверостишие показалось Гаррису непонятным; он пропустил следующие строфы и остановился на инициалах в конце: Э.У. Он чуть не вскрикнул, но вовремя удержался. Живя в таком близком соседстве, приходится быть осмотрительным. Ссориться здесь негде. Кто же эта Л.С., подумал Гаррис, ведь не может быть... От одной этой мысли губы его искривились в злой усмешке.

– В журнале ничего интересного, – сказал он. – Мы побили Харпенден. Напечатано стихотворение, которое называется «Западный берег Африки». Наверно, где-то здесь торчит еще один из наших. Вот бедняга.

– Да ну?

– Влюблен без памяти, – сказал Гаррис. – Но я ничего не понимаю в стихах.

– Я тоже, – солгал Уилсон, закрывшись детективным романом.

Его едва не поймали. Уилсон лежал на спине, прислушиваясь к стуку дождя по крыше и к храпу бывшего даунхемца за занавеской. Ненавистные школьные годы словно протянули свои щупальца сквозь завесу времени, чтобы завладеть им снова. Ну и безумие же было посылать в журнал эти стихи. Впрочем, какое тут безумие, он давно повторял всякую непосредственность и не способен совершать безумства; он принадлежит к тем людям, кто с детства лишен непосредственности. Он знал, зачем он это сделал: он хотел вырезать стихотворение и послать его Луизе, не говоря, откуда оно. Стихи, правда, не совсем в ее вкусе, но он тешил себя надеждой, что они произведут впечатление уже тем, что они напечатаны. Если она спросит где, нетрудно будет назвать издание какого-нибудь литературного кружка. К счастью, «Старый даунхемец» печатался на хорошей бумаге. Ему, конечно, придется наклеить вырезку на картон, чтобы скрыть напечатанное на обороте, но нетрудно будет объяснить и это. Профессия постепенно поглощала всю его жизнь, как прежде это делала школа. Профессией же его было

лгать, выкручиваться, никогда не попадаться с поличным – и его жизнь приобретала такие же черты. Сейчас, когда он лежал в постели, его мутило от отвращения к самому себе.

Дождь ненадолго перестал. Наступила прохладная пауза – отрада для страдающих бессонницей. В тяжелом сне Гарриса дождь еще продолжался. Уилсон потихоньку встал и приготовил себе снотворное; кристаллы на дне стакана зашипели, а за занавеской Гаррис хрипло что-то пробормотал и повернулся на другой бок. Уилсон направил луч фонарика на свои часы: стрелки показывали двадцать пять минут третьего. Пробираясь к двери на цыпочках, чтобы не разбудить Гарриса, он почувствовал легкий укус тропической блохи под ногтем большого пальца. Утром надо будет приказать слуге ее оттуда извлечь. Он постоял на залитой цементом дорожке над болотом, подставив грудь прохладному ветерку, который шевелил полы расстегнутой пижамы. Домишки рядом были погружены в темноту, сквозь обрывки надвигавшихся облаков проглядывала луна. Он уже хотел вернуться, но услышал, как в нескольких шагах от него кто-то споткнулся, и зажег фонарик. Луч осветил согнутую спину человека, пробиравшегося между железными домиками на дороге.

– Скоби! – воскликнул Уилсон, и человек обернулся.

– А-а, Уилсон, – сказал Скоби. – Не знал, что вы здесь живете.

– Мы устроились тут вместе с Гаррисом, – сказал Уилсон, глядя на человека, видевшего его слезы.

– Я вышел прогуляться, – не очень убедительно объяснил Скоби. – Мне не спалось.

Уилсон почувствовал, что Скоби еще новичок в мире обмана, он не жил в нем с самого детства; и Уилсон испытывал что-то вроде старческой зависти к Скоби – так старый каторжник завидует молодому вору, который отбывает свой первый срок и все кругом ему внове.

Уилсон сидел в своей душевной комнатке в конторе Объединенной Африканской компании. Он загородился от двери несколькими бухгалтерскими книгами в переплетах из свиной кожи. Тайком, как школьник шпаргалку, он листал за этой баррикадой шифровальный справочник, расшифровал очередную телеграмму. Листок на календаре был недельной давности – показывал 20 июня, на нем красовался девиз: «Наилучшее капиталовложение – честность и предприимчивость. Уильям П. Корнфорт». В дверь постучал один из конторщиков.

– Уилсон, к вам какой-то черномазый с письмом.

– От кого?

– Говорит – от Брауна.

– Будьте другом, задержите его на минутку, а потом пусть шпарит сюда.

Как ни старался Уилсон, жаргонные словечки звучали в его устах неестественно. Он сложил телеграмму и сунул ее вместо закладки в шифровальный справочник; потом спрятал книгу в сейф и закрыл дверцу. Он налил себе стакан воды и выглянул в окно: повязав голову яркими платками, мимо под цветными зонтиками шли черные женщины. Их просторные платья из бумажной ткани спадали до самых щиколоток; на одном был узор из спичечных коробков, на другом – из керосиновых ламп; третье – последняя новинка Манчестера – было усеяно лиловыми зажигалками на желтом фоне. Сверкая под дождем, прошла голая до пояса девушка, и Уилсон проводил ее тоскующем похотливым взглядом. Он проглотил слюну и повернулся к двери.

– Закрой дверь.

Парень повиновался. По-видимому, он надел для этого утреннего визита свой лучший наряд – белую бумажную рубашку навыпуск и белые трусы. На спортивной обуви не было, несмотря на дождь, ни пятнышка – правда, из дырявых носков вылезали пальцы.

– Ты младший слуга у Юсефа?

– Да, начальник.

– Мой слуга с тобой говорил. Он тебе сказал, что мне нужно? Он твой младший брат, да?

– Да, начальник.

– Один отец?

– Да, начальник.

– Он говорит, ты хороший парень, честный. Хочешь стать старшим слугой, а?

– Да, начальник.

– Читать умеешь?

– Нет, начальник.

– Писать?

– Нет, начальник?

– Глаза есть? Уши есть? Все видишь? Все слышишь?

Парень осклабился: гладкую серую кожу лица прорезала белая щель; вид у него был смысленый. Смекалка была, по мнению Уилсона, куда важнее честности. Честность – палка о двух концах, а смекалка себя в обиду не даст. Смекалка подскажет, что сириец может в один прекрасный день отправиться восвояси, но англичане остаются всегда. Смекалка подскажет, что надо хорошо работать для начальства, каким был это начальство ни было.

– Столько тебе платит хозяин?

– Десять шиллингов.

– Я буду платить тебе еще пять. Если Юсеф тебя выгонит, я буду платить десять. Если будешь служить у Юсефа год и мне все говорить – говорить правду, не врать, – я найду тебе место старшего слуги у белого хозяина. Понял?

– Да, начальник.

Будешь врать – попадешь в тюрьму. Может, тебя расстреляют. Не знаю. Не мое дело. Понял?

– Да, начальник.

– Каждый день ты будешь встречать брата на мясном рынке. Будешь рассказывать ему, кто был у Юсефа, куда ходил Юсеф, чьи слуги были у Юсефа. Не врать, говорить правду. Не валять дурака. Если никто не приходит к Юсефу, ты говоришь – никто. Не врать. Будешь врать – я узнаю и тебя посадят в тюрьму. – Утомительный монолог продолжался: Уилсон никогда не был уверен, правильно ли его поняли. Пот градом струился у него со лба, и холодное, невозмутимое лицо слуги раздражало его, словно немой укор, на который он не находил ответа. – Попадешь в тюрьму, будешь сидеть долго-долго. – Он слышал, как его голос становится визгливым от желания запугать, он сам себе казался пародией на белого плантатора в мюзик-холле. – Скоби, – сказал он. – Ты знаешь майора Скоби?

– Да, начальник. Он очень хороший человек, начальник. – Это были его первые слова, кроме «да» и «нет».

– Ты видел его у своего хозяина?

– Да, начальник.

– Часто?

– Один-два раза.

– Он и твой хозяин – они друзья?

– Хозяин думает: майор Скоби очень хороший человек.

Услышав эту фразу опять, Уилсон обозлился.

– Я тебя не спрашиваю, хороший он или нет! – яростно крикнул он. – Я тебя спрашиваю, где он встречается с Юсефом, понял? О чем они говорят? Ты иногда подаешь им напитки, когда старший слуга занят? Что ты слышишь?

– Последний раз у них был большой разговор, – заискивающе сказал слуга, словно показывая краешек своего товара.

– Я так и думал. Я хочу знать все, что они говорили.

– Когда майор Скоби ушел, хозяин положил подушку себе на лицо.

– Что ты мелешь?

Слуга с большим достоинством закрыл лицо руками.

– Его слезы намочили подушку, – сказал он.

– Господи! – вырвалось у Уилсона. – Что за чушь!

– Потом хозяин пил много-много виски и спал – десять-двенадцать часов. Потом пошел в лавку на Бонд-стрит к очень сильно ругался.

– А почему?

– Он говорил, они с ним валяют дурака.

– А при чем тут майор Скоби?

Слуга только пожал плечами. Уилсону – уже в который раз – показалось, что перед самым носом у неге захлопнулась дверь; он всегда оставался по ту сторону двери.

Когда слуга ушел, Уилсон снова отпер сейф, повернув ручку сперва налево до цифры 32 (это был его возраст), потом направо до 10 (он родился в 1910 году), потом снова налево до 65 (номер его дома на Вестерн-авеню в городе Пиннер); он вынул шифровальный справочник. 32946 78523 97042. Перед глазами его поплыли ряды цифр. Телеграмма была с пометкой «Важная», иначе он был отложил расшифровку до вечера. Но он отлично знал, насколько она в действительности была неважной: очередной пароход вышел из Лобито с очередными подозрительными лицами на борту – алмазы, алмазы, алмазы! Когда он расшифрует телеграмму, он вручит ее многострадальному начальнику полиции, но тот, наверно, уже получил такие же сведения или сведения прямо противоположные от MI-5 или какой-нибудь другой секретной организации, которые разносились на африканском побережье, как тропический лес. «Не трогайте, но не навлекайте (повторяю: не навлекайте) подозрений на П.Ферейра, пассажира I класса (повторяю: П.Ферейра, пассажира I класса)». По-видимому, Ферейра был агентом, которого организация Уилсона завербовала на борту парохода. Но может случиться, что начальник полиции одновременно получит сообщение от полковника Райта о том, что П.Ферейра подозревается в контрабанде алмазами и должен подвергнуться строгому обыску. 72391 87052 63847 92034. Можно ли не трогать П.Ферейра, не навлекать (повторяю: не навлекать) на него подозрений и в то же время подвергнуть его строгому обыску? Но, слава богу, это уже Уилсона не касается. Кто знает: может, отдуваться придется Скоби.

Он снова подошел к окну за стаканом воды и снова увидел на улице ту же девушку. А может быть, и не ту. Он смотрел, как стекает вода между худыми, похожими на крылышки лопатками. Было время, когда он не замечал женщин с черной кожей. Ему казалось, будто он провел на этом побережье не месяцы, а годы – долгие годы, отделяющие юность от зрелости.

– Вы уходите? – с удивлением спросил Гаррис. – Куда?

– Просто в город, – сказал Уилсон, отпуская посвободней завязки на противомоскитных сапогах.

– Что это вам вздумалось идти так поздно в город?

– Дела, – сказал Уилсон.

Ну что ж, подумал он, это и вправду своего рода дело – одно из тех безрадостных дел, которые затеваешь в одиночку, тайком от друзей. Недели две назад он купил подержанную машину – свою первую машину – и еще не очень уверенно водил ее. Механизмы быстро ржавели в этом климате, а ветровое стекло ему приходилось через каждые несколько сот ярдов вытирать носовым платком. В негритянском квартале двери хижин были распахнуты настежь, семьи сидели вокруг керосиновых ламп, дожидаясь вечерней прохлады, чтобы лечь спать. В канаве валялась дохлая собака, и дождь барабанил по ее белому раздутому брюху. Он ехал на второй скорости, ненамного быстрее пешехода; фары гражданских машин были затемнены, свет пробивался сквозь щелку не шире визитной карточки, и он видел лишь шагов на пятнадцать вперед. Целых десять минут он добирался до большого хлопкового дерева возле полицейского управления. В окнах кабинетов нигде не было видно света, и он оставил машину у главного входа. Если ее там увидят – подумают, что хозяин зашел в полицию. Открыв дверцу машины, он не сразу решился выйти. Образ девушки под дождем вытеснился образом Гарриса, растянувшегося на спине с книгой в руках и стаканом лимонада рядом. Но похоть все же взяла верх, и Уилсон с унынием подумал: «Сколько от нее хлопот»; он заранее испытывал горькое похмелье.

Он позабыл дома зонтик и через несколько шагов промок до костей. Теперь его толкало скорее любопытство, чем похоть. Если здесь живешь, рано или поздно надо отведать местное блюдо. Вот так бывает, когда держишь плитку шоколада в ящичке ночного столика: пока ее не съешь, она не даст тебе покоя. Он подумал: когда я с этим разделаюсь, я смогу сочинить еще одно стихотворение Луизе.

Публичный дом был одноэтажный, под железной крышей; он стоял справа от дороги на склоне холма. В сухие месяцы девушки сидели в ряд на краю канавы, как стайка воробьев, болтая с постовым полицейским. Дорога тут никогда не ремонтировалась, поэтому, отправляясь на пристань или в церковь, никто не ездил мимо публичного дома – его существования можно было и не замечать. Сейчас он стоял молчаливо, повернувшись фасадом с закрытыми ставнями к потонувшей в грязи улице; только одна дверь была приоткрыта и подперта камнем, за ней шел коридор. Уилсон быстро оглянулся и вошел в дом.

Много лет назад коридор был оштукатурен и побелен, но крысы прогрызли дыры в штукатурке, а люди изуродовали побеленные стены надписями. Стены были покрыты татуировкой, как рука матроса: инициалы, даты, даже два пронзенных стрелой сердца. Сперва Уилсону показалось, что дом совершенно пуст. По обе стороны коридора шли маленькие каморки – девять, футов на четыре – с занавеской вместо двери и кроватью из старых ящиков, накрытых домотканой материей. Он быстро дошел до конца коридора. Сейчас, сказал он себе, поверну и пушусь в обратный путь, туда, где под тихим и сонным кровом бывший даунхемец дремлет над своей книгой.

Он почувствовал ужасное разочарование, точно не нашел того, что искал, когда, дойдя до конца коридора, обнаружил, что в каморке слева кто-то есть. При свете горевшей на полу керосиновой лампы он увидел девушку в грязном халате, лежавшую на ящиках, как рыба на прилавке; ее босые розовые ступни болтались над надписью «Сахар». Она дежурила, дожидаясь посетителей. Не дав себе труда подняться, она улыбнулась Уилсону.

– Хочешь побаловаться, миленький, – сказала она. – Десять шиллингов.

И он увидел, как девушка с мокрой от дождя спиной уходит от него навсегда.

– Нет, нет, – сказал он, качая головой и думая про себя: ну и дурак, ну и дурак же я, что поехал в такую даль ради этого.

Девушка захихикала, словно и она это поняла; он услышал, как с улицы по коридору зашлепали босые ноги, и старуха с полосатым зонтиком в руке отрезала ему путь назад. Она что-то сказала девушке на своем наречье и получила смешливый ответ. Уилсон понял, что все это необычно только для _него_, для старухи же это одна из самых избитых ситуаций, в том мрачном царстве, где она правит.

– Пойду выпью сначала, – малодушно сказал он.

– Она сама принесет, – возразила старуха и отдала какое-то отрывистое приказание девушке на непонятном ему языке; та спустила ноги на пол. – Ты останешься здесь, – сказала старуха Уилсону и заученным тоном, как рассеянная хозяйка, вынужденная поддерживать разговор даже с самым неинтересным гостем, добавила: – Хорошая девочка, побаловаться – один фунт.

Видно, рыночные цены подчинялись здесь не тем законам, что всюду; цена росла по мере того, как возрастало отвращение покупателя.

– Проктите. Мне некогда, – сказал Уилсон. – Вот вам десять шиллингов.

Он двинулся было к выходу, но старуха не обращала на него никакого внимания, по-прежнему загораживая дорогу и улыбаясь с уверенностью зубного врача, который лучше вас знает, что вам нужно. Цвет кожи не имел здесь никакого значения; здесь Уилсон не мог хорохориться, как это делает белый человек в других местах; войдя в этот узкий оштукатуренный коридор, он потерял все расовые, социальные и личные приметы, он низвел себя до уровня человека вообще. Если бы он хотел спрятаться – тут было идеальное убежище; если бы он хотел, чтобы его не узнали, – тут он стал просто особью мужского пола. Даже его сопротивление, отвращение и страх не были его индивидуальными чертами: они были так свойственны всем, кто приходит сюда впервые, что старуха наперед знала все его уловки. Сперва он сошлется на желание выпить, потом попробует откупиться, потом...

– Пустите, – неуверенно сказал Уилсон.

Но он знал, что она не тронется с места; она стерегла его, словно это была чужая скотина, которую она нанялась караулить. Он ее несколько не интересовал, но время от времени она успокоительно повторяла:

– Хорошая девочка. Побаловаться – чуть-чуть обожди.

Он протянул ей фунт, и она сунула деньги в карман, но не уступила ему дорогу. Когда он попытался протиснуться мимо, она хладнокровно отпихнула его розовой ладонью, повторяя:

– Чуть-чуть обожди.

Все это бывало уже тысячи раз.

В глубине коридора показалась девушка, она несла в бутылке из-под уксуса пальмовое вино. Уилсон вздохнул и скрепя сердце сдался. Духота в камерке, задавленной потоками дождя, затхлый запах его случайной подруги, тусклый, неверный свет керосиновой лампы – все напоминало ему склеп, открытый для того, чтобы принять нового мертвеца. В нем росла обида, ненависть к тем, кто загнал его сюда.

– Я видела тебя после обеда на пляже, – сказала Элен.

Скоби перестал наливать в стакан виски и настороженно поднял глаза. Что-то в ее тоне до странности напомнило ему Луизу.

– Я искал Риса из морской разведки, – объяснил он.

– Ты даже не заговорил со мной.

– Я торопился.

– Ты всегда так осторожен? – спросила она, и теперь он понял, что происходит и почему он вспомнил Луизу.

Неужели любовь всегда идет проторенной дорожкой? – с грустью подумал он. И не только физическая близость – все всегда одно и то же... Сколько раз за последние два года он пытался в критическую минуту предотвратить такую сцену – хотел спасти не только себя, но и другую жертву.

– Как ни странно, на этот раз я просто о тебе не думал, – невесело рассмеялся он. – Голова у меня была занята другим.

– Чем?

– Все теми же алмазами.

– Работа для тебя куда важнее, чем я, – протянула Элен, и от банальности этой фразы, вычитанной в великом множестве романов, его сердце сжалось, словно он услышал не по возрасту рассудительные слова в устах ребенка.

– Да, – серьезно сказал он, – но я бы пожертвовал ею ради тебя.

– Почему?

– Наверно, потому, что ты человек. Можно любить свою собаку больше всего на свете, но ведь, чтобы спасти собаку, не станешь давить даже чужого ребенка.

– Ах, – сказала она с раздражением, – почему ты всегда говоришь правду? Я вовсе не желаю слушать всегда только правду.

Он подал ей бокал с виски.

– Тебе не повезло, дружок. Ты связалась с пожилым человеком. Мы не можем все время врать, как это делают молодые; для нас это слишком хлопотно.

– Если бы ты знал, как я устала от всех твоих предосторожностей. Ты приходишь сюда, когда стемнеет, и уходишь, когда еще темно. Это так... так унижительно!

– Да.

– Мы любим друг друга только здесь. Среди этой убогой казенной мебели. Не знаю, сумели бы мы любить друг друга где-нибудь еще.

– Ах ты, моя бедная, – сказал он.

– Мне не нужна твоя жалость! – в бешенстве закричала она.

Но хотела она того или нет – он ее жалел. Жалость грызла его сердце, как червь. И никогда ему от этого чувства не избавиться. Он знал по опыту, как умирает страсть и уходит любовь, но жалость остается навсегда. Ее никто не в силах утолить. Ее питает сама наша жизнь. На свете есть только один человек, который не заслуживает его жалости: он сам.

– Неужели ты вообще не способен поступать опрометчиво? – спросила она. – Ты никогда не написал мне ни строчки. Уезжаешь из города на несколько дней, а у меня от тебя ничего не остается. Даже твоей фотографии, чтобы в этой конуре можно было жить.

– Но у меня нет фотографий.

– Наверно, ты боишься, что я стану шантажировать тебя твоими письмами.

Стоит закрыть глаза, и может показаться, что это Луиза, устало подумал он; только голос помоложе и, может быть, не так жесток, как тот, – вот и вся разница. Он стоял с бокалом виски в руке и вспоминал другую ночь – рядом, в нескольких шагах отсюда; но тогда у него в бокале был джин.

– Какие глупости ты говоришь, – мягко сказал он.

– Ты думаешь, я еще ребенок. Приходишь сюда крадучись... и приносишь марки.

– Я ведь стараюсь тебя уберечь.

– Начхать мне на все их сплетни.

В баскетбольной команде не стеснялись в выражениях.

– Если пойдут сплетни, между нами все будет кончено.

– Ты вовсе не меня стараешься уберечь. Ты стараешься уберечь свою жену.

– И, значит, тебя...

– Ну, знаешь ли, – сказала она, – отождествлять меня с... с этой женщиной!...

Его передернуло. Он недооценил ее способность причинять боль. А она, по-видимому, поняла свою власть; теперь он у нее в руках. Отныне она будет знать, как ударить побольнее. Теперь она была как девчонка, схватившая циркуль, зная, что циркулем можно нанести рану. Какой же ребенок не воспользуется этим преимуществом?

– Нам еще рано ссориться, дружок, – сказал он.

– Эта женщина... – повторила она, глядя ему в глаза. – Ты же ведь никогда ее не бросишь?

– Мы женаты, – сказал он.

– Стоит ей узнать про нас, и ты вернешься к ней, как побитая собака.

Нет, подумал он с нежностью, она не Луиза. Самых ядовитых книг она все-таки не читала.

– Не знаю, – сказал он.

– На мне ты никогда не женишься.

– Я не могу. Ты же знаешь. Я католик. Мне нельзя разводиться.

– Чудная отговорка, – съязвила она. – Это не мешает тебе спать со мной, это мешает тебе только жениться.

– Ты права, – с трудом произнес он, словно принимая епитимью.

Насколько она теперь старше, чем была месяц назад, подумал он. Тогда она не умела устраивать сцен, но любовь и необходимость скрывать ее научили: его влияние начинало уже сказываться. Неужели, если так пойдет дальше, ее нельзя будет отличить от Луизы? В моей школе, с тоской подумал он, учатся жестокости, разочарованию и старческой горечи.

– Что ж ты замолчал? – сказала Элен. – Оправдывайся.

– Это слишком долго. Пришлось бы начать с выяснения вопроса, есть ли бог.

– Опять вертишься, как уж!

Он чувствовал себя чудовищно усталым... и обманутым. А как он ждал этого вечера! Весь день на службе, разбирая дело о просроченной арендной плате и допрашивая малолетнего преступника, он мечтал обо всем том, что она сейчас поносила, – об этом домике, о пустой комнате, о казенной мебели, совсем как у него самого в молодости.

– Я хотел, чтобы тебе было хорошо, – произнес он.

– В каком смысле?

– Я хотел быть тебе другом. Заботиться о тебе. Чтобы тебе было лучше.

– А разве мне было плохо? – спросила она, подразумевая, как видно, давние годы.

– Ты еще не поправилась, была одинока...

– Нельзя быть более одинокой, чем я сейчас, – сказала она. – Когда перестает дождь, я хожу на пляж вместе с миссис Картер. Ко мне пристаёт Багстер, и они думают, что я ледышка. Я спешу вернуться сюда до дождя и жду тебя... Мы выпиваем немножко виски... ты даришь мне

какие-то марки, точно я твоя дочка...

– Прости, – сказал Скоби. – Я такой нескладный... – Он накрыл ее руку своей, острые суставы под его ладонью были как переломленный хребет маленького зверька. Он продолжал медленно, осторожно, тщательно выбирая слова, словно продвигался по узкому проходу через заминированное врагом поле; на каждом шагу мог раздаться взрыв: – Прости меня. Я бы сделал все, чтобы ты была счастлива. Если хочешь, я больше не буду приходить. Уеду совсем, выйду в отставку.

– Ты рад будешь от меня отвязаться, – сказала она.

– Для меня это будет конец.

– Уходи, если тебе это нужно.

– Я не хочу уходить. Я хочу, чтобы все было так, как хочешь ты.

– Хочешь – уходи, а хочешь – оставайся, – пренебрежительно бросила она. – Мне-то ведь уйти некуда.

– Если ты скажешь, я как-нибудь устрою тебя на ближайший пароход.

– Ах, как ты будешь рад со мной развязаться, – повторила она и заплакала. Скоби позавидовал ее слезам. Он протянул к ней руку, но не успел дотронуться, как она закричала: – Убирайся к черту! Убирайся к черту! Пошел вон!

– Я уйду, – сказал он.

– Да, уходи и больше не возвращайся!

На улице, когда дождь охладил ему лицо и заструился по рукам, у него мелькнула мысль: до чего упростится жизнь, если он поймает Элен на слове. Он мог бы прийти домой, запереть за собой дверь и остаться один; он мог бы без угрызений совести написать Луизе письмо, заснуть крепко, как давно уже не спал, и не видеть снов. На другой день – работа, спокойное возвращение домой, запертая дверь... Но тут, на склоне холма, у автопарка, где под мокрым брезентом притаились грузовики, дождь падал, как слезы. Он представил себе ее одну в этой хижине, она думает о том, что непоправимые слова произнесены, что отныне каждый день ей суждено видеть только миссис Картер и Багстера – каждый день, пока не придет пароход и она не уедет домой, унося с собой в памяти одно только горе. Я бы никогда больше туда не вернулся, думал он, если бы знал, что она довольна и только один я страдаю. Но если доволен буду я, а страдать будет она... этого нельзя вынести. Чужая правда неумолимо преграждала ему путь, как невинно убиенный. Она права, думал он, моя осторожность невыносима.

Он открыл свою дверь, и крыса, обнюхивавшая шкаф для продуктов, не спеша удалилась вверх по лестнице. Вот что так ненавидела и чего боялась Луиза. Но ее-то по крайней мере он сделал счастливой. И тяжеловесно, с обдуманым к нарочитым безрассудством он принялся устраивать счастье Элен. Он сел за стол и, вынув лист бумаги – гербовой бумаги с правительственными водяными знаками, – стал сочинять письмо.

«Дружочек!» – написал он; решив целиком отдать себя в ее руки, он хотел оставить адресат анонимным. Посмотрев на часы, он в верхнем правом углу, как при составлении полицейского рапорта, проставил: «12:35 ночи, 5 сентября, Бернсайд». Он старательно выводил: «Я люблю тебя больше, чем самого себя, больше чем свою жену, даже больше, чем бога. Пожалуйста, сохрани это письмо. Не уничтожай его. Перечитывай его, когда ты на меня сердись. Я очень хочу сказать себе всю правду. Больше всего на свете я хочу твоего счастья...» Его огорчало, что на бумагу ложатся такие банальные фразы; казалось, они не говорят правды об Элен; слишком уж часто их употребляли. Если бы я был молод, подумал он, я бы сумел найти нужные слова, свежие слова; но все это я уже пережил однажды. Он повторил: «Я люблю тебя. Прости меня», подписался и сложил письмо.

Он накинул плащ и снова вышел под дождь. В этой сырости раны не заживают – они

гноятся. Стоит оцарапать палец, и через несколько часов царапина покрывается зеленоватым налетом. Он шел к ней, ощущая, что гниение затронуло его душу. В автопарке какой-то солдат закричал во сне – одно слово, непонятное для Скоби, как иероглиф на стене, – солдаты были из Нигерии. Дождь барабанил по железным крышам, и он думал: зачем я это написал? Зачем я написал «больше, чем бога?» Ей было бы достаточно «больше, чем Луизу». Даже если это правда, зачем я это написал? Кругом безутешно плакало небо; а внутри у него саднило, как от незаживающей раны. Он тихо произнес вслух: «Боже, я покинул тебя. Не покинь же меня ты». Подойдя к домику Элен, Скоби просунул под дверь письмо; он услышал шорох бумаги на цементном полу – больше ничего. Он вспомнил худенькое тельце, которое несли мимо него на носилках, и с огорчением подумал: как много случилось с тех пор, и как все это было напрасно, если сейчас я говорю себе, затаив обиду: «Никогда больше она не сможет обвинить меня в осторожности».

– Я просто проходил мимо, – сказал отец Ранк, – вот и надумал к вам заглянуть. Вечерний дождь падал серыми складками, как завеса, и какой-то грузовик с ревом полз в гору.

– Входите, – сказал Скоби. – Виски у меня вышло. Но найдется пиво... или джин.

– Я видел вас сейчас наверху, возле железных домиков, вот и решил вас догнать. Я вам не помешаю?

– Я собираюсь на ужин к начальнику полиции, но у меня еще целый час впереди.

Пока Скоби доставал со льда пиво, отец Ранк беспокойно ходил по комнате.

– Луиза пишет? – спросил он.

– Писем не было уже две недели, – ответил Скоби. – Но на юге потопили несколько пароходов...

Отец Ранк опустил в казенное кресло и зажал стакан между колен. Тишина стояла полная – только дождь буравил крышу. Скоби кашлянул, и снова наступило молчание. У него появилось странное чувство, будто отец Ранк ждет приказа – совсем как один из его подчиненных.

– Дожди скоро кончатся, – сказал Скоби.

– Кажется, прошло уже шесть месяцев, как ваша жена уехала?

– Семь.

– Вы собираетесь в отпуск к ней в Южную Африку? – спросил отец Ранк, отхлебнув пива и не глядя на собеседника.

– Я отложил отпуск. Молодым отдых нужен больше, чем мне.

– Отпуск нужен каждому.

– Но вы-то пробыли здесь двенадцать лет без отпуска, отец мой.

– Ну, это совсем другое дело, – возразил отец Ранк. Он поднялся и снова беспокойно зашагал по комнате. – Иногда мне кажется, – сказал он, поворачиваясь к Скоби с каким-то умоляющим видом, – будто я вообще бездельник.

Он остановился, впериw глаза в пустоту и разведя руками, и Скоби вспомнил, как отец Клэй, бегая по комнате, вдруг посторонился от кого-то невидимого. Скоби чувствовал себя так, будто к нему обратились с просьбой, а он не знает, как на нее ответить.

– Никто здесь не работает больше вашего, отец мой, – неуверенно пробормотал он.

Волоча ноги, отец Ранк вернулся к своему креслу.

– Скорей бы кончились дожди, – сказал он.

– Как здоровье той старухи из Конго-крик? Я слышал, она умирает.

– На этой неделе отойдет. Хорошая была женщина. – Отец Ранк снова отхлебнул пива и тут же скорчился в кресле, схватившись за живот. – Газы, – сказал он. – Ну и мучают они меня!

– Вам не надо пить пиво, отец мой.

– Умиравшим – им одним я только и нужен, – сказал отец Ранк. – За мной посылают перед смертью. – Он поднял мутные от хинина глаза и произнес хриплым, безнадежным голосом: – Я никогда не приносил ни малейшей пользы живым.

– Глупости, отец мой.

– Когда я был новичком, я думал: люди открывают душу своему духовнику, и господь помогает ему найти нужные слова утешения. Не обращайтесь на меня внимания, Скоби, не слушайте меня. Это дожди виноваты – я всегда падаю духом в такую пору. Господь не помогает найти нужные слова, Скоби. У меня был когда-то приход в Нортгемптоне. Там делают обувь. Меня часто приглашали на чашку чаю, я сидел и смотрел, как разливают чай, и мы беседовали о воспитанниках сиротского дома и о починке церковной крыши. Они были очень щедрые там, в Нортгемптоне. Стоило попросить – и они уже раскошеливались. Но я не был нужен ни одной живой душе. Я думал, в Африке будет иначе. Понимаете, Скоби, я ведь не любитель книжки читать, да и не всякий миг способен воспарить душой к богу, не то что иные. Я хотел приносить пользу, вот и все. Не слушайте меня. Это дожди виноваты. Я не говорил так уже лет пять. Разве что с зеркалом. Когда люди попадают в беду, они идут к вам, а не ко мне. Меня они приглашают ужинать, чтобы узнать последние сплетни. А если бы у вас случилась беда, к кому бы вы пошли. Скоби?

И Скоби снова увидел этот мутный молящий взгляд, ожидавший и в сушь и в дожди чего-то, что никогда не случается. Не попробовать ли переложить свою ношу на эти плечи? – подумал он; не сказать ли ему, что я люблю двух женщин, что я не знаю, как мне быть? Но какой толк? Я знаю все ответы не хуже его самого. Надо спасти свою душу, не заботясь о других, а на это я не способен и никогда не буду способен. Спасительное слово нужно было не Скоби, а священнику, и Скоби не мог его подсказать.

– Я не из тех, кто попадает в беду, отец мой. Я скучный пожилой человек.

И, отведя глаза в сторону, чтобы не видеть чужого горя, он слышал, как тоскливо бубнит отец Ранк: «Ох-хо-хо».

По дороге к дому начальника полиции Скоби заглянул к себе на службу. В блокноте у него на столе было написано карандашом: «Я к вам заходил. Ничего существенного. Уилсон». Это показалось ему странным: он не видел Уилсона несколько недель, и если для этого посещения не было серьезного повода, зачем о нем сообщать? Он полез в стол за сигаретами и сразу заметил какой-то непорядок; он посмотрел внимательней: не хватало химического карандаша. Очевидно, Уилсон взял карандаш, чтобы написать записку, и забыл положить его обратно. Но зачем все-таки понадобилась записка?

В дежурной комнате сержант сообщил:

– К вам приходил мистер Уилсон.

– Да, он оставил записку.

Так вот оно что, подумал Скоби: я бы все равно узнал о том, что он был, и Уилсон решил, что лучше сказать мне об этом самому. Он вернулся в кабинет и снова осмотрел стол. Ему показалось, что папка не на месте, но он мог ошибиться. Он открыл ящик – там нет ничего интересного для кого бы то ни было. Ему бросились в глаза только разорванные четки – их давно следовало перенизывать. Он вынул их из ящика и положил в карман.

– Виски? – спросил начальник полиции.

– Спасибо, – сказал Скоби, протягивая ему бокал. – Вы-то мне доверяете?

– Да.

– Скажите, я один тут не знаю, кто такой Уилсон?

Начальник полиции откинулся в кресле и благодушно улыбнулся.

– Официально в курсе только я и управляющий отделением Объединенной Африканской компании – без него, естественно, нельзя было обойтись. Ну, еще губернатор и те, кто допущен к совершенно секретной переписке. Я рад, что вы догадались.

– Я хотел вас сказать, что ничем не обманул вашего доверия – по крайней мере до сих пор.

– Вам не нужно мне это говорить, Скоби.

– В деле двоюродного брата Таллита мы никак не могли поступить иначе.

– Само собой разумеется.

– Но я вам не рассказал одного, – продолжал Скоби. – Я занял двести фунтов у Юсефа, чтобы отправить Луизу в Южную Африку. Я плачу ему четыре процента. Это законная сделка, но если вы считаете, что это должно стоить мне головы...

– Я рад, что вы мне рассказали. Понимаете, Уилсон решил, что Юсеф вас шантажирует. Как видно, он каким-то образом разнюхал о ваших платежах.

– Юсеф не станет вымогать деньги.

– Так я ему и сказал.

– Значит, моя голова в безопасности?

– Ваша голова мне нужна. Из всех наших чиновников вы единственный, кому я доверяю.

Скоби протянул руку с пустым бокалом. Это было как рукопожатие.

– Скажите, когда хватит.

– Хватит.

С годами люди могут превратиться в близнецов: прошлое – их общая утроба; шесть месяцев дождя и шесть месяцев солнца – срок созревания братства. Эти двое понимали друг друга с полуслова. Их вышколила одна и та же тропическая лихорадка, ими владели одни и те же чувства любви и ненависти.

– Дерри сообщает о крупных хищениях на приисках.

– Промышленные камни?

– Нет, драгоценные. Юсеф или Таллит?

– Скорее Юсеф, – сказал Скоби. – Кажется, он не занимается промышленными алмазами.

Он называет их «гравием». Но кто знает!

– Через два или три дня приходит «Эсперанса». Надо быть начеку.

– А что говорит Уилсон?

– Он горой стоит за Таллита. Юсеф для него главный злодей... и вы тоже. Скоби.

– Я давно не видел Юсефа.

– Знаю.

– Я начинаю понимать, как себя чувствуют тут сирийцы... при такой слежке и доносах.

– Этот стукач доносит на всех нас. Скоби. На Фрезера, Тода, Тимблригга, на меня. Он

считает, что я слишком всем потакаю. Впрочем, это не имеет значения. Райт рвет все его доносы, поэтому Уилсон доносит и на него.

– А на Уилсона кто-нибудь доносит?

– Наверное.

В полночь Скоби направился к железным домикам; в затемненном городе он пока в безопасности: никто сейчас не следит за ним, на него не доносит; мягкая глина скрадывает шум шагов. Но, проходя мимо домика Уилсона, Скоби снова почувствовал, что ему надо вести себя крайне осторожно. На миг им овладела страшная усталость, он подумал: вернусь домой, не пойду к ней сегодня; ее последние слова были: «Больше не возвращайся» – неужели нельзя хоть раз поймать человека на слове? Он постоял в каких-нибудь двадцати шагах от домика Уилсона, глядя на полоску света между шторами. Где-то на холме вопил пьяный, и в лицо опять брызнули первые капли дождя. Скоби подумал: вернусь домой и лягу спать, утром напишу Луизе, вечером пойду к исповеди; жизнь будет простой и ясной. Он снова почувствует покой, сидя под связкой наручников в своем кабинете. Добродетель, праведная жизнь искушали его в темноте, как смертный грех. Дождь застилал глаза; размокшая земля чмокала под ногами, которые нехотя вели его к дому Элен.

Скоби постучал два раза, и дверь сразу же открылась. Пока он стучал, он молил небо, чтобы за дверью все еще пылал гнев и его приход оказался ненужным. Он не мог закрыть глаза и заткнуть уши, если в нем кто-нибудь нуждался. Ведь он не сотник, он всего только воин, выполняющий приказы сотников, и, когда отворилась дверь, он сразу понял, что снова получит приказ – ему прикажут остаться, любить, нести ответственность, лгать.

– Ох, родной, – сказала она, – а я думала, ты уж не придешь. Я так тебя облаяла.

– Как же мне не прийти, если я тебе нужен!

– Правда?

– Да, пока я жив.

Господь может и потерпеть, подумал он; как можно любить господа в ущерб одному из его созданий? Разве женщина примет любовь, ради которой ей надо принести в жертву своего ребенка?

Прежде чем зажечь свет, они тщательно задернули шторы; их связывала осторожность, как других связывают дети.

– Я целый день боялась, что ты не придешь, – сказала она.

– Ты же видишь – я пришел.

– Я тебя прогнала. Никогда не обращай внимания, если я буду тебе гнать. Обещай мне.

– Обещаю, – сказал он с таким отчаянием, словно наперед зачеркивал свое будущее.

– Если бы ты не вернулся... – начала она и задумалась, освещенная с двух сторон лампами.

Она вся ушла в себя, нахмурилась, стараясь решить, что бы тогда с ней было. – Не знаю. Может, я бы спуталась с Багстером или покончила с собой, а может быть, и то и другое. Пожалуй, и то и другое.

– Не смей об этом думать, – с тревогой сказал он. – Я всегда буду с тобой, если я тебе нужен, всегда, пока жив.

– Зачем ты все повторяешь «пока жив»?

– Между нами тридцать лет разницы.

Впервые за этот вечер, они поцеловались.

– Я не чувствую никакой разницы, – сказала она.

– Почему ты думала, что я не приду? – спросил он. – Ты же получила мое письмо.

– Твое письмо?

– Ну да, которое я просунул под дверь вчера ночью.

– Я не видела никакого письма, – испуганно сказала она. – Что ты написал?

Он коснулся ее щеки и улыбнулся, чтобы скрыть тревогу.

– Все. Мне надоело осторожничать. Я написал все.

– Даже свою фамилию?

– Кажется, да. Так или иначе, оно написано моей рукой.

– Там у двери циновка. Наверно, оно под циновкой.

Но оба уже знали, что письма там нет. Они как будто всегда предвидели, что беда войдет к ним через эту дверь.

– Кто мог его взять?

Он попытался ее успокоить.

– Наверно, слуга его просто выбросил как ненужную бумажку. Оно было без конверта.

Никто не узнает, кому оно адресовано.

– Как будто в этом дело! – сказала она. – Знаешь, мне стало нехорошо. Честное слово, нехорошо. Кто-то хочет свести с тобой счеты. Жаль, что я не умерла тогда в лодке.

– Господи, что ты придумываешь! Должно быть, я недостаточно далеко сунул записку.

Когда утром слуга открыл дверь, бумажку унесло ветром и ее затоптали в грязи.

Он старался говорить как можно убедительнее, в конце концов, и это было возможно.

– Не позволяй, чтобы я причиняла тебе зло, – молила она, и каждая ее фраза еще крепче приковывала его к Элен.

Он протянул к ней руку и солгал, не дрогнув:

– Ты никогда не причинишь мне зла. Не расстраивайся из-за письма. Я преувеличиваю. В нем, собственно, ничего и не было – ничего, что могли бы понять посторонние. Не расстраивайся, дружочек.

– Послушай, родной. Не оставайся у меня сегодня. Я чего-то боюсь. У меня такое чувство, будто за нами следят. Прощайся со мной и уходи. Но смотри, вернись. Слышишь, родной, непременно вернись.

Когда он проходил мимо домика Уилсона, там еще горел свет. Он открыл дверь своего дома, погруженного в темноту, и заметил белевшую на полу бумажку. Он даже вздрогнул: неужели пропавшее письмо вернулось, как возвращается домой кошка? Но когда он поднял бумажку с пола, она оказалась другим любовным посланием. Это было не его письмо, а телеграмма, адресованная ему в полицейское управление; чтобы ее не задержала цензура, подписана она была полностью: Луиза Скоби. Его точно ударил боксер, прежде чем он успел заслониться, «Еду домой была дурой подробности письмом точка целую» – и подпись, официальная, как круглая печать.

Он опустился на стул и произнес вслух: «Мне надо подумать»; к горлу подступила тошнота. Если бы я не написал того письма, мелькнуло у него в голове, если бы я поймал Элен на слове и ушел от нее, как просто все бы опять устроилось в моей жизни. Но он вспомнил свои слова, сказанные каких-нибудь десять минут назад: «Как же мне не прийти, если я тебе нужен... пока я жив»; эта клятва была такой же нерушимой, как клятва у алтаря в Илинге. С океана доносился ветер; дожди кончались так же, как начинались, – ураганом. Шторы надулись парусом, он подбежал и захлопнул окна. Наверху в спальне ветер раскачивал створки окон, чуть не срывая их с крючков. Он их тоже закрыл, повернулся и бросил взгляд на пустой туалетный столик, куда вскоре возвратятся баночки и фотографии, – особенно та, фотография ребенка. Ну чем не счастливчик, подумал он, раз в жизни мне ведь все-таки повезло. Ребенок в больнице назвал его «папой», когда тень зайчика легла на подушку; мимо пронесли на носилках девушку, сжимавшую альбом с марками... Почему я, подумал он, почему им нужен я, скучный, пожилой полицейский чиновник, не сумевший даже продвинуться по службе? Я не в силах им дать

больше того, что они могли бы получить у других; почему же они не оставят меня в покое? Есть ведь другие, и моложе, и лучше, у них найдешь и любовь и уверенность в завтрашнем дне. Порой ему казалось, что он может поделиться с ними только своим отчаянием.

Опершись о туалетный столик, он попробовал молиться. «Отче наш» звучало мертво, как прошение в суд: ведь ему мало было хлеба насущного, он хотел куда больше. Он хотел счастья для других, одиночества и покоя для себя. «Не хочу больше заглядывать вперед, – громко произнес он вдруг, – стоит мне только умереть, и я не буду им нужен. Мертвый никому не нужен. Мертвого можно забыть. Боже, пошли мне смерть, пока я не принес им беды». Но слова эти звучали, как в плохой мелодраме. Он сказал себе, что нельзя впадать в истерику; он не мог себе этого позволить – ведь еще столько надо решить; и, спускаясь снова по лестнице, он подумал: три или четыре таблетки аспирина – вот что нужно в моем положении, в моем отнюдь не оригинальном положении. Он вынул из ледника бутылку фильтрованной воды и распустил в стакане аспирин. А каково было бы выпить отраву вот так, как он пьет сейчас аспирин, от которого саднит в горле? Священники твердят, что это смертный грех, последняя ступень отчаяния нераскаявшегося грешника. Конечно, с учением церкви не спорят, но те же священники учат, что бог иногда нарушает свои законы; а разве ему труднее протянуть руку всепрощения во тьму и хаос души человека, готового наложить на себя руки, чем восстать из гроба, отвалив камень? Христа не убили – какой же он бог, если его можно убить, Христос сам покончил с собой; он повесился на кресте, так же как Пембертон на крюке для картины.

Скоби поставил стакан и снова подумал: нельзя впадать в истерику. В его руках счастье двух людей, и он должен научиться хладнокровно обманывать. Важнее всего спокойствие. Вынув дневник, он записал под датой «Среда, 6 сентября»: «Ужинал у комиссара. Плодотворная беседа насчет У. Заходил на несколько минут к Элен. Телеграмма от Луизы, она едет домой».

Он помедлил минутку и добавил: «Перед ужином зашел выпить пива отец Ранк. Немного переутомлен. Нуждается в отпуске». Перечитав написанное. Скоби вымарал последние две фразы: он редко позволял себе высказывать в дневнике собственное мнение.

Весь день у него из головы не выходила телеграмма; привычная жизнь – два часа в суде по делу о лжесвидетельстве – казалось нереальной, как страна, которую покидаешь навеки. Говоришь себе: в этот час в таком-то селении люди, которых я знал, садятся за стол так же, как и год назад, когда я там был; но ты не уверен, что в твое отсутствие жизнь не выглядит совсем иначе. Мысли Скоби были поглощены телеграммой и безыменным пароходом, плывшим сейчас с юга вдоль африканского побережья. Боже, прости меня, подумал он, когда в его мозгу мелькнула мысль, что пароход может и не дойти. В сердце у нас живет безжалостный тиран, готовый примириться с горем множества людей, если это принесет счастье тем, кого мы любим.

Когда кончили слушать дело о лжесвидетельстве, его поймал у двери санитарный инспектор Феллоуз.

– Приходите сегодня ужинать. Скоби. Мы достали настоящую аргентинскую говядину. – В этом потерявшем всякую реальность мире не стоило отказываться от приглашения. – Будет Уилсон, – продолжал Феллоуз. – По правде говоря, говядину мы достали через него. Он ведь как будто вам нравится?

– Да. Я думал, он не нравится вам.

– Понимаете ли, клубу нельзя отставать от жизни. Кто только теперь не занимается коммерцией... Я признаю, что в тот раз погорячился. А может, выпил лишнего – что тут удивительного. Уилсон учился в Даунхеме. Когда я был в Лансинге, мы играли с даунхемцами в футбол.

Скоби ехал к знакомому дому на горе, где он когда-то жил, и рассеянно думал: мне надо поскорее увидеть Элен, она не должна узнать о приезде Луизы от посторонних. Жизнь повторяет один и тот же узор: рано или поздно всегда приходится сообщать дурные вести, произносить утешительную ложь, пить рюмку за рюмкой, чтобы утопить горе.

Скоби вошел в длинную гостиную и в самом конце ее увидел Элен. Он с удивлением вспомнил, что никогда еще не встречал ее на людях, в чужом доме; никогда еще не видел ее в вечернем платье.

– Вы, кажется, знакомы с миссис Ролт? – спросил Феллоуз.

В голосе его не было иронии. Скоби подумал с легким отвращением к себе: ну и хитрецы же мы, как ловко провели здешних сплетников. Любовникам не к лицу так умело скрываться. Ведь любовь считают чувством безрассудным, неукротимым.

– Да, – сказал он, – мы с миссис Ролт старые друзья. Я был в Пенде, когда ее переправили через границу.

Пока Феллоуз смешивал коктейли, Скоби стоял в нескольких шагах от нее и смотрел, как она разговаривает с миссис Феллоуз; Элен болтала легко, непринужденно, словно и не было той минуты в темной комнате на холме, когда она вскрикнула в его объятиях. А полюбил бы я ее, думал он, если бы, войдя сюда сегодня, увидел ее впервые?

– Где ваш бокал, миссис Ролт?

– У меня был налит розовый джин.

– Жаль, что его не пьет моя жена. А я терпеть не могу ее джин с апельсиновым соком.

– Если бы я знал, что вы здесь будете, – сказал Скоби, – я бы за вами заехал.

– Да, обидно, – согласилась Элен. – Вы никогда ко мне не заходите. – Она повернулась к Феллоузу и сказала с ужаснувшей Скоби непринужденностью: – Мистер Скоби был удивительно добр ко мне в больнице, но, по-моему, он просто любит больных.

Феллоуз погладил свои рыжие усики, подлил себе еще джину и произнес:

– Он вас боится, миссис Ролт. Все мы, женатые люди, вас побаиваемся.

При этих словах – «женатые люди» – Скоби увидел, как измученное, усталое лицо на носилках отвернулось от них обоих, словно в глаза ударил солнечный свет.

– Как вы считаете, – спросила она с напускной игривостью, – могу я выпить еще бокал? Я не опьянею?

– А вот и Уилсон, – сказал Феллоуз, и, в самом деле, они увидели розового, невинного, не верящего даже самому себе Уилсона в его криво намотанном тропическом поясе. – Вы ведь, со всеми знакомы? С миссис Ролт вы соседи.

– Но мы еще не познакомились, – сказал Уилсон и тут же начал краснеть.

– Не знаю, что это творится с нашими мужчинами, – заметил Феллоуз. – Вот и со Скоби вы близкие соседи, миссис Ролт, а почему-то никогда не встречаетесь, – тут Скоби поймал на себе пристальный взгляд Уилсона. – Уж я бы не зевал! – закончил Феллоуз, разливая джин.

– Доктор Сайкс, как всегда, опаздывает, – заметила с другого конца гостиной миссис Феллоуз, но тут, тяжело шагая по ступенькам веранды, появилась доктор Сайкс, благоразумно одетая в темное платье и противомоскитные сапоги.

– Вы еще успеете выпить перед ужином, Джесси, – сказал Феллоуз. – Что вам налить?

– Двойную порцию виски, – сказала доктор Сайкс. Она свирепо оглядела всех сквозь очки с толстыми стеклами и добавила: – Приветствую вас.

По дороге в столовую Скоби успел сказать Элен.

– Мне надо с вами поговорить, – но, поймав взгляд Уилсона, добавил: – Насчет вашей мебели.

– Какой мебели?

– Кажется, я смогу достать вам еще стульев.

Они были слишком неопытными заговорщиками, еще не освоили тайный код; он так и не знал, поняла ли она недоговоренную им фразу. Весь ужин он сидел, словно воды в рот набрал, со страхом ожидая минуты, когда останется с ней наедине, и в то же время боясь упустить эту минуту; стоило ему сунуть руку в карман за носовым платком, и его пальцы комкали телеграмму: «...была душой... точка целую».

– Конечно, майору Скоби лучше знать, – сказала доктор Сайкс.

– Простите. Я не расслышал...

– Мы говорим о деле Пембертона.

Итак, не прошло и несколько месяцев, как это уже стало «делом». А когда что-нибудь становилось «делом», кажется, что речь идет уже не о человеке; в «деле» не остается ни стыда, ни страдания; мальчик на кровати обмыт и обряжен, – пример из учебника психологии.

– Я говорил, что Пембертон избрал непонятный способ покончить с собой, – сказал Уилсон. – Я бы предпочел снотворное.

– В Бамбе трудно достать снотворное, – заметила доктор Сайкс. – А его решение, вероятно, было внезапным.

– Я бы не стал поднимать такой скандал, – сказал Феллоуз. – Конечно, всякий вправе распоряжаться своей жизнью, но зачем поднимать скандал? Я совершенно согласен с Уилсоном: глотни лишнюю дозу снотворного – и все.

– Не так-то легко достать рецепт, – сказала доктор Сайкс.

Комкая в кармане телеграмму. Скоби вспомнил письмо за подписью «Дикки», детский почерк, прожженные сигаретами ручки кресел, детективные романы, муки одиночества. Целых два тысячелетия, подумал он, мы же равнодушно обсуждаем страдания Христа.

– Пембертон всегда был парень недалекоий, – заявил Феллоуз.

– Снотворное – не особенно верное средство, – сказала доктор Сайкс. Она повернула к

Скоби толстые стекла очков, отражавших электрический шар под потолком и сверкавших, как огни маяка. – Вы ведь по опыту знаете, как оно ненадежно. Страховые компании не любят платить, когда человек умер от снотворного, и ни один следователь не станет потворствовать преднамеренному обману.

– А почему они знают, что это обман? – спросил Уилсон.

– Возьмите, например, люминал. Нельзя случайно принять такую большую дозу люминала...

Скоби посмотрел через стол на Элен – она ела вяло, без аппетита, уставившись в тарелку. Казалось, молчание обособляет их от окружающих: обсуждалась тема, о которой несчастные не могут говорить спокойно. Он снова заметил, что Уилсон наблюдает за ними обоими, и стал отчаянно искать тему, которая вовлекла бы его и Элен в общую беседу. Они даже не могли безнаказанно помолчать вдвоем.

– А какой способ порекомендовали бы вы, доктор Сайкс? – спросил он.

– Что ж, бывают несчастные случаи во время купанья... но даже это может показаться подозрительным. Если человек достаточно смел, он бросается под машину, но это уж совсем ненадежно.

– И заставляет отвечать другого, – сказал Скоби.

– Лично мне бы это не составило никакого труда, – заявила доктор Сайкс, скаля зубы и поблескивая очками. – Пользуясь своим положением, я поставила бы себе ложный диагноз грудной жабы, а потом попросила бы кого-нибудь из коллег прописать мне...

– Черт знает что! – с неожиданной резкостью прервала ее Элен. – Вы не имеете права рассказывать...

– Милочка, – сказала доктор Сайкс, поворачивая к ней злоешие огни своих окуляров, – если бы вы столько лет были врачом, сколько я, вы бы знали что в этом обществе можно говорить откровенно. Вот уж не думаю, чтобы кто-нибудь из нас...

– Возьмите еще салату, миссис Ролт, – сказала миссис Феллоуз.

– Вы не католичка, миссис Ролт? – спросил Феллоуз. – Католики придерживаются на этот счет твердых взглядов.

– Нет, я не католичка.

– Но я ведь верно говорю насчет католиков, Скоби?

– Нас учат, что самоубийство – смертный грех, – сказал Скоби.

– И что самоубийца попадет в ад?

– В ад.

– А вы в самом деле серьезно верите в ад, майор Скоби? – спросила доктор Сайкс.

– Да, верю.

– С вечным пламенем и муками?

– Пожалуй, не совсем так. Нас учат, что ад – это, скорее, чувство вечной утраты.

– Ну, _меня_ бы такой ад не испугал, – заявил Феллоуз.

– Может быть, вы никогда не теряли того, что вам дорого, – сказал Скоби.

Гвоздем ужина была аргентинская говядина. Когда с ней покончили, гостей ничего больше не удерживало: миссис Феллоуз не играла в карты. Феллоуз принялся разливать пиво, а Уилсон очутился между двух огней – угрюмо молчавшей миссис Феллоуз и болтливой Сайкс.

– Давайте подышим свежим воздухом, – предложил Скоби Элен.

– А это разумно?

– Они будут удивлены, если мы этого не сделаем, – сказал Скоби.

– Идете полюбоваться на звезды? – крикнул им вдогонку Феллоуз, продолжая разливать пиво. – Спешите наверстать упущенное, а, Скоби? Захватите свои бокалы.

Они поставили бокалы на узкие перила веранды.

– Я не нашла письма, – сказала Элен.

– Бог с ним, с письмом.

– Разве ты не об этом хотел поговорить?

– Нет, не об этом.

Он видел ее профиль на фоне неба, которое вот-вот затянет дождевыми тучами.

– Дружок, – сказал он, – у меня дурные вести.

– Кто-нибудь узнал?

– Нет, никто не узнал. Вчера вечером я получил телеграмму от жены. Она едет домой.

Один из бокалов упал с перил и со звоном разбился во дворе.

Губы с горечью повторили: «домой», точно до нее дошло одно лишь это слово. Он провел рукой по перилам, но не нашел ее руки.

– К себе домой, – поспешил он сказать. – Моим домом он никогда больше не будет.

– Нет, будет. Теперь-то уж будет.

Он произнес осторожную клятву:

– Я никогда больше не захочу иметь дом, в котором нет тебя.

Тучи закрыли луну, и лицо Элен исчезло, словно внезапным порывом ветра задуло свечу. Ему показалось, будто теперь он пускается в более дальний путь, чем собирался когда-нибудь прежде, а если оглянется назад, то за спиной у себя увидит одну только выжженную землю. Вдруг распахнулась дверь, на них упал сноп света.

– Не забывайте о затемнении! – резко сказал Скоби и подумал: слава богу, мы не стояли обнявшись, но как выглядели наши лица?

– Мы слышали звон стекла и решили, что вы тут подрались, – произнес голос Уилсона.

– Миссис Ролт осталась без пива.

– Ради бога, зовите меня Элен, – тоскливо сказала она. – Все меня так зовут, майор Скоби.

– Я вам не помешал?

– Помешали. Тут произошла сцена, полная необузданной страсти, – сказала Элен. – До сих пор не могу опомниться. Хочу домой.

– Я вас отвезу, – сказал Скоби. – Уже поздно.

– Я вам не доверяю, а кроме того, доктор Сайкс умирает от желания поговорить с вами о самоубийствах. Не хочу портить другим вечер. У вас есть машина, мистер Уилсон?

– Да. Я с удовольствием вас отвезу.

– Вы можете меня отвезти и сразу же вернуться.

– Я и сам рано ложусь, – сказал Уилсон.

– Тогда я только пожелаю вам спокойной ночи.

Когда Скоби снова увидел ее лицо при свете, он подумал: уж не зря ли я волнуюсь? Может быть, для нее это только конец неудачного романа? Он слышал, как она говорит миссис Феллоуз:

– Аргентинская говядина была просто объедение.

– Нам надо благодарить за это мистера Уилсона.

Фразы летали взад и вперед, как теннисные мячи. Кто-то (не то Феллоуз, не то Уилсон) рассмеялся и сказал: «Ваша правда», а очки доктора Сайкс просигналили на потолке: точка – тире – точка. Он не мог выглянуть и посмотреть, как отошла машина, – надо было соблюдать затемнение; он только слушал, как кашлял и кашлял мотор, когда его запустили, как он застучал сильнее, а затем постепенно снова наступила тишина.

– Не надо было так скоро выписывать миссис Ролт из больницы, – сказала доктор Сайкс.

– Почему?

– Нервы. Я это почувствовала, когда она пожала мне руку.

Он выждал еще полчаса и поехал домой. Как и всегда, Али его ждал, прикорнув на ступеньках кухни. Он осветил Скоби карманным фонариком дорогу до двери.

– Госпожа прислала письмо, – сказал он и вынул письмо из кармана рубашки.

– Отчего ты не положил его ко мне на стол?

– Там господин.

– Какой господин?

Но он уже открыл дверь и увидел Юсефа – тот спал, вытянувшись в кресле, и дышал так тихо, что волосы у него на груди не шевелились.

– Я сказал ему: уходи, – сердито шепнул Али, – но он остался.

– Хорошо. Иди спать.

У него было такое ощущение, будто жизнь хватает его за горло. Юсеф не появлялся здесь с той самой ночи, когда приходил узнать, хорошо ли устроилась на пароходе Луиза, и расставил ловушку для Таллита. Тихонько, чтобы не разбудить спящего и оттянуть неприятный разговор, Скоби развернул записку Элен. Наверно, она написала ее, как только вернулась домой. Он прочел:

«Родной мой, все это очень сложно. Я не могу тебе этого сказать и вот пишу письмо. Но я отдам его только Али. Ты доверяешь Али. Когда я услышала, что твоя жена возвращается...»

Юсеф открыл глаза.

– Простите, майор Скоби, что я к вам ворвался.

– Хотите выпить? Есть пиво и джин. Виски все вышло.

– Позвольте прислать вам ящик?... – механически начал Юсеф, но тут же рассмеялся. – Я все забываю. Я ничего не должен вам посылать.

Скоби сел за стол и положил перед собой записку. Ничто на свете не могло быть важнее того, что там написано.

Он спросил:

– Что вам нужно, Юсеф? – и продолжал читать:

«Когда я услышала, что твоя жена возвращается, я огорчилась, пришла в бешенство. Это было глупо с моей стороны. Ты ни в чем не виноват. Ты католик. Я бы хотела, чтобы ты не был католиком, но ты ведь все равно не любишь изменять своему слову».

– Дочитывайте, дочитывайте, майор Скоби, я могу подождать.

– Пустяки, сказал Скоби, с усилием отрывая глаза от крупных детских букв и этого «доверяешь», от которого у него сжалось сердце. – Скажите, что вам нужно, Юсеф.

Глаза его невольно вернулись к письму.

«Вот почему я тебе и пишу. Потому, что вчера вечером ты обещал не оставлять меня, а я не хочу чтобы ты связывал себя обещаниями. Родной мой, все твои обещания...»

– Клянусь вам, майор Скоби, когда я одолжил вам деньги, это было по дружбе, только по дружбе. Я ничего не хотел, ничего, даже четырех процентов. Я не смел просить взамен даже вашей дружбы... Я сам был вашим другом... Я путаюсь, майор Скоби, со словами так трудно сладить...

– Да вы не нарушили сделки, Юсеф. Я на вас не в обиде из-за истории с двоюродным

братом Таллита.

Он продолжал читать:

«...принадлежит твоей жене. Что бы ты мне ни говорил, это не обещание. Пожалуйста, пожалуйста, так и запомни. Если ты больше не хочешь меня видеть – не пиши, не говори мне ни слова. А если, родной мой, ты когда-нибудь захочешь меня видеть – встречайся со мной иногда. Я буду лгать, как ты мне велишь».

– Дочитайте до конца, майор Скоби. Я хочу вам сказать что-то очень, очень важное.

«Родной мой, родной мой, брось меня, если хочешь, или сделай меня, если хочешь, своей соложницей».

Она только слышала это слово, подумал он, она никогда не видала его на бумаге, его вычеркивают из школьных изданий Шекспира.

«Спокойной ночи. Не волнуйся, родной мой».

– Ладно, Юсеф, – зло сказал он. – Что у вас там стряслось?

– В конце концов, майор Скоби, мне все-таки приходится просить вас об услуге. Это не имеет никакого отношения к тому, что я вам одолжил деньги. Уважьте мою просьбу по дружбе, просто по дружбе.

– Говорите, в чем дело, Юсеф, уже поздно.

– Послезавтра приходит «Эсперанса». Мне нужно доставить на борт и передать капитану маленький пакетик.

– Что в нем такое?

– Не спрашивайте, майор Скоби. Я ваш друг. Я бы предпочел, чтобы вы ничего не знали. Никому это не повредит.

– Разумеется, Юсеф, я не могу этого сделать. Сами понимаете.

– Честное слово, майор Скоби... – он наклонился вперед и приложил руку к черной шерсти на своей груди, – говорю вам, как друг: в пакете нет ничего, ровно ничего для немцев. Это не промышленные алмазы.

– Драгоценные камни?

– Там нет ничего для немцев. Ничего, что могло бы повредить вашей стране.

– Вы же сами не верите, Юсеф, что я на это пойду.

Тесные тиковые брюки съехали на самый краешек стула; на мгновение Скоби подумал, что Юсеф сейчас встанет перед ним на колени.

– Майор Скоби, – сказал он, – умоляю вас... Для вас это так же важно, как для меня. – Голос его задрожал от неподдельного волнения. – Я хочу быть вашим другом. Я хочу быть вашим другом.

– Должен предупредить вас заранее, – сказал Скоби, – окружной комиссар знает о том, что я у вас занял деньги.

– Понятно. Понятно. Но дело обстоит куда хуже. Честное слово, майор Скоби, от того, о чем я вас прошу, никому не будет вреда. Сделайте это по дружбе, и я никогда больше у вас ничего не попрошу. Сделайте по доброй воле, майор Скоби. Это не взятка. Я не предлагаю никакой взятки.

Глаза его вернулись к письму: «Родной мой, все это очень сложно». Буквы плясали у него перед глазами. Сложно... Он прочел «служба». Служба, слуга, раб... Раб рабов божиих... Это

было как опрометчивый приказ, которого все же нельзя послушаться. Ну вот, теперь он навеки отрекается от душевного покоя. Он знал, что ему грозит, и с открытыми глазами вступал в страну лжи, сам себе отрезав дорогу назад.

– Что вы сказали, Юсеф? Я не расслышал...

– Я еще раз прошу вас...

– Нет, Юсеф.

– Майор Скоби, – Юсеф вдруг выпрямился в кресле и заговорил официальным тоном, словно к ним присоединился кто-то посторонний и они уже не были одни. – Вы помните Пембертона?

– Конечно.

– Его слуга перешел на службу ко мне.

– Слуга Пембертона... – («Что бы ты мне ни говорил, это не обещание».)

– Слуга Пембертона теперь слуга миссис Ролт. – Глаза Скоби были по-прежнему прикованы к письму, но он уже его не видел. – Слуга миссис Ролт принес мне письмо. Понимаете, я приказал ему... глядеть в оба... Я правильно говорю?

– Вы на редкость точно выражаетесь по-английски, Юсеф. Кто вам его прочел?

– Неважно. – Официальный голос вдруг замер, и прежний Юсеф взмолился снова: – Ах, майор Скоби, что заставило вас написать такое письмо? Вы сами напросились на неприятности.

– Нельзя же всегда поступать разумно, Юсеф. Можно умереть с тоски.

– Вы же понимаете, это письмо отдает вас в мои руки.

– Это бы еще ничего. Но отдать в ваши руки троих...

– Если бы только вы по дружбе пошли мне навстречу...

– Продолжайте, Юсеф. Шантаж надо доводить до конца. Ведь вы не можете остановиться на полдороге.

– Охотнее всего я зарыл бы этот пакет в землю. Но война идет не так, как хочется, майор Скоби. Я делаю это не ради себя, а ради отца и матери, единокровного брата, трех родных сестер... а у меня есть еще и двоюродные.

– Да, семья большая.

– Понимаете, если англичан разобьют – все мои лавки не стоят и ломаного гроша.

– Что вы собираетесь делать с моим письмом?

– Я узнал от одного телеграфиста, что ваша жена выехала домой. Ей передадут письмо, как только она сойдет на берег.

Он вспомнил телеграмму, подписанную «Луиза Скоби»: «...была дурой... точка целую». Ее ждет холодная встреча, подумал он.

– А если я отдам ваш пакет капитану «Эсперансы»?

– Мой слуга будет ждать вас на пристани. Как только вы ему отдадите расписку капитана, он передаст вам конверт с вашим письмом.

– Вы вашему слуге доверяете?

– Так же, как вы Али.

– А что, если я потребую сперва письмо и дам вам честное слово...

– Шантажист наказан тем, что он не верит и в чужую честь. И вы были бы вправе меня обмануть.

– Но что, если обманете вы?

– А я обмануть не вправе. К тому же я был вашим другом.

– Вы чуть было им не стали, – нехотя согласился Скоби.

– Я совсем как тот подлый индиец.

– Какой индиец?

– Который выбросил жемчужину, – грустно сказал Юсеф. – Это было в пьесе Шекспира, ее играли артиллеристы в концертном зале. Я это навсегда запомнил.

– Что ж, – сказал Дрюс, – к сожалению, пора приниматься за дело.

– Еще бокал, – сказал капитан «Эсперансы».

– Нельзя, если вы хотите, чтобы мы отпустили вас до того, как поставят бонны. Пока, Скоби. Когда дверь каюты закрылась, капитан сказал сдавленным голосом:

– Видите, я еще здесь.

– Вижу. Я же говорил вам, случаются ошибки; документы теряют, протоколы засылают не туда, куда надо.

– Я в это не верю, – сказал капитан. – Я верю, что вы меня выручили. – В душной каюте он потихоньку исходил потом. – Я молюсь за вас во время обедни, – добавил он, – и привез вам вот это. В Лобито мне не удалось найти ничего лучшего. Эту святую мало кто знает. – Он пододвинул Скоби через стол образок размером в пятицентовую монету. – Святая... не запомнил ее имени. Кажется, она имела какое-то отношение к Анголе, – пояснил он.

– Спасибо, – сказал Скоби. Пакет в кармане казался тяжелым, как револьвер. Скоби дал последним каплям портвейна стечь на дно, а потом выпил и их. – На этот раз я принес кое-что вам. – Несказанное отвращение свело его руку.

– Мне?

– Да.

Каким невесомым был на самом деле этот пакетик, лежавший сейчас между ними на столе. То, что оттягивало карман как револьвер, весило теперь чуть больше пачки сигарет.

– В Лиссабоне вместе с лоцманом к вам поднимется на борт один человек и спросит, нет ли у вас американских сигарет. Вы отдадите ему этот пакетик.

– Это правительственное поручение?

– Нет. Государство никогда так щедро не платит. – Он положил пачку денег на стол.

– Странно... – сказал капитан с каким-то огорчением. – Вы же теперь у меня в руках.

– Раньше вы были в руках у меня, – напомнил Скоби.

– Этого я не забуду. И моя дочь тоже. Она хоть и замужем за безбожником, но сама женщина верующая. Она тоже за вас молится.

– Чего стоят наши молитвы?

– Будь на то воля божия, и они вознесутся к небу, как стая голубей, – сказал капитан, смешно и трогательно вздевая толстые руки.

– Ну что ж, я буду рад, если вы за меня помолитесь.

– Вы, конечно, можете на меня положиться.

– Не сомневаюсь. А сейчас я должен обыскать вашу каюту.

– Видно, вы-то на меня и не очень полагаетесь.

– Этот пакет не имеет отношения к войне, – сказал Скоби.

– Вы в этом уверены?

– Да, почти.

Он приступил к обыску. Проходя мимо зеркала, он заметил, что у него за плечами появилось чье-то чужое лицо: толстое, потное, не заслуживающее доверия. Он удивился – кто

бы это мог быть? Но сразу же понял, что не узнал этого лица потому, что на нем появилось непривычное выражение жалости. И подумал: неужели я стал одним из тех, кого жалеют?

Дожди кончились, и от земли шел пар. Мухи тучами висели в воздухе, больница была полна людьми, страдающими малярией. Дальше, на побережье, люди мерли от черной лихорадки, и все же на некоторое время наступило облегчение. Казалось, что теперь, когда дождь перестал барабанить по железным крышам, в мире опять воцарилась тишина. Густой аромат цветов на улицах заглушал запах обезьяньего питомника в коридорах полиции. Через час после того, как боны были сняты, пришел без всякого эскорта пароход с юга.

Скоби выехал на полицейском катере, как только пароход бросил якорь. У него даже язык онемел, так долго он подбирал выражения потеплее и поискреннее. Как далеко я зашел, думал он, если мне надо заранее сочинять ласковые слова. Он надеялся, что встретится с Луизой на людях – ему будет легче поздороваться с ней в присутствии посторонних, – но на палубе и в салонах ее не было. Ему пришлось спросить у судового казначея номер ее каюты.

Он все надеялся, что и там она будет не одна. В каюте сейчас помещали не меньше шести пассажиров.

Но когда он постучал и дверь отворилась, там не было никого, кроме Луизы. Он чувствовал себя, как коммивояжер, который стучит в чужой дом, навязывая свой товар. Он произнес «Луиза?» – словно не был уверен, что это она.

– Генри! Входи же, – сказала Луиза.

Когда он вошел в каюту, им пришлось поцеловаться. Ему не хотелось целовать ее в губы – губы могут выдать, что у тебя на душе, – но она не успокоилась, пока не притянула к себе его голову и не оставила печать своего возвращения у него на губах.

– Ах, дорогой, вот я и приехала.

– Вот ты и приехала, – повторил он, мучительно вспоминая слова, которые он приготовил.

– Они тут ужасно милые, – объяснила она. – Разбрелись, чтобы мы могли побыть с тобой вдвоем.

– Ты хорошо доехала?

– По-моему, как-то раз нас чуть было не потопили.

– Я очень волновался, – сказал он и подумал: вот и первая ложь. Лиха беда начало. – Я так по тебе соскучился.

– Я была ужасная дура, что уехала.

Дома за иллюминатором сверкали в знойном мареве, как кусочки слюды. Каюта была пропитана запахом женского тела, несвежего белья, пудры и лака для ногтей. Он сказал:

– Давай поедem на берег.

Но она еще не хотела его отпускать.

– Дорогой, там без тебя я приняла несколько решений. Теперь у нас все будет по-другому. Трепать нервы я тебе больше не буду. – Она повторила: – Теперь все будет по-другому. – А он с грустью подумал, что по крайней мере это – правда, невеселая правда.

Али с младшим слугой вносили сундуки, а он смотрел в окно на вершину холма, где стояли домики из рифленого железа, и ему казалось, что внезапный обвал создал между ним и этими

домиками непреодолимую преграду. Они были теперь так от него далеко, что сначала он почувствовал даже не боль, а легкую печаль, как от воспоминаний детства. Откуда пошла вся эта ложь, подумал он, неужели все началось с того моего письма? Неужели я люблю ее больше, чем Луизу? А если заглянуть себе в самую глубину души, люблю ли я хоть одну из них – может, это всего лишь острая жалость, которая откликается на всякую человеческую беду... и только усугубляет ее? Человек в беде требует, чтобы ты служил ему безраздельно.

Тишину и одиночество вытеснил грохот: наверху вбивали гвозди, кидали на пол тяжести, от которых дрожал потолок. Слышался громкий голос Луизы, весело отдававшей короткие приказания. На туалетном столе что-то задрезало. Скоби поднялся наверх и с порога снова увидел глядящее на него лицо девочки в белой вуали – мертвые тоже вернулись домой. Жизнь без мертвых сама на себя не похожа. Москитная сетка висела над двухспальной кроватью, как дымчатый призрак.

– Ну вот, Али, и хозяйка вернулась, – сказал он с подобием улыбки; вот и все, что он сумел изобразить во время этого спектакля. – Теперь мы опять все вместе.

Ее четки, как маленькое озеро, лежали на туалете; он вспомнил о разорванных четках у себя в кармане. Как долго он собирался их перенизывать, но теперь это уж вряд ли имеет смысл.

– Ну, дорогой, здесь я все разобрала, – сказала Луиза. – Остальное доделает Али. Мне столько тебе надо рассказать!... – Она пошла за ним вниз и тут же заметила: – Надо выстирать занавески.

– Грязи на них не видно.

– Бедненький, ты конечно не замечаешь, но на мой свежий глаз... Нет, книжный шкаф мне теперь нужен побольше. Я с собой привезла уйму книг.

– Ты мне еще не сказала, из-за чего ты...

– Милый, ты только надо мной не смейся! Это так глупо. Но вдруг я поняла, какая я была дура, что так переживала эту историю с твоим назначением. Когда-нибудь я тебе расскажу, и тогда смейся сколько хочешь. – Она протянула руку и чуть-чуть игриво дотронулась до него. – Ты и в самом деле рад?...

– Очень, – сказал он.

– Знаешь, что меня беспокоило? Я ужасно боялась, не забудешь ли ты тут без меня, что ты верующий. Тебя ведь, бедняжку, всегда приходится подгонять!

– Боюсь, что я был не очень прилежным католиком.

– Ты часто пропускал мессу?

– Да, я почти не бывал в церкви, – признался он с натянутой улыбкой.

– Ах, Тикки... – она сразу же поправилась: – Генри, дорогой, пусть я сентиментальна, но завтра воскресенье, давай поедем вместе к причастию! В знак того, что мы все начали сначала, по-хорошему.

Просто поразительно, до чего трудно все предусмотреть; вот об этом он не подумал.

– Конечно, – сказал он, но мозг его был словно парализован.

– Тебе придется вечером пойти исповедаться.

– За мной не так уж много страшных грехов.

– Пропустить воскресную обедню – это такой же смертный грех, как прелюбодеяние.

– Прелюбодеяние куда веселее, – сказал он с притворным легкомыслием.

– Да, я вовремя вернулась.

– Хорошо, я схожу после обеда. Не могу исповедоваться натошак.

– Дорогой, ты очень изменился.

– Да я ведь шучу.

– Шути, пожалуйста. Мне это даже нравится. Раньше ты, правда, не часто шутил.

– Но ведь и ты не каждый день возвращаешься, детка.

Фальшивое благодушие, шутки на пересохших губах – казалось, этому не будет конца; во время обеда он положил вилку, чтобы еще раз сострить.

– Генри, дорогой, я никогда не видела тебя таким веселым!

Земля уходила у него из-под ног, и все время, пока они обедали, ему казалось, что он куда-то падает: сосало под ложечкой, захватывало дух, сжимало сердце, – ведь нельзя же пасть так низко и выжить. Его шутки были похожи на вопль о помощи.

Они пообедали – Скоби не заметил, что ел, – и он встал.

– Ну, я пойду.

– К отцу Ранку?

– Сначала я должен заглянуть к Уилсону. Он теперь живет в одном из железных домиков на холме. Наш сосед.

– Но он, наверно, в городе.

– По-моему, он приходит домой обедать.

Он думал, поднимаясь в гору, как часто ему теперь придется ходить к Уилсону. Нет, это опасная уловка. Ею можно воспользоваться только раз, зная, что Уилсон обедает в городе. И все же, чтобы не попасться, он постучал к нему и был ошеломлен, когда Гаррис отворил дверь.

– Вот не думал, что вас застану.

– У меня был приступ лихорадки, – сказал тот.

– Мне хотелось повидать Уилсона.

– Он всегда обедает в городе.

– Я зашел ему сказать, что буду рад, если он к нам заглянет. Вернулась моя жена.

– Так вот почему возле вашего дома была какая-то кутерьма. Я видел в окно.

– Заходите и вы к нам.

– Да я не большой любитель ходить в гости, – сказал Гаррис, ссутулясь на пороге. – Говоря по правде, я побаиваюсь женщин.

– Вы, видно, редко с ними встречаетесь.

– Да, я не дамский угодник, – заметил Гаррис с напускным бахвальством.

Скоби чувствовал, что Гаррис следит за тем, как он, словно нехотя, пробирается к домику, где живет Элен, следит со злобным пуританизмом отвергнутого мужчины. Он постучал, ощущая, как этот осуждающий взгляд жжет ему спину. Вот и лопнуло мое алиби, думал он. Гаррис сообщит Уилсону, а Уилсон... Придется сказать, что раз уж я сюда попал, я зашел... И он почувствовал, как его "я" распадается, изъеденное ложью.

– Зачем ты стучишь? – спросила Элен. Она лежала на кровати в полутьме, шторы были задернуты.

– Гаррис следил, куда я иду.

– Я не думала, что ты сегодня придешь.

– Откуда ты знала?

– Все тут знают обо всем... кроме одного: про нас с тобой. Ты так хитро это прячешь. Наверно, потому, что ты полицейский.

– Да. – Он сел на кровать и положил ей руку на плечо – под его пальцами сразу же выступили капельки пота. Он спросил: – Что ты делаешь? Ты не больна?

– Просто голова болит.

Он сказал механически, сам не слыша того, что говорит:

– Береги себя.

– Ты чем-то встревожен, – сказала она. – Что-нибудь неладно... там?

– Нет, что ты.

– Бедненький ты мой, помнишь ту первую ночь, когда ты у меня остался? Тогда мы ни о чем не думали. Ты даже забыл свой зонтик. Мы были счастливы. Правда, странно? Мы были счастливы.

– Да.

– А почему мы тянем все это, раз мы несчастливы?

– Не надо путать понятия счастье и любовь, – назидательно произнес Скоби, но в душе у него было отчаяние: вот если бы можно было превратить всю их историю в нравоучительный пример из учебника – как это сделали с Пембертоном, – к ним бы снова вернулся покой или по крайней мере равнодушие.

– Иногда ты бываешь ужасно старый, – сказала Элен, но тут же протянула к нему руку, показывая, что шутит. Сегодня, подумал он с жалостью, она не может себе позволить со мной поссориться – так ей, во всяком случае, кажется. – Милый, о чем ты задумался?

Нельзя лгать двум женщинам сразу, если этого можно избежать, не то твоя жизнь превратится в хаос; но когда он посмотрел на лицо, лежавшее на подушке, у него появился непреодолимый соблазн солгать. Она напоминала ему одно из тех растений в фильмах о природе, которое вянет у вас на глазах. На ее лице уже лежал отпечаток здешних мест. Это роднило ее с Луизой.

– У меня неприятность. Я должен выпутаться из нее. Осложнение, которого я не предвидел.

– Скажи какое. Один ум хорошо... – Она закрыла глаза, и он увидел, что рот ее сжался, будто в ожидании удара.

– Луиза хочет, чтобы я пошел с ней к причастию. Она думает, что я отправился на исповедь.

– Господи, и это все? – спросила она с огромным облегчением, и злость на то, что она ничего не понимает, заставила его на миг почти возненавидеть ее.

– Все, – сказал он. – Все. – Но потом в нем заговорила справедливость. – Видишь ли, – ласково сказал он, – если я не пойду к причастию, она поймет: тут что-то не так: что-то совсем не так...

– Но почему же тебе тогда не пойти?

– Для меня это... ну, как тебе объяснить... означает вечные муки. Нельзя причащаться святых тайн, не раскаявшись в смертном грехе.

– Неужели ты веришь в ад?

– Меня уже спрашивал об этом Феллоуз.

– Но я тебя просто не понимаю. Если ты веришь в ад, почему ты сейчас со мной?

Как часто, подумал он, неверие помогает видеть яснее, чем вера.

– Ты, конечно, права, меня бы это должно было остановить. Но крестьяне на склонах Везувия живут, не думая о том, что им грозит... И потом, вопреки учению церкви, человек убежден, что любовь – всякая любовь – заслуживает прощения. Конечно, придется платить, платить страшной ценой, но я не думаю, что кара будет вечной. И, может быть, перед смертью я еще успею...

– Покаяться на смертном одре! – с презрением сказала она.

– Покаяться в этом будет нелегко. – Он поцеловал ее руку и почувствовал губами пот. – Я могу пожалеть о том, что лгал, что жил нескладно, был несчастлив, но умри я сейчас – я все равно не пожалел бы, что я любил.

– Ну что ж, – сказала она опять с оттенком презрения – оно словно отрывало ее от Скоби и возвращало на твердую землю, – ступай и покайся во всем. Ведь это не помешает тебе делать то же самое снова.

– Зачем же каяться, если я не собираюсь...

– Тогда чего ты боишься? Семь бед... По-твоему, ты уже совершил смертный грех. Какая разница, если на твоей совести будет еще один?

Набожные люди, думал он, сказали бы, наверно, что это дьявольское наущение, но он знал, что зло никогда не бывает так прямолинейно, – в ней говорила невинность.

– Нет, разница тут есть, и разница большая, – сказал он. – Это трудно объяснить. Пока что я просто предпочел нашу любовь... ну, хотя бы спасению души. Но тот грех... тот грех – в самом деле страшный. Это все равно, что черная обедня – украсть святые дары и осквернить их.

Она устало отвернулась.

– Я ничего в этом не понимаю. По-моему, все это чушь.

– Увы! Для меня нет. Я в это верю.

– По-видимому, веришь, – резко сказала она. – А может, все это фокусы? Вначале ты что-то меньше поминал бога, а? Уж не суешь ли ты мне в нос свою набожность, чтобы иметь повод...

– Деточка, я никогда тебя не брошу. Мне просто надо подумать – вот и все.

Наутро Али разбудил их в четверть седьмого. Скоби проснулся сразу, но Луиза еще спала – день накануне был утомительный. Скоби повернул голову и стал на нее глядеть, – на лицо, которое он когда-то любил, лицо, которое он любит. Она панически боялась смерти на море и все-таки вернулась, чтобы ему лучше жилось. Она в муках родила ему ребенка и мучилась, глядя, как этот ребенок умирает. Он-то, ему казалось, сумел всего этого избежать. Если бы только ему удалось сделать так, чтобы она никогда больше не страдала! Но он знал, что эта задача невыполнима. Он может отдалить ее страдания, вот и все, но он несет их в себе, как заразу, которая рано или поздно коснется и ее. Может быть, ей уже передалась эта зараза – вот она ворочается и тихо стонет во сне. И, положив ладонь ей на щеку, чтобы ее успокоить, он подумал: эх, если бы она поспала еще, тогда бы и я мог уснуть опять, я бы проспал, мы бы опоздали к обедне, и еще одна беда была бы отсрочена. Но она проснулась, словно его мысли прозвенели, как будильник.

– Который час, дорогой?

– Около половины седьмого.

– Надо торопиться.

Ему казалось, будто благодушный и непреклонный тюремщик торопит его одеваться на казнь. Но он все не решался произнести спасительную ложь; всегда ведь может случиться чудо! Луиза в последний раз провела пушком по носу (но пудра тут же спекалась, едва прикоснувшись к коже) и сказала:

– Ну, пойдем.

Ему почудилось, что в ее голосе звучит едва уловимая нотка торжества. Много-много лет назад, в другой жизни, называвшейся «детство», кто-то, кого тоже звали Генри Скоби, играл в школьном спектакле шекспировского Готспера. Выбрали его по росту и по старшинству, но все говорили, что сыграл он хорошо. Теперь ему снова предстоит играть – право же, это не труднее, чем просто лгать.

Скоби вдруг откинулся к стене и схватился за сердце. Он не сумел заставить мышцы симулировать боль и просто закрыл глаза. Глядя в зеркало, Луиза сказала:

– Напомни мне, чтобы я рассказала об отце Дэвисе из Дурбана. Очень любопытный тип

священника, гораздо интеллигентнее отца Ранка. – Скоби казалось, что она никогда не оглянется и не заметит его. – Ну вот, теперь в самом деле пора идти. – Но она все еще продолжала возиться у зеркала. Слипшился от пота пряди никак не удавалось причесать. Наконец он увидел из-под полураскрытых век, что она обернулась и поглядела на него.

– Пойдем, дорогой, – позвала она. – У тебя такой сонный вид.

Он зажмурил глаза и не двигался с места. Она резко его окликнула:

– Что с тобой, Тикки?

– Дай мне глоток коньяку.

– Тебе нехорошо?

– Глоток коньяку, – отрывисто повторил он, и когда она принесла коньяк и Скоби почувствовал его во рту, у него сразу отлегло от сердца. Казнь отсрочена. Он с облегчением вздохнул: – Вот теперь лучше.

– Что случилось, Тикки?

– Сердце. Уже прошло.

– У тебя это прежде бывало?

– Раза два за время твоего отсутствия.

– Надо показаться доктору.

– Да нет, чепуха. Скажет, что переутомился.

– Я не должна была силой вытаскивать тебя из постели, но мне так хотелось, чтобы мы вместе причастились.

– Боюсь, что теперь уже не удастся... ведь я выпил коньяку.

– Не огорчайся, Тикки. – Сама того не подозревая, она приговорила его к вечной гибели. – Мы можем пойти в любой другой день.

Он опустился на колени и стал смотреть на Луизу, преклонившую колена вместе с другими причастниками у алтарной решетки: он настоял на том, что пойдет с ней в церковь. Отец Ранк отвернулся от престола и подошел к ним с причастием. Domine, non sum dignus... domine, non sum dignus... domine, non sum dignus... Рука его привычно, словно на военных учениях, коснулась пуговицы мундира. На миг ему показалось жестокой несправедливостью, что бог предает себя во власть человеку то в образе человека, то в виде облатки – раньше в селениях Палестины, теперь здесь, в этом знойном порту, тут, там, повсюду. Христос велел богатому юноше продать все и следовать за ним, но то был понятный, разумный шаг по сравнению с поступком, который совершил он сам, отдавшись на милость людей, едва ли знающих, что такое молодость. Как отчаянно он любил людей, со стыдом подумал Скоби. Священник медленно, с остановками, дошел до Луизы, и Скоби вдруг почувствовал себя изгоем. Там, впереди, где стояли коленопреклоненные люди, была страна, куда ему больше никогда не вернуться. В нем проснулась любовь, любовь, какую всегда питаешь к тому, что утратил, – будь то ребенок, женщина или даже страдание.

Уилсон аккуратно вырвал страницу со стихами из «Даунхемца» и наклеил на обратную сторону лист плотной бумаги. Он посмотрел листок на свет: теперь сквозь строки его стихотворения уже нельзя было прочесть спортивную хронику. Он старательно сложил листок и сунул в карман; там этот листок, наверно, и останется, а впрочем, кто знает?...

Он видел, как Скоби поехал в город, и с бьющимся сердцем, задыхаясь, почти как в тот раз, когда он входил в публичный дом, и даже с той же опаской – кому охота менять привычный ход жизни? – пошел вниз, к дому Луизы.

Уилсон мысленно прикидывал, как повел бы себя на его месте другой мужчина: сразу же соединить разорванные нити – поцеловать ее, как ни в чем не бывало, если удастся – в губы, сказать «Я по вас скучал», держать себя уверенно? Но отчаянное биение сердца – это позывные страха – мешало ему соображать.

– Вот наконец и Уилсон, – сказала Луиза, протягивая руку. – Я уж думала, что вы меня забыли. – Он принял ее руку как знак поражения. – Хотите чего-нибудь выпить?

– А вы не хотите пройтись?

– Слишком жарко, Уилсон.

– Знаете, я ведь с тех пор там не был...

– Где?

И он понял, что для тех, кто не любит, время не останавливается.

– Наверху, возле старого форта.

Она сказала безжалостно, не проявив никакого интереса:

– Ах да... да, я сама еще там не была.

– В тот вечер, когда я вернулся к себе, – он почувствовал, как проклятый мальчишеский румянец заливаает ему щеки, – я пытался написать стихи.

– Кто? Вы, Уилсон?

Он воскликнул в бешенстве:

– Да, я, Уилсон! А почему бы и нет? И они напечатаны!

– Да я не смеюсь над вами, я просто удивилась. А кто их напечатал?

– Новая газета. «Круг». Правда, они платят гроши...

– Можно посмотреть?

У него перехватило дыхание.

– Они у меня с собой. На обороте было напечатано что-то просто невыносимое, – объяснил он. – Терпеть не могу весь этот модернизм! – Он жадно следил за выражением ее лица.

– Довольно мило, – сказала она малодушно.

– Видите, ваши инициалы!

– Мне еще никогда не посвящали стихов.

Уилсон почувствовал дурноту, ему захотелось сесть. Зачем только, думал он, идешь на это унижение, зачем выдумываешь, что ты влюблен? Он где-то прочел, что любовь выдумали трубадуры в одиннадцатом веке. Зачем это было нужно, разве мало нам похоти?

Уилсон сказал с бессильной злобой:

– Я вас люблю. – Он думал: это ложь, пустые слова, которые хороши только на бумаге. Он ждал, что она засмеется.

– Ох, нет, Уилсон. Неправда, – сказала она. – Это просто тропическая лихорадка.

Тогда он ринулся, очертя голову:

– Больше всего на свете!

Она ласково возразила:

– Такой любви не бывает, Уилсон.

Он бегал по комнате – короткие штаны шлепали его по коленкам – и размахивал листочком из «Даунхемца».

– Вы не можете не верить в любовь. Вы же католичка. Разве бог не любит всех на свете?

– Он – да. Он на это способен. И очень немногие из нас.

– Вы любите мужа. Вы же сами мне говорили. Из-за этого вы и вернулись.

Луиза грустно призналась:

– Наверно, люблю. Как умею. Но это совсем не та любовь, которую вы себе выдумали.

Никакой чаши с ядом, роковой судьбы, черных парусов. Мы не умираем от любви, Уилсон, разве что в книгах. Да еще какой-нибудь мальчишка сдуру, – и то у него это только поза. Давайте не становиться в позу, Уилсон: в нашем возрасте это уже не забавляет.

– Я не становлюсь в позу, – сказал он с той яростью, в которой сам отчетливо чувствовал фальшь. Он встал перед книжным шкафом, словно призывая свидетеля, о котором она забыла: – Что ж, и у них всех – только поза?

– Не совсем. Вот почему я люблю их больше, чем _ваших_ любимых поэтов.

– И все же вы вернулись. – Лицо его озарилось недобрый вдохновением. – А может, это была просто ревность?

– Ревность? Господи, к кому же я могу ревновать?

– Они ведут себя осторожно, – сказал Уилсон, – но не так осторожно, чтобы люди ничего не знали.

– Я не понимаю, о ком вы говорите?

– О вашем Тикки и Элен Ролт.

Луиза ударила его по щеке, но задела нос; из носу обильно пошла кровь.

– Это за то, что вы назвали его Тикки, – сказала она. – Никто не смеет его так называть, кроме меня. Вы же знаете; как он это ненавидит. Натэ, возьмите мой платок, если у вас нет своего.

– У меня сразу начинает идти кровь. Вы не возражаете, если я прилягу?

Он растянулся на полу, между столом и шкафом для продуктов; вокруг ползали муравьи. Сперва в Пенде Скоби видел, как он плачет, а теперь – вот это.

– Хотите, я положу ключ вам за шиворот? – спросила Луиза.

– Не надо. Спасибо.

Кровь запачкала листок из «Даунхемца».

– Вы уж меня, пожалуйста, простите. У меня ужасный характер. Но это вас излечит, Уилсон.

Если живешь только романтикой, от нее нельзя излечиться. В мире слишком много бывших служителей той или иной веры; право же, лучше делать вид, будто еще во что-то веришь, чем блуждать во враждебной пустоте, полной жестокости и отчаяния. Он упрямо настаивал:

– Меня ничто не излечит, Луиза. Я вас люблю. Ничто, – повторял он, орошая кровью ее носовой платок.

– Вот странно, если бы это было правдой! – сказала она. Он вопросительно хмыкнул, лежа на полу. – То есть если бы оказалось, что вы один из тех, кто в самом деле умеет любить. Раньше я думала, что Генри умеет. Было бы странно, если бы оказалось, что умеете вы.

Уилсона вдруг охватил нелепый страх, что теперь его примут за того, за кого он себя выдает, – чувство, которое испытывает штабной писарь: он врал, что умеет водить танк, а теперь началась атака и он видит, что хвостовству его поверили. Признаться, что он ничего не умеет, кроме того, что вычитал в технических журналах, уже поздно... «Печальная любовь моя! Ты

ангел, ты и птица!»

Уткнувшись носом в платок, он благородно признал:

– Думаю, что и он любит... конечно, по-своему.

– Кого? – спросила Луиза. – Меня? Эту Элен Ролт, на которую вы намекаете? Или только себя?

– Я не должен был вам ничего рассказывать.

– Значит, это неправда. Давайте говорить начистоту, Уилсон. Вы себе не представляете, как я устала от утешительной лжи. Она красивая?

– О нет, нет! Ничего подобного!

– Конечно, она молодая, а я женщина средних лет. Но вид у нее после всего, что она пережила, наверно, довольно потрепанный.

– Да, вид у нее очень потрепанный.

– Но зато она не католичка. Счастливица. Она свободна!

Уилсон сел, прислонившись к ножке стула, и сказал с искренним жаром:

– Я вас очень прошу, не зовите меня Уилсоном!

– Эдуард. Эдди. Тед. Тедди.

– У меня опять пошла кровь, – сказал он жалобно и снова лег на пол.

– А что вы об этом знаете, Тедди?

– Пожалуй, лучше зовите меня Эдуардом. Я видел, как он выходил из ее дома в два часа ночи. И он опять был у нее вчера после обеда.

– Он был на исповеди.

– Гаррис его видел.

– Да вы за ним, видно, следите.

– Я подозреваю, что он играет на руку Юсефу.

– Невероятно! Это уж вы перехватили.

Она стояла над ним, словно это был покойник; в руке он сжимал окровавленный платок. Оба не слышали, как подъехала машина и снаружи раздались шаги. Обоим было странно услышать голос из внешнего мира: в этой комнате было так уединенно, так душно, как в склепе.

– Что тут случилось? – произнес голос Скоби.

– Да просто... – сказала Луиза и растерянно развела руками, будто хотела спросить: с чего тут начнешь объяснять? Уилсон кое-как поднялся, и кровь сразу же закапала у него из носа.

– Ну-ка, – сказал Скоби и, вытащив связку ключей, сунул ее Уилсону за шиворот. – Вот увидите, старинные средства всегда помогают. – И в самом деле, через несколько секунд кровь остановилась. – Никогда не ложитесь навзничь, – продолжал он рассудительно. – Секунданты обтирают боксеров губкой, смоченной в холодной воде, а у вас такой вид, будто вы дрались, Уилсон.

– Я всегда ложусь на спину, – сказал Уилсон. – От вида крови мне становится плохо.

– Хотите выпить?

– Нет. Мне надо идти.

Он с усилием вытащил ключи из-под рубашки, забыв как следует заправить ее в брюки. Он обнаружил это, только что вернувшись домой, когда ему сделал замечание Гаррис. Он подумал: вот, значит, как я выглядел, уходя от них, а они сидели рядышком и смеялись. Он смотрел в окно на окрестный пейзаж, в ту сторону, где стоял дом Скоби, словно на поле боя после поражения. Кругом была потрескавшаяся земля и мрачные железные домишки. Интересно, такими же унылыми выглядели бы эти места, если бы он оказался победителем? Но в любви не бывает побед; иногда достигаешь незначительного тактического успеха, конец же всегда один – поражение: наступает либо смерть, либо безразличие.

– Чего ему было нужно? – спросил Скоби.

– Объяснялся в любви.

– Он в тебя влюблен?

– Воображает, что да. Слава богу и за это. Чего от него еще можно требовать?

– Ты его, кажется, здорово стукнула по носу.

– Он меня разозлил. Назвал тебя Тикки. Милый, он за тобой шпионит.

– Знаю.

– Это опасно?

– Может быть, при некоторых обстоятельствах. Но тогда виноват буду я.

– Генри, неужели тебя вообще нельзя вывести из терпения? Неужели тебя не трогает, что он пытается завести со мной интрижку?

– С моей стороны было бы лицемерием на это сердиться. Люди в таких случаях ничего с собой поделать не могут. Ты же знаешь, что даже самые милые, нормальные люди и те влюбляются.

– А ты когда-нибудь влюблялся?

– О да, конечно. – Он пристально следил за выражением ее лица, пытаясь выдавить из себя улыбку. – Будто ты этого не знаешь.

– Генри, тебе действительно утром было плохо?

– Да.

– Это не отговорка?

– Нет.

– Тогда давай, дорогой, сходим вместе к причастию завтра утром.

– Пожалуйста. – Он ведь знал, что эта минута все равно настанет. Лихо подняв бокал, чтобы доказать, что рука у него не дрожит, он спросил: – Выпьешь?

– Слишком рано, милый.

Он знал, что она пристально за ним следит – как и все остальные. Поставив бокал, он сказал:

– Мне надо забежать в полицию за бумагами. Когда я вернусь, будет самое время выпить.

Он вел машину, как пьяный, дурнота туманила ему глаза. О господи, думал он, за что ты заставляешь людей решать вот так, вдруг, не девая им времени поразмыслить. Я слишком устал, не могу думать, все это надо решать не в уме, а на бумаге, как математическую задачу, и найти безболезненный выход. Но душевные муки причиняли ему физические страдания: его стошнило прямо за рулем. Да, но где же выход? – думал он; беда в том, что мы все знаем наперед, мы, католики, наказаны тем, что все знаем заранее. Нечего искать ответа – ответ на все один: встать на колени в исповедальне и сказать: «С тех пор как я последний раз исповедовался, я столько-то раз совершил прелюбодеяние», – и так далее, и так далее. А отец Ранк скажет, что впредь я должен избегать таких встреч и никогда не видеться с этой женщиной наедине. (Какие чудовищно абсурдные понятия: Элен – «эта женщина», «встреча»... Она больше не растерянный ребенок, судорожно сжимающий альбом для марок, больше не та, что, притаившись, слушала нытье Багстера за дверью; а тот миг покоя, темноты, сострадания и нежности покаяния, обещать «никогда больше не грешить» и на другой день причаститься – вкусить тело господне, как они

говорят, «сподобиться благодати». Вот это правильный ответ, и другого быть не может: надо спасти свою душу, а Элен бросить на произвол Багстера и отчаяния. Будь разумным, говорил он себе, признай, что отчаяние проходит (правда, проходит?) и любовь проходит (но разве не поэтому отчаянию не бывает конца?), через несколько недель или месяцев Элен успокоится. Она провела сорок дней в лодке посреди океана, Пережила смерть мужа, ей ли не пережить такую безделицу, как смерть любви? Так, как переживу ее я, – знаю, что переживу.

Он остановил машину у церкви, но, опустив голову, так и остался сидеть. Смерть никогда не приходит, если ее очень зовешь. Есть, конечно, обычное, честное, но «несправедливое» решение – бросить Луизу, нарушить данную себе клятву, уйти в отставку. Бросить Элен на Багстера или Луизу неизвестно на кого. Выхода нет, подумал он, поймав в зеркале отражение замкнутого, незнакомого лица, выхода нет. Ожидая отца Ранка возле исповедальни, он опустился на колени и стал повторять слова единственной молитвы, которая пришла ему в голову. Даже слова «Отче наш» и «Богородицы» и те он забыл. Он молился о чуде: «Господи, убеди меня. Дай мне почувствовать, что я стою больше, чем эта девочка». И молясь, он видел не лицо Элен, а лицо умирающего ребенка, который звал его отцом; лицо, смотревшее на него с фотографии на туалете, и лицо двенадцатилетней негритянки, которую изнасиловал, а потом зарезал матрос, – оно уставилось на него слепыми глазами в желтом свете керосиновой лампы. «Дай мне возлюбить себя превыше всего. Дай мне веру в твое милосердие к той, которую я покидаю». Он услышал, как отец Ранк прикрыл за собой дверь исповедальни, и опять скорчился от тошноты, подступившей к горлу. «Господи, – сказал он, – если же вместо этого я покину тебя, покарай меня, но дай хоть немного счастья им обеим». Он вошел в исповедальню. Ему казалось, что чудо все еще может свершиться. Даже отец Ранк может хоть раз найти нужные слова, правильный ответ... Став на колени в этом стоячем гробу, он сказал:

– С тех пор как я в последний раз исповедовался, я совершил прелюбодеяние.

– Сколько раз?

– Не знаю, отец мой. Много раз.

– Вы женаты?

– Да.

Он вспомнил тот вечер, когда отец Ранк чуть не расплакался перед ним, признаваясь в своем бессилии помочь людям... Пытаясь соблюсти безымянность исповеди, отец Ранк, наверно, сам это вспоминает. Скоби хотелось сказать: «Помогите мне, отец мой, убедите меня в том, что я поступаю правильно, покидая ее на Багстера. Заставьте меня поверить в милосердие божие», – но он молча стоял на коленях и ждал; он не чувствовал ни малейшего дуновения надежды.

– Вы согрешили с одной женщиной? – спросил отец Ранк.

– Да.

– Вы должны перестать с ней встречаться. Это возможно?

Он покачал головой.

– Если вам нельзя ее не видеть, вы не должны оставаться с ней наедине. Вы обещаете – богу, а не мне?

А он думал: как глупо было ожидать от него вещего слова. Это просто формула, тысячу раз слышанная тысячами людей. Люди, видимо, обещают, уходят, а потом возвращаются и каются снова. Неужели они верят, что больше не будут грешить? Он думал: я обманываю людей каждый день, но не стану обманывать ни себя, ни бога. И ответил:

– Я бы зря пообещал это, отец мой.

– Вы должны обещать. Нельзя стремиться к цели, пренебрегая средствами.

Можно, думал он, еще как можно: можно желать мира и победы, не желая превращать

города в руины. Отец Ранк сказал:

– Вряд ли мне нужно вам объяснять, что исповедь и отпущение грехов – не пустая формальность. Отпущение грехов зависит от вашего душевного состояния. Приходить сюда и преклонять колена недостаточно. Прежде всего надо осознавать свой грех.

– Это я понимаю.

– И у вас должно быть искреннее желание исправиться. Нам сказано, что мы должны прощать брату нашему до семижды семьдесят раз, и нечего бояться, что бог менее милостив, чем мы, но никто не может простить того, кто упорствует в своем грехе. Лучше семьдесят раз согрешить и каждый раз покаяться, нежели согрешить раз и не раскаяться в своем грехе.

Он видел, как отец Ранк поднял руку, чтобы отереть пот, заливающий глаза; в жесте этом, казалось, было столько усталости. Он подумал: к чему я его утомляю? Он прав, конечно же, он прав! Глупо было рассчитывать, что в этом душном ящике я обрету твердость духа... Он сказал:

– Видно, мне не следовало приходить, отец мой.

– Я не хочу отказывать вам в отпущении грехов, но, может быть, если вы уйдете и немножко подумаете, вы вернетесь сюда в более подходящем состоянии духа.

– Да, отец мой.

– Я буду молиться за вас.

Когда Скоби вышел, ему показалось, что он впервые в жизни забрел так далеко, что потерял из виду надежду. Теперь, куда ни глянь, надежды нет нище – только мертвый бог на кресте, гипсовая богоматерь да аляповатые изображения страстей господних – преданий незапамятных времен. Теперь перед ним раскинулась страна, где правят отчаяние и безысходность.

Он поехал в полицейское управление, взял папку с бумагами и вернулся домой.

– Как ты долго, – сказала Луиза.

Он не знал, что ей солгать, но слова родились сами собой.

– У меня опять заболело сердце, и я решил подождать, пока боль пройдет.

– Как по-твоему, тебе можно пить?

– Да, пока не скажут, что нельзя.

– А ты сходила к доктору?

– Непременно.

В эту ночь ему снилось, что он в лодке и его несет по такой же подземной реке, по какой ехал герой его детства Алан Куотермейн к потерянному городу Милозису. Но у Куотермейна были спутники, а он один – нельзя считать спутником мертвое тело на носилках рядом с собой. Он знал, что ему надо торопиться; трупы в этом климате сохраняются очень недолго, и ноздри его уж вдыхали запах тления. Но сидя в лодке и направляя ее к середине протока, он вдруг понял, что смердит не труп, а его собственное живое тело. В жилах у него застыла кровь, он попытался поднять руку, но она повисла как плеть. Он проснулся и увидел, что его руку взяла Луиза.

– Милый, нам пора идти.

– Идти? – спросил, он.

– Мы идем с тобой в церковь, – сказала она, и он снова заметил, как внимательно она к нему приглядывается. Какой толк снова лгать, чтобы снова добиться отсрочки? Интересно, что ей сказал Уилсон? И что можно выдумывать неделя за неделей, отговариваясь работой, нездоровьем, забывчивостью, чтобы избежать развязки возле алтаря? Он думал с отчаянием: все равно я уже проклят, что мне терять?

– Хорошо, – сказал он, – сейчас пойдем. Я встаю. – Он был поражен, когда она сама подсказала отговорку, дала ему повод еще раз увильнуть.

– Милый, если ты плохо себя чувствуешь, полежи. Я ее хочу тащить тебя насильно.

Но отговорка, казалось ему, была и ловушкой. Он видел, что тут западня, чуть-чуть присыпанная землей. Воспользоваться поводом, который она предлагает, – все равно, что ковыряться в своей вине. Раз и навсегда, чего бы ему это ни стоило, он очистит себя в ее глазах, даст ей уверенность, которой ей не хватает.

– Нет-нет, я пойду с тобой.

Он вошел с нею в церковь будто впервые – таким он был здесь чужим. Беспредельное пространство уже отделяло его от всех этих людей, которые молились, преклонив колена, и скоро с миром в душе причастятся тела Христова. Он тоже опустился на колени и сделал вид, будто молится.

Слова обедни звучали как обвинительный приговор. «Я приступлю к алтарю божию – к богу, дарующему радость юности моей». Но радости не было ни в чем. Он взглянул сквозь раздвинутые пальцы, гипсовые статуи девы Марии и святых, казалось, протягивали руки всем, кроме него. Он был незнакомый гость на балу, с которым никто не здоровался. Ласковые, накрашенные улыбки были обращены, увы! не к нему. Когда хор запел «Kyrie eleison», он снова попробовал молиться. «Боже, помилуй... Господи, помилуй...» – но страх и стыд перед тем, что он намерен был совершить, сковали его мозг. Те растленные священнослужители, которые правили черную обедню, освящая хлеб над нагим женским телом в обряде нелепого и чудовищного причастия, обрекали себя на вечные муки, но они хотя бы испытывали чувство более сильное, нежели человеческая любовь: ими владела ненависть к богу или какая-то извращенная преданность врагу божию. А у него-то нет ни любви к греху, ни ненависти к богу; как может он ненавидеть бога, который добровольно предает себя в его руки? Он был готов совершить кощунство из-за любви к женщине, да и любовь ли это или просто чувство сострадания и ответственности? Он снова попытался оправдаться: «Ты сам можешь о себе позаботиться. Ты каждый день переживаешь свою Голгофу. Ты можешь только страдать. Погибнуть навеки ты не можешь. Признай, что я должен раньше думать о них, а потом о тебе». А я, размышлял он, глядя на то, как священник наливает вино и воду в чашу, готовя ему на алтаре трапезу вечного проклятия, я на последнем месте. Я ведь помощник начальника полиции, в моем распоряжении сотня людей, я лицо ответственное. Мое дело заботиться о других. Я создан для того, чтобы служить.

Sanctus. Sanctus. Sanctus. Начался канон. Бормотание отца Ранка у алтаря беспощадно приближало роковую мину ту. «В мире твоём устройте все дни жизни нашей... дабы спастись нам от вечного проклятия». Pax, pacis, pacem – все падежи слова «мир» барабанным боем отзывались у него в ушах во время службы. Он думал: я оставил навеки даже надежду на мир и покой. Я несу ответственность. Скоро я так глубоко погрязну во лжи, что мне не будет возврата. Nos est enim cogrus. Прозвенел колокольчик, и отец Ранк поднял святые дары, тело господне, настолько же легкое теперь, настолько тяжело ляжет на сердце Скоби облатка, которую он должен проглотить. His est enim calix sanguinis, и колокольчик прозвенел во второй раз.

Луиза дотронулась до его руки.

– Милый, тебе нехорошо?

Он подумал: вот уже второй раз предлагают мне выход. Опять заболело сердце. Можно уйти. И у кого же в самом деле болит сердце, если не у меня? Но он знал, что если сейчас выйдет из церкви, ему останется одно: последовать совету отца Ранка, все уладить, бросить Элен на произвол судьбы и через несколько дней принять причастие с чистой совестью, зная, что он толкнул невинность туда, где ей и надлежало быть, – на дно океана. Невинность должна умирать молодой, не то она начинает губить души людские.

«Мир оставляю вам, мир мой даю вам».

– Нет, ничего, – сказал он Луизе, и глаза у него защипало, как встарь; глядя прямо на крест

на алтаре, он с ненавистью подумал: «Ты меня сделал таким, какой я есть. Получай свой удар копьем!» Ему не надо было открывать требник, он и так знал, как кончается молитва: «Господи Иисусе Христе, вкушение тела твоего, коего я, недостойный, ныне причащаюсь, да не обратится для меня осуждением и гибелью». Он закрыл глаза и погрузился в темноту. Обедня стремительно шла к концу. «Domine, non sum dignus... Domine, non sum dignus... Domine, non sum dignus...» У подножия эшафота он открыл глаза: старые негритянки, шаркая, подходили к алтарной ограде, несколько солдат, авиационный механик, один из его собственных полицейских и банковский конторщик – все они чинно приближались к тому, что сулило им душевный покой, и Скоби позавидовал их наивности, их чистоте. Да, сейчас, в этот миг, они были чисты.

– Что же ты не идешь, милый? – спросила Луиза, и рука ее снова дотронулась до него – ласковая, твердая рука сыщика. Он последовал за Луизой и встал возле нее на колени, как соглядатай на чужой земле, которого научили туземным обычаям и языку. Теперь только чудо может меня спасти, сказал себе Скоби, глядя, как отец Ранк открывает дарохранильницу, но бог не сотворит чуда ради собственного спасения. Я – крест его, думал Скоби, а он не вымолвит ни слова, чтобы спасти себя от креста, но если бы дерево могло ничего не ощущать, если бы гвозди были так бесчувственны, как думают люди!

Отец Ранк спустился по ступенькам алтаря с дарами в руках. У Скоби перехватило во рту. Казалось, у него высохла кровь в жилах. Он не смел поднять глаз, он видел только складки облачения, которые наступали на него, как панцирь средневекового боевого коня. Мягкое шарканье подошв. Ах, если бы лучники пустили свои стрелы из засады; на миг ему почудилось, что священник остановился; а вдруг что-нибудь все-таки случится прежде, чем он до меня дойдет, вдруг между нами встанет какое-нибудь немислимое препятствие... Открыв рот (ибо время настало), он в последний раз попробовал помолиться («О господи, в жертву тебе приношу мои руки. Возьми их. Обрати их во благо им обеим») и ощутил пресный, вкус вечного проклятия у себя на языке.

Управляющий банком отхлебнул ледяной воды и воскликнул сердечней, чем требовала деловая вежливость:

– Как вы, наверно, рады, что миссис Скоби вернулась! Да еще к рождеству.

– До рождества далеко, – сказал Скоби.

– Когда дожди кончаются, время летит незаметно, – произнес управляющий с необычным для него благодушием, Скоби никогда не замечал в его тоне такого оптимизма. Он вспомнил, как вышагивала по комнате эта худенькая журавлиная фигура, то и дело хватаясь за медицинский справочник.

– Я пришел к вам... – начал Скоби.

– Насчет страховки? Или перебрали деньги со своего текущего счета?

– На этот раз ни то, ни другое.

– Вы же знаете, Скоби, я всегда буду рад вам помочь.

Как спокойно Робинсон сидит у себя за столом! Скоби спросил с удивлением:

– Вы что, отказались от своего ежедневного моциона?

– Ах, все это была такая чушь! – сказал управляющий. – Я просто начитался всяких книг.

– А я как раз хотел заглянуть в вашу медицинскую энциклопедию.

– Ступайте лучше к доктору, – неожиданно посоветовал ему Робинсон. – Меня вылечил доктор, а не книги. Подумать, сколько я мучился, зря... Имейте в виду, Скоби, новый молодой человек, которого заполучила Арджилская больница, – лучший врач в колонии с самого ее основания.

– И он вас вылечил?

– Сходите к нему. Его фамилия Тревис. Скажите, что я вас послал.

– И все же, если позволите, я хотел бы взглянуть...

– Возьмите на полке. Я их там держу за импозантный вид. Управляющий банком должен быть человеком интеллигентным. Клиентам нравится, когда у него стоят серьезные книги.

– Я рад, что у вас больше не болит желудок.

Управляющий снова отхлебнул воды.

– Я просто о нем больше не думаю. Говоря по правде, Скоби, я...

Скоби поднял глаза от энциклопедии.

– Что?

– Нет, это я просто так.

Скоби открыл энциклопедию на слове «Грудная жаба» и прочел:

«Болевые ощущения. Их обычно описывают как сжатие: „грудь точно зажата в тиски“. Боль ощущается в центре грудной клетки и под грудиной. Она может распространяться в любую из рук, чаще в левую, вверх в шею или вниз в брюшную полость. Длится обычно несколько секунд, но, во всяком случае, не более минуты. Поведение больного. Весьма характерно: больной замирает в полнейшей неподвижности, в каких бы условиях он в это время ни находился»...

Скоби быстро пробежал глазами подзаголовки: «Причина боли». «Лечение». «Прекращение болезни» – и поставил книгу обратно на полку.

– Ну что ж, – сказал он. – Пожалуй, я и в самом деле загляну к вашему доктору Тревису. Мне кажется, лучше обратиться к нему, чем к доктору Сайкс. Надеюсь, он подбодрит меня так же, как вас.

- Мой случай ведь не совсем обычный, – уклончиво сказал управляющий.
- Со мной, видимо, все ясно.
- Выглядите вы довольно хорошо.
- Да я в общем здоров, только вот сердце иногда немножко побаливает и сплю неважно.
- Работа ответственная, в этом все дело.
- Возможно.

Скоби казалось, что он бросил в землю достаточно зерен – но для какой жатвы? Этого он и сам не мог бы сказать. Попрощавшись, он вышел на улицу, где ослепительно сияло солнце. Шлем он держал в руке, и раскаленные лучи били прямо по его редким седеющим волосам. Он призывал на себя кару всю дорогу до полицейского управления, но ему было в ней отказано. Последние три недели ему казалось, что люди, проклятые богом, находятся на особом положении; как молодежь, которую торговая фирма посылает служить в какое-нибудь гиблое место, – их выделяют из числа более удачливых коллег, облегчают им повседневный труд и всячески берегут, чтобы, не дай бог, их не миновало то, что им уготовано. Вот и у него теперь все идет как по маслу. Солнечный удар его не берет, начальник административного департамента приглашает обедать... Злая судьба от него, видно, отступилась.

Начальник полиции сказал:

- Входите, Скоби. У меня для вас хорошие вести.

И Скоби приготовился к тому, что от него отступятся снова.

– Бейкер сюда не едет. Он нужен в Палестине. Они все же решили назначить на мое место самого подходящего человека.

Скоби сидел на подоконнике, опустив на колено руку, и смотрел, как она дрожит. Он думал: ну вот, всего этого могло и не быть. Если бы Луиза не уехала, я никогда не полюбил бы Элен, меня не шантажировал бы Юсеф, я никогда не совершил бы с отчаяния этого поступка. Я бы остался собой, тем, кто пятнадцать лет живет в моих дневниках, а не разбитым слепком с человека. Но ведь только потому, что я все это сделал, ко мне пришел успех. Я, выходит, один из слуг дьявола. Он-то, уж заботится о своих. И теперь, думал он с отвращением, меня ждет удача за удачей.

– Я подозреваю, что вопрос решил отзыв полковника Райта. Вы на него произвели прекрасное впечатление.

- Слишком поздно, сэр.

– Почему?

– Я стар для этой работы. Сюда надо человека помоложе.

– Чепуха. Вам только пятьдесят.

– Здоровье у меня сдает.

– Первый раз слышу.

– Я сегодня как раз жаловался Робинсону в банке. У меня какие-то боли и бессонница. – Он говорил быстро, барабая пальцами по колену. – Робинсон просто молится на Тревиса. Говорит, что тот сотворил с ним чудо.

– Бедняга этот Робинсон!

– Почему?

– Ему осталось жить не больше двух лет. Это, конечно, строго между нами, Скоби.

Люди не перестают друг друга удивлять: значит, этот смертный приговор вылечил Робинсона от воображаемых болезней, от чтения медицинских книг, от ходьбы из угла по своему кабинету! Так вот как бывает, когда узнаешь самое худшее. Остаешься с ним один на один и обретаешь нечто вроде покоя.

– Дай бог, чтобы всем нам удалось умереть так спокойно. Он собирается ехать домой?

– Не думаю. Скорее, ему придется лечь в больницу.

Скоби думал: эх, а я не понял тогда того, что вижу. Робинсон показывал мне самое заветное свое достояние: легкую смерть. Этот гад даст большую смертность, хотя, пожалуй, и не такую большую, если вспомнить, что делается в Европе. Сначала Пембертон, потом ребенок в Пенде, а теперь Робинсон... Нет, это немного, но ведь я не считаю смертей от черной лихорадки в военном госпитале.

– Вот так-то обстоят дела, – сказал начальник полиции. – В будущем году займете мое место. Ваша жена будет рада.

Я должен буду терпеливо вынести ее радость, думал Скоби без всякой злобы. Я виноват, и не мне ее осуждать или показывать свое раздражение.

– Я пойду домой, – сказал он.

Али стоял возле машины, разговаривая с каким-то парнем, который, увидев Скоби, скрылся.

– Кто это такой, Али?

– Мой младший брат, хозяин.

– Как же я его не знаю? Одна мать?

– Нет, хозяин, один отец.

– А что он делает?

Али молча вертел рукоятку стартера, с лица его лил пот.

– У кого он работает, Али?

– Что, хозяин?

– Я спрашиваю, у кого он работает?

– У мистера Уилсона, хозяин.

Мотор завелся, и Али сел на заднее сиденье.

– Он тебе что-нибудь предлагал, Али? Просил, чтобы ты доносил на меня – за деньги?

Ему было видно в зеркале лицо Али – хмурое, упрямое, скрытное, каменное, как вход в пещеру.

– Нет, хозяин.

– Мною интересуются и платят за доносы хорошие деньги. Меня считают плохим человеком, Али.

– Я ваш слуга, – сказал Али, глядя ему прямо в глаза.

Одно из свойств обмана, думал Скоби, – это потеря доверия к другим. Если я могу лгать и предавать, значит, на это способны и другие. Разве мало людей поручилось бы за мою честность и потеряло бы на этом свои деньги? Зачем же я буду зря ручаться за Али? Меня не поймали за руку, его не поймали за руку, вот и все. Тупое отчаяние сдавило ему затылок. Он думал, уронив голову на руль: я знаю, что Али честный слуга; я знаю его пятнадцать лет; мне просто хочется найти себе пару в этом мире обмана. Ну, а какова следующая стадия падения? Подкупать других?

Когда они приехали, Луизы не было дома; кто-нибудь, по-видимому, за ней заехал и увез на пляж. Она ведь не ждала, что он вернется до темноты. Он написал ей записку: «Повез кое-какую мебель Элен. Вернусь рано. У меня для тебе хорошие новости», – и поехал один к домику на холме по пустой, унылой полуденной дороге. Кругом были только грифы – они собрались вокруг дохлой курицы на обочине и пригнули к падали стариковские шеи; их крылья торчали в разные стороны, как спицы сломанного зонта.

– Я привез тебе еще стол и пару стульев. Твой слуга здесь?

– Нет, пошел на базар.

Они теперь целовались при встрече привычно, как брат и сестра. Когда грань перейдена,

любовная связь становится такой же прозаической, как дружба. Пламя обожгло их и перекинулось через просеку на другую часть леса; оно оставило за собой лишь чувство ответственности и одиночества. Вот если только ступишь босой ногой, почувствуешь в траве жар.

– Я помешал тебе обедать, – сказал Скоби.

– Да нет, я уже кончаю. Хочешь фруктового салата?

– Тебе давно пора поставить другой стол. Смотри, какой этот неустойчивый. – Он помолчал. – Меня все-таки назначают начальником полиции.

– Твоя жена обрадуется.

– А мне это безразлично.

– Ну нет, извини, – сказала она энергично. Элен была твердо убеждена, что страдает она одна. Он будет долго удерживаться, как Кориолан, от того, чтобы выставлять свои раны напоказ, но в конце концов не выдержит; будет преувеличивать свои горести в таких выражениях, что они ему самому начнут казаться мнимыми. Что ж, подумает он тогда, может, она и права. Может, я и в самом деле не страдаю. – Ну да, начальник полиции должен быть выше всяких подозрений, – продолжала она. – Как Цезарь. – (Ее цитаты, как и правописание, не отличались особенной точностью.) – Видно, нам приходит конец.

– Ты же знаешь, что у нас с тобой не может быть конца!

– Ах, нельзя же начальнику полиции тайком держать любовницу в какой-то железной лачуге!

Шпилька была в словах «тайком держать», но разве он мог позволить себе хоть малейшее раздражение, помня ее письмо, где она предлагала себя в жертву: пусть он делает с ней, что хочет, даже выгонит! Люди не бывают героями непрерывно; те, кто отдает все богу или любви, должны иметь право иногда, хотя бы в мыслях, взять обратно то, что они отдали. Какое множество людей вообще не совершает героических поступков, даже сгоряча. Важен поступок сам по себе.

– Если начальник полиции не может быть с тобой, значит, я не буду начальником полиции.

– Это глупо. В конце концов, какая нам от всего этого радость? – спросила она с притворной рассудительностью, и он понял, что сегодня она не в духе.

– Для меня большая, – сказал он и тут же спросил себя: что это – опять утешительная ложь? Последнее время он лгал столько, что маленькая и второстепенная ложь была не в счет.

– На часок-другой, да и то не каждый день, а когда тебе удастся улизнуть. И ты уж никогда не сможешь остаться на ночь.

Он сказал без всякой надежды:

– Ну, у меня есть всякие планы.

– Какие планы?

– Пока еще очень неопределенные.

Она сказала со всей холодностью, какую смогла на себя напустить:

– Что ж, надеюсь, ты мне сообщишь о них заранее, чтобы я подготовилась.

– Дорогая, я ведь пришел не для того, чтобы ссориться.

– Меня иногда удивляет, зачем ты вообще сюда ходишь.

– Вот сегодня я привез тебе мебель.

– Ах да, мебель.

– У меня здесь машина. Давай я свезу тебя на пляж.

– Нам нельзя показываться вместе на пляже!

– Чепуха. Луиза сейчас, по-моему, там.

– Ради Христа, избавь меня от этой самодовольной дамы! – воскликнула Элен.

– Ну хорошо. Я тебя просто покатаю на машине.

– Это безопаснее, правда?

Скоби схватил ее за плечи и сказал:

– Я не всегда думаю только о безопасности.

– А мне казалось, что всегда.

И вдруг он почувствовал, что выдержка его кончилась, – он закричал:

– Не думай, что ты одна приносишь жертвы!

С отчаянием он видел, что между ними вот-вот разразится сцена: словно смерч перед ливнем, черный, крутящийся столб скоро закроет все небо.

– Конечно, твоя работа страдает, – сказала она с ребячливым сарказмом. – То и дело урываешь для меня полчасика!

– Я потерял надежду.

– То есть как?

– Я пожертвовал будущим. Я обрек себя на вечные муки.

– Не разыгрывай, пожалуйста, мелодраму! Я не понимаю, о чем ты говоришь. Ты только что сказал мне, что будущее твое обеспечено – ты будешь начальником полиции.

– Я говорю о настоящем будущем – о вечности.

– Вот что я в тебе ненавижу – это твою религию! Ты, наверно, заразился у набожной жены. Все это такая комедия! Если бы ты в самом деле верил, тебя бы здесь не было.

– Но я верю, и все же я здесь, – сказал он с удивлением. – Ничего не могу объяснить, но это так. И я не обманываю себя, я знаю, что делаю. Когда отец Ранк приблизился к нам со святыми дарами...

Элен презрительно прервала его:

– Ты мне все это уже говорил. Брось кокетничать! Ты веришь в ад не больше, чем я!

Он схватил ее за руки и яростно их сжал.

– Нет, тебе это так легко не пройдет! Говорю тебе – я верю! Я верю, говорю тебе! Верю, что если не случится чуда, я проклят на веки вечные. Я полицейский. Я знаю, что говорю. То, что я сделал, хуже всякого убийства, убить – это ударить, зарезать, застрелить, сделано – и конец, а я несу смертельную заразу повсюду. Я никогда не смогу от нее избавиться. – Он отшвырнул ее руки, словно бросал зерна на каменный пол. – Не смей делать вид, будто я не доказал тебе свою любовь.

– Ты хочешь сказать – любовь к твоей жене. Ты боялся, что она узнает.

Злость покинула его. Он сказал:

– Любовь к вам обоим. Если бы дело было только в ней, выход был бы очень простой и ясный. – Он закрыл руками глаза, чувствуя, как в нем снова просыпается бешенство. – Я не могу видеть страданий и причиняю их беспрерывно. Я хочу уйти от всего этого, уйти совсем.

– Куда?

Бешенство и откровенность прошли; через порог снова прокралась, как шелудивый пес, хитрость.

– Да просто мне нужен отпуск. – Он добавил: – Плохо стал спать. И у меня бывает какая-то странная боль.

– Дорогой, может, ты нездоров? – Смерч, крутясь, промчался мимо; буря теперь бушевала где-то вдали, их она миновала. – Я ужасная стерва. Мне иногда становится невтерпех, и я устала, но ведь все это чепуха. Ты был у доктора?

– На днях заеду в больницу к Тревису.

– Все говорят, что доктор Сайкс лучше.

– Нет, к Сайкс я не пойду.

Теперь истерика и злость оставили его, и он видел ее точно такой, какой она была в тот первый вечер, когда выли сирены. Он думал: господи, я не могу ее бросить. И Луизу тоже. Ты во мне не так нуждаешься, как они. У тебя есть твои праведники, твои святые, весь сонм блаженных. Ты можешь обойтись без меня.

– Давай я тебя прокачу на машине, – сказал он Элен. – Нам обоим надо подышать воздухом. В полутьме гаража он снова взял ее за руки и поцеловал.

– Тут нет чужих глаз... Уилсон нас видеть не может. Гаррис за нами не следит. Слуги Юсефа...

– Мой дорогой, я бы завтра же с тобой рассталась, если бы знала, что это поможет.

– Это не поможет. Помнишь, я написал тебе письмо и оно потерялось? Я старался сказать там все напрямик. Так, чтобы потом нечего было остерегаться. Я писал, что люблю тебя больше, чем жену... – Он замялся. – Больше, чем бога... – Говоря это, он почувствовал за своей спиной, возле машины, чье-то дыхание. Он резко окликнул: – Кто там?

– Где, дорогой?

– Тут кто-то есть. – Он обошел машину и громко спросил: – Кто здесь! Выходи.

– Это Али, – сказала Элен.

– Что ты здесь делаешь, Али?

– Меня послала хозяйка, – отвечал Али. – Я жду здесь хозяина: сказать, что хозяйка вернулась.

Его едва было видно в темноте.

– А почему ты ждал здесь?

– Голова дурит, – сказал Али. – Я сплю, совсем немножко поспал.

– Не пугай его, – взмолилась Элен. – Он говорит правду.

– Ступай домой, Али, – приказал ему Скоби, – и скажи хозяйке, что я сейчас приду. – Он смотрел, как Али, шлепая подошвами, мелькает на залитой солнцем дороге между железными домиками. Он ни разу не обернулся.

– Не волнуйся, – сказала Элен. – Он ничего не понял.

– Али у меня пятнадцать лет, – заметил Скоби. И за все эти годы ему первый раз-было стыдно перед Али. Он вспомнил ночь после смерти Пембертона, как Али с чашкой чая в руках поддерживал его за плечи в тряском грузовике; но потом вспомнил и другое: как воровато ускользнул слуга Уилсона возле полицейского управления.

– Ему ты можешь доверять.

– Не знаю, – сказал Скоби. – Я потерял способность доверять.

Наверху спала Луиза, а Скоби сидел перед раскрытым дневником. Он записал против даты 31 октября: Начальник полиции сегодня утром сказал, что меня назначают на его место. Отвез немножко мебели Э.Р. Сообщил Луизе новости, она обрадовалась". Другая его жизнь – открытая, незамутненная, реальная – лежала у него под рукой, прочная, как римская постройка. Это была та жизнь, которую, по общему мнению, он вел: никто, читая эти записки, не мог бы себе представить ни постыдной сцены в полутемном гараже, ни встречи с португальским капитаном; ни Луизу, слепо бросающую ему в лицо горькую правду, ни Элен, обвиняющую его в лицемерии. И немудрено, думал он: я слишком стар для всех этих переживаний. Я слишком

стар для жульничества. Пусть лгут молодые. У них вся жизнь впереди, чтобы вернуться к правде. Он поглядел на часы: 11:45. И записал: «Температура в 2:00 +33о». Ящерица прыгнула вверх по стене, крохотные челюсти защелкнулись, схватив мошку. Что-то царапается за дверью – бродячая собака? Он снова положил перо, в лицо ему через стол глядело одиночество. Разве можно быть одиноким, когда наверху жена, а на холме, в пятистах шагах отсюда, любовница? Однако с ним за столом, как молчаливый собеседник, сидело одиночество. Скоби казалось, что он никогда еще не был так одинок.

Теперь уж некому сказать правду. Кое-чего не должен был знать начальник полиции, кое-чего – Луиза; даже Элен и той он не мог сказать всего: ведь он принес такую жертву, чтобы не причинять ей боли, зачем же сейчас ему зря ее огорчать? Ну а что касается бога, он мог с ним разговаривать только как с врагом – такая у них была друг на друга обида. Он пошевелил на столе рукой, и казалось, будто зашевелилось и одиночество, оно коснулось кончиков его пальцев. «Ты да я, – сказала одиночество, – да мы с тобой». Если бы посторонние все о нем знали, подумал он, пожалуй, ему бы даже позавидовали: Багстер позавидовал бы, что у него есть Элен, Уилсон – что у него Луиза. «В тихом омуте...» – воскликнул бы Фрезер, плотоядно облизываясь. Им еще, пожалуй, кажется, что мне от всего этого есть какая-то корысть, мысленно удивился он, хотя вряд ли кому-нибудь на свете дано меньше, чем мне. И я не могу даже себя пожалеть: ведь я точно знаю, как я виноват. Видно, он так далеко загнал себя в пустыню, что даже кожа его приняла окраску песка.

Дверь за его спиной осторожно скрипнула. Скоби не шевельнулся. Сюда крадутся соглядатаи, думал он. Кто это – Уилсон, Гаррис, слуга Пембертона, Али?...

– Хозяин, – прошептал чей-то голос, и босая нога шлепнула по цементному полу.

– Кто это?... – спросил Скоби, не оборачиваясь. Из розовой ладони на стол упал комочек бумаги, и рука исчезла. Голос произнес:

– Юсеф сказал приходить тихо, пусть никто не видит.

– А чего Юсефу опять надо?

– Он посылает подарок, очень маленький подарок.

Дверь снова закрылась, и в комнату вернулась тишина. Одиночество сказало: «Давай прочтем вместе – ты да я».

Скоби взял комочек, он был легкий, но в середине лежало что-то твердое. Сначала Скоби не сообразил, что это такое, – наверно, камушек, положенный в записку, чтобы ее не сдуло ветром, и стал искать, где же самое письмо, которого, конечно, не оказалось – разве Юсеф кому-нибудь доверит написать такое письмо? Тогда он понял, что в бумаге бриллиант. Он ничего не понимал в драгоценных камнях, но по виду этот стоил не меньше, чем весь его долг Юсефу. Видимо, тот получил сообщение, что алмазы, посланные им на «Эсперансе», благополучно прибыли. Это не взятка, а знак благодарности, объяснил бы ему Юсеф, прижав толстую руку к своему открытому, ветреному сердцу.

Дверь распахнулась, и появился Али. Он держал за руку хныкающего парня. Али сказал:

– Этот вонючка шатался по всему дому. Пробовал двери.

– Кто ты такой? – спросил Скоби.

Парень залепетал, заикаясь от злости и страха:

– Я слуга Юсефа. Я принес хозяину письмо. – Он показал пальцем на стол, где в скомканной бумажке лежал камешек. Али перевел взгляд туда. Скоби сказал своему одиночеству: «Нам с тобой надо побыстрее шевелить мозгами!» Он спросил парня:

– Почему ты не пришел, как все люди, и не постучал в дверь? Почему ты прокрался, как вор?

Парень был худой, с грустными, добрыми глазами, как у всех племен менде. Он заявил:

– Я не вор. – Ударение на первом слове было таким незаметным, что, может быть, он и не собирался сказать дерзость. – Хозяин приказал идти очень тихо.

– Отнеси это обратно Юсефу и скажи ему, что я хотел бы знать, откуда он берет такие камни. Я думаю, что он ворует камни, и скоро все разуюзнаю. Ступай. На, возьми. Ну-ка, Али, выбрось его отсюда.

Али вытолкал парня в дверь, и Скоби услышал шарканье их подошв по дорожке. Что они делают, шепчутся? Он подошел к двери и крикнул им вслед:

– Скажи Юсефу, что я как-нибудь ночью к нему заеду и мы уж с ним поговорим по душам!

Он захлопнул дверь, подумав: как много знает Али. Недоверие к слуге снова забродило у него в крови, словно лихорадка. Али может меня погубить, подумал он, и не только меня, но даже их.

Он налил себе виски и взял со льда бутылку содовой. Сверху крикнула Луиза:

– Генри!

– Что, дорогая?

– Уже двенадцать?

– Около того, по-моему.

– Пожалуйста, не пей ничего после полуночи. Ты ведь помнишь про завтрашний день? – Конечно, помню, подумал он, осушая стакан; завтра первое ноября, день Всех святых, а сегодня – ночь всех усопших. Чей дух пролетит над этим бокалом? – Ты ведь пойдешь к причастию, дорогой? – И он подумал устало: когда же всему этому будет конец? Но чего мне теперь церемониться? Если уж губить душу, так губить до конца. Единственный дух, который сумело вызвать виски, было все то же одиночество: оно кивало, сидя напротив, отхлебывая из его стакана. «Следующим испытанием, – напомнило ему одиночество, – будет рождество, ночная служба, и тебе не отвертеться, никакие отговорки тебе в ту ночь не помогут, да и потом тоже... целой вереницей пойдут праздники, а обедни весной и летом потянутся бесконечной чередой». Перед глазами его возникло залитое кровью лицо, глаза, закрытые под градом ударов, откинутая набок от боли голова Христа.

– Где же ты, Тикки? – позвала Луиза как будто с тревогой, словно в лицо ей дохнуло подозрение, и он опять подумал: можно ли в самом деле доверять Али? И бездушный здравый смысл африканского побережья – тех, кто торгует, тех, кто живет за счет казны, ему подсказал: «Никогда не верь черным. В конце концов они тебя подведут. Вот у меня, например, пятнадцать лет прожил слуга...» Тени недоверия собрались вокруг него в эту ночь всех усопших.

– Сейчас, дорогая, иду. – «Тебе ведь стоит сказать только слово, – обратился он к богу, – и легионы ангелов...» Рукой, на которой было кольцо, он ударил себя по щеке и увидел, что из ссадины пошла кровь. Он крикнул Луизе: – Ты что-то сказала, дорогая?

– Да нет, я только хотела тебе напомнить, что завтра у нас такой праздник! Мы опять вместе, и тебя назначают начальником полиции... Как хорошо, Тикки!

Вот это моя награда, сказал он гордо своему одиночеству, расплескивая по столу виски, бросая вызов самым злым духам и глядя, как бог истекает кровью.

Сразу было видно, что Юсеф допоздна заработался в своей конторе на пристани. Белый двухэтажный домик стоял у деревянного причала на самом краю Африки, как раз за военными складами горючего, и в окне, выходящим в город, из-под занавески блеснула полоска света. Когда Скоби пробирался туда между ящиками, полицейский отдал ему честь.

– Все спокойно, капрал?

– Все спокойно, начальник.

– Вы обошли порт со стороны негритянского квартала?

– Да, начальник. Все спокойно, начальник. – Он ответил так быстро, что сразу стало видно: он лжет.

– Портовые крысы уже за работой, а?

– Нет, нет, начальник. Везде тихо, как в могиле. – Избитая, книжная фраза показывала, что полицейский воспитывался в миссионерской школе.

– Ну что ж, спокойной ночи.

– Спокойной ночи, начальник.

Скоби пошел дальше. Он уже давно не видел Юсефа – с той самой ночи, когда сириец его шантажировал, – и вдруг почувствовал странное влечение к своему мучителю. Белый домик притягивал его, как магнит; казалось, там – единственная близкая ему душа, единственный человек, которому он мог доверять. По крайней мере, этот шантажист знал его, как никто; он мог посидеть с этим толстым нелепым человеком и рассказать ему всю правду, без утайки. В непривычном для Скоби мире лжи шантажист чувствовал себя как рыба в воде, он знал тут все ходы и выходы, мог посоветоваться, даже помочь... Из-за большого ящика появился Уилсон. Фонарик Скоби осветил его лицо, как географическую карту.

– Уилсон! – удивился Скоби. – Поздно же вы разгуливаете.

– Да, – согласился Уилсон, и Скоби с огорчением подумал: как он меня ненавидит!

– У вас есть пропуск на пристань?

– Да.

– Держитесь подальше от той части, которая примыкает к негритянскому кварталу. Одному там ходить опасно. Из носа кровь больше не идет?

– Нет, – сказал Уилсон. Он и не думал трогаться с места – у него была манера вечно загораживать дорогу, так что приходилось его обходить.

– Что ж, спокойной ночи, Уилсон. Загляните к нам, Луиза...

– Я ее люблю, Скоби.

– Я это заметил. И вы ей нравитесь, Уилсон.

– А я ее люблю, – повторил Уилсон. Он подергал брезент, прикрывавший ящик. – Разве вам понять, что это значит!

– Что именно?

– Любовь. Вы никого не любите, кроме себя, подлец вы этакий!

– У вас расхотелись нервы, Уилсон. Это климат. Вам надо полежать.

– Вы бы не вели себя так, если бы ее любили.

По черной воде с невидимого корабля донеслись звуки патефона – надрывно звучала модная песенка. Часовой кого-то окликнул, и тот ответил паролем. Скоби опустил фонарик, теперь он освещал только противомоскитные сапоги Уилсона.

– Любовь не такая простая штука, как вы думаете, Уилсон, – сказал он. – Вы начитались стихов.

– А что бы вы сделали, если бы я ей все сказал... насчет миссис Ролт?

– Но вы ведь ей уже сказали, Уилсон. То, что вы об этом думаете. Однако она предпочитает мою версию.

– Смотрите, Скоби, я до вас доберусь.

– Вы думаете, Луизе будет лучше?

– Со мной она будет счастлива! – простодушно похвастал Уилсон дрогнувшим голосом, который перенес Скоби на пятнадцать лет назад и напомнил ему человека куда моложе, чем тот замаранный субъект, который разговаривал сейчас с Уилсоном на берегу моря, прислушиваясь к тихому плеску воды о деревянный причал.

Скоби негромко сказал:

– Да, вы постараетесь. Я знаю, вы постараетесь. Может быть... – Но он и сам не знал, как договорить фразу, какое слабое утешение приберег он для Уилсона – оно смутно промелькнуло у него в мозгу и исчезло. Вдруг его охватило раздражение против этой долговязой «романтической» фигуры там, у ящика, – он просто невежда, хотя и знает так много. Скоби сказал: – Пока что мне бы хотелось, чтобы вы перестали за мной шпионить.

– Это моя обязанность, – признался Уилсон, и сапоги его задвигались в луче фонарика.

– Все, что вы пытаетесь выяснить, ничего не стоит.

Скоби оставил Уилсона возле склада горючего и пошел дальше. Когда он поднимался по ступенькам в контору Юсефа, он оглянулся и увидел в темноте густую черную тень – там стоял Уилсон, смотрел ему вслед и ненавидел. Он вернется домой и напишет донесение: «В 23:25 я заметил майора Скоби, который явно направлялся на заранее назначенное свидание...»

Скоби постучался и вошел. Юсеф полулежал за столом, положив на него ноги, и диктовал чернокожему конторщику. Не прерывая фразы «...пятьсот рулонов в клетку, семьсот пятьдесят с ведерками на песочном фоне, шестьсот рулонов искусственного шелка в горошек», он поглядел на Скоби с надеждой и тревогой. Потом резко приказал конторщику:

– Убирайся. Но потом вернись. Скажи слуге, чтобы никого не впускал. – Он снял ноги со стола, приподнялся и протянул дряблую руку. – Добро пожаловать, майор Скоби. – Но рука упала, как ненужная тряпка. – Вы впервые почтили мою контору своим присутствием, майор Скоби.

– Да я толком не знаю, зачем я сюда пришел, Юсеф.

– Мы так давно не виделись. – Юсеф сел и устало подпер огромную голову огромной, как тарелка, ладонью. – Время для разных людей течет по-разному: для кого медленно, для кого быстро. Все зависит от их симпатии друг к другу.

– На этот счет у сирийцев, наверно, есть стихи.

– Есть, майор Скоби, – живо подтвердил Юсеф.

– Вам бы дружить не со мной, а с Уилсоном, Юсеф. Он любит стихи. У меня прозаическая душа.

– Выпьете виски, майор Скоби?

– Не откажусь.

Он сидел по другую сторону письменного стола; между ними возвышался неизменный синий сифон.

– Как поживает миссис Скоби?

– Зачем вы послали мне бриллиант, Юсеф?

– Я ваш должник, майор Скоби.

– Ну нет, это неправда. Вы расплатились со мной сполна той бумажкой.

– Я изо всех сил стараюсь забыть все это дело. Я уговариваю себя, что это была просто дружеская услуга и ничего больше.

– Стоит ли лгать самому себе, Юсеф? Себя ведь не обманешь.

– Майор Скоби, если бы я чаще с вами встречался, я стал бы лучше. – В стаканах зашипела содовая, и Юсеф с жадностью выпил. – Сердцем чувствую, майор Скоби, что вы встревожены, огорчены... Я всегда мечтал, что вы придете ко мне в трудную минуту.

– А ведь было время, когда я смеялся над мыслью, что могу к вам прийти.

– У нас в Сирии есть притча про льва и мышь...

– У нас она тоже есть, Юсеф. Но я никогда не считал вас мышью, да и сам я не лев. Вот уж никак не лев!

– Вы встревожены из-за миссис Ролт. И вашей жены. Правда, майор Скоби?

– Да.

– Передо мной вам нечего стыдиться, майор Скоби. У меня было в жизни немало неприятностей из-за женщин. Теперь мне легче, я многому научился. Я научился плевать на все, майор Скоби. Я говорю обеим: «Мне плевать на все. Я сплю, с кем хочу. Не нравится – не живи со мной. А мне плевать». И они с этим мирятся, майор Скоби. – Юсеф вздохнул, глядя на свое виски. – Иногда я даже предпочел бы, чтобы они не мирились.

– Я на очень многое пошел, Юсеф, чтобы моя жена ничего не подозревала.

– Я знаю, на что вы пошли, майор Скоби.

– Нет, всего вы не знаете. История с алмазами – это еще чепуха по сравнению...

– С чем?

– Вы не поймете. Но дело в том, что теперь знает еще один человек – Али.

– Но вы ведь доверяете Али?

– Кажется, доверяю. Но он знает и про вас. Он вошел вчера и видел бриллиант. Ваш слуга был очень неосторожен.

Крупная, широкая рука шевельнулась на столе.

– Я займусь моим слугой, не откладывая.

– Слуга Уилсона – сводный брат Али. Они друг с другом видятся.

– Вот это нехорошо, – сказал Юсеф.

Теперь Скоби выложил все свои тревоги, все, кроме самой главной. У него было странное чувство, будто первый раз в жизни он переложил свое бремя на чужие плечи. И Юсеф взвалил на себя это бремя, он явно взвалил его на себя. Поднявшись со стула, он пододвинул свою громадную тушу к окну и стал разглядывать зеленую штору, словно там был нарисован пейзаж. Он поднес руку ко рту и стал грызть ногти – щелк, щелк, щелк, зубы его прикусывали каждый ноготь поочередно. Потом он принялся за другую руку.

– Не думаю, чтобы тут было что-нибудь серьезное, – сказал Скоби. Его охватило беспокойство; казалось, он нечаянно пустил в ход мощную машину и теперь не мог уже с ней совладать.

– Плохо, когда не доверяешь, – сказал Юсеф. – Слуг надо иметь таких, которым доверяешь. Ты о них всегда должен знать больше, чем они о тебе. – В этом для него, видимо, и состояло доверие.

– Я всегда ему доверял, – сказал Скоби.

Юсеф поглядел на свои обкусанные ногти.

– Не беспокойтесь, – сказал он. – Я не хочу, чтобы вы беспокоились. Предоставьте это дело мне, майор Скоби. Я выясню, можете ли вы ему доверять. – Он неожиданно объявил: – Я о вас позабочусь.

– Каким образом? – Меня это даже не возмутило, подумал Скоби не без удивления. Обо мне позаботятся, и я чувствую себя спокойно, как ребенок на руках у няньки.

– Только ни о чем не спрашивайте, майор Скоби. На этот раз предоставьте все мне. Я в

таких делах знаю толк.

Отойдя от окна, Юсеф перевел взгляд на Скоби: глаза его, как задвижки на телескопе, были пустые и блестящие. Он сказал, ласково взмахнув широкой, влажной рукой:

– Вы только напишите вашему слуге записочку, майор Скоби, и попросите его прийти сюда. Я с ним поговорю. Мой слуга отнесет ему записку.

– Но Али не умеет читать.

– Тем лучше. Вы пошлете с моим слугой какой-нибудь знак, что он от вас. Ваше кольцо с печаткой.

– Что вы хотите сделать, Юсеф?

– Я хочу вам помочь, майор Скоби. Вот и все.

Медленно, неохотно Скоби стал снимать с пальца кольцо.

– Он прожил у меня пятнадцать лет. До сих пор я ему всегда доверял.

– Вот увидите, – сказал Юсеф, – все будет в полном порядке. – Он подставил ладонь, чтобы взять кольцо, и руки их соприкоснулись; это было похоже на рукопожатие заговорщиков. – Напишите несколько слов.

– Кольцо не слезает, – сказал Скоби. Он почувствовал какое-то странное нежелание его снимать. – Да в общем это не нужно. Он и так придет, если ваш слуга скажет, что я его зову.

– Не думаю. Они не любят ходить по ночам в порт.

– Ничего с ним не случится. Он ведь будет не один. С ним пойдет ваш слуга.

– Да, да, это конечно. И все же, по-моему, если вы ему что-нибудь пошлете в доказательство, что это не ловушка... Слуге Юсефа верят не больше, чем самому Юсефу...

– Пусть он тогда придет завтра.

– Нет, лучше сегодня, – сказал Юсеф.

Скоби пошарил в карманах и задел пальцем разорванные четки.

– Натя, пусть возьмет, – сказал он, – хотя это и не обязательно... – Он замолчал, встретившись с пустым взглядом Юсефа.

– Спасибо, – произнес Юсеф. – Это вполне подойдет. – У двери он добавил: – Располагайтесь как дома, майор Скоби. Налейте себе еще виски. Я только дам распоряжение слуге...

Его не было очень долго. Скоби в третий раз налил себе виски и, так как в маленькой конторе совсем нечем было дышать, погасил свет и отдернул штору окна, выходящего на море; из бухты чуть заметно потянул ветерок. Вставала луна, и плавучая база блестела, как серый лед. Скоби беспокойно подошел к другому окну, выходящему на пристань, к навесам и лесному складу негритянского квартала. Он увидел, как оттуда возвращается конторщик Юсефа, и подумал: какую, видно, власть имеет Юсеф над портовыми крысами, если его служащий может безнаказанно разгуливать один по их владениям. Я пришел за помощью, говорил себе он, и видишь, обо мне позаботились – но как и за чей счет? Сегодня день Всех святых; Скоби вспоминал, как привычно, почти без страха и стыда, он во второй раз встал на колени возле алтарной решетки, дожидаясь приближения священника. Даже смертный грех и тот может войти в привычку. Мое сердце окаменело, думал он и вспомнил раковины с прожилками, похожими на кровеносные сосуды, которые собираются на пляже. Берегись, ты наносишь слишком много ударов своей вере, еще один – и все тебе станет безразлично. Ему казалось, что его душа прогнила насквозь и теперь уже всякая попытка спасти ее безнадежна.

– Вам жарко? – послышался голос Юсефа. – Давайте посидим в темноте. С другом и темнота не страшна.

– Вас очень долго не было.

Юсеф объяснил с нарочитой неопределенностью:

– Много всяких дел.

Скоби решил, что сейчас самое время спросить у Юсефа, что тот намерен предпринять, но вдруг почувствовал такое отвращение к своей подлости, что слова замерли у него на языке.

– Да, жара, – сказал он. – Давайте попробуем устроить сквозняк. – Он отворил боковое окно на набережную. – Интересно, отправился Уилсон домой или нет?

– Уилсон?

– Он следил за мной, когда я шел сюда.

– Не беспокойтесь, майор Скоби. Я думаю, что ваш слуга больше не будет вас обманывать.

Скоби спросил с облегчением и надеждой:

– Значит, вы сумеете его чем-нибудь припугнуть?

– Не спрашивайте. Увидите сами.

Надежда и чувство облегчения сразу увяли.

– Но, Юсеф, я должен знать... – начал он.

– Юсеф его перебил:

– Я давно мечтал спокойно посидеть с вами вечером вот так, в темноте, со стаканчиком виски в руках, майор Скоби, и поговорить о важных вещах. О боге. О семье. О поэзии. Я глубоко почитаю Шекспира. У артиллеристов прекрасные актеры-любители, они научили меня ценить жемчужины английской литературы. Я без ума от Шекспира. Из-за Шекспира мне иногда даже хочется научиться читать, но я уже слишком для этого стар. Да и боюсь, не потеряю ли я тогда память. А без нее пострадают дела. Хотя я и не для них живу, но они мне необходимы, чтобы жить. Я об очень многом хотел бы с вами поговорить. Мне бы так хотелось узнать, каковы ваши взгляды на жизнь.

– У меня их нет.

– А та нить, за которую вы держитесь, чтобы не заблудиться в лесу?

– Я потерял дорогу.

– Что вы! Такой человек, как вы, майор Скоби! Я так вами восхищаюсь. Вы человек справедливый.

– Никогда им не был, Юсеф. Я просто не знал себя, вот и все. Есть такая поговорка насчет того, что конец – это начало. Когда я родился, я уже сидел с вами и пил виски, зная...

– Что именно, майор Скоби?

Скоби выпил до дна.

– Ваш слуга уже, наверно, дошел до моего дома.

– У него велосипед.

– Тогда они уже идут сюда.

– Наберемся терпения. Нам, может, долго придется ждать, майор Скоби. Вы же знаете, что такое слуги.

– Мне казалось, что знаю.

Он заметил, как дрожит его левая рука на столе, и зажал ее между колен. Он вспомнил долгий переход вдоль границы, бесчисленные биваки в лесной тени, когда Али что-то стряпал в коробке из-под сардин; снова пришла на память та последняя поездка в Бамбу: долгое ожидание у парома, приступ малярии, неизменное присутствие Али. Он отер пот со лба и на секунду подумал: это просто болезнь, лихорадка. Я скоро очнусь. События последних шести месяцев: первая ночь в домике на холме, письмо, в котором было слишком много сказано, контрабандные алмазы, поток лжи, причастие, принятое для того, чтобы успокоить женщину, – все это казалось таким же призрачным, как тени над кроватью, отбрасываемые керосиновым фонарем. Он сказал себе: сейчас я проснусь и услышу, как режут сирены, совсем как в ту ночь, в ту самую ночь... Он потряхнул головой и пришел в себя: в темноте напротив сидел Юсеф, во рту был вкус виски, а в

душе – сознание, что все это наяву. Он устало сказал:

– Они уже должны были бы прийти.

– Вы же знаете, что такое слуги. Пугаются сирен и прячутся где попало. Нам остается только сидеть и ждать, майор Скоби. Для меня это счастливый случай. Мне бы хотелось, чтобы утро никогда не настало.

– Утро? Я не собираюсь ждать Али до утра.

– Может, он перепугался. Понял, что вы его раскусили, и сбежал. Слуги иногда бегут к себе, в лес...

– Какая чепуха, Юсеф.

– Еще немножко виски, майор Скоби?

– Ладно. Ладно. – Он подумал: неужели я еще и спиваюсь? Видно, от меня уже ничего не осталось – ничего, что можно потрогать и сказать: это Скоби.

– Майор Скоби, ходят слухи, что справедливость в конце концов восторжествует и вас назначат начальником полиции.

Скоби осторожно ответил:

– Не думаю, чтобы до этого дошло.

– Я только хочу вас заверить, майор Скоби, что на мой счет вы можете быть спокойны. Я хочу вам добра, только добра. Я исчезну из вашей жизни, майор Скоби. Я никогда не буду для вас обузой. Хватит с меня того, что был такой вечер, как сегодня, – долгая беседа в темноте обо всем на свете. Эту ночь я никогда не забуду. Вам не о чем беспокоиться. Я обо всем позабочусь.

Через окно, из-за спины Юсефа, откуда-то из темной массы хижин и складов донесся крик, крик страха и боли; он поднялся, словно тонущий зверь, и снова пропал в темноте комнаты – в стакане виски, под столом, в корзинке для бумаг, – крик, который уже откричали.

Юсеф сказал как-то слишком уж быстро:

– Это пьяный. Куда вы, майор Скоби! – завопил он с испугом. – Одному там опасно...

Вот как Скоби в последний раз видел Юсефа: силуэт, неподвижно и криво обозначенный на стене; лунный свет, льющийся на сифон и два пустых стакана. У подножья лестницы стоял конторщик и вглядывался в даль набережной. В зрачки ему ударил лунный свет, и они заблестели, как дорожные знаки, показывая, куда повернуть.

В пустых складах по сторонам, между хижинами и грудями ящиков, которые Скоби освещал на бегу фонариком, все было неподвижно; если портовые крысы и вылезли из своих нор, тот крик загнал их обратно. Его шаги гулко отдавались в пустых амбарах, где-то в стороне выла бродячая собака. В этом лабиринте можно было проплутать до утра. Что же привело его так уверенно и быстро к мертвому телу, словно он сам выбирал место преступления? Сворачивая то в одну, то в другую сторону по этим проходам из брезента и ящиков, он чувствовал, будто какая-то жилка в виске сигнализирует ему, где Али.

Мертвый лежал, нелепо свернувшись, будто сломанная часовая пружина, возле груды пустых бочек из-под бензина; казалось, что его вышвырнули сюда, не дождавшись рассвета и птиц, которые питаются падалью. У Скоби, пока он не повернул к себе тело, еще мелькала какая-то надежда – ведь Али шел не один, а со слугой Юсефа. Но по темно-серой шее раз и другой полоснули ножом. Да, подумал он, теперь я могу ему доверять. Желтые глазные яблоки с красными прожилками были обращены к нему, но смотрели отчужденно, будто это мертвое тело отвергало его, от него отрекалось: «Я тебя не знаю». Дрожащим голосом он поклялся:

– Клянусь богом, я найду того, кто это сделал!

Но под этим незнакомым взглядом нельзя было лицемерить. Он подумал: «Это сделал я». Разве я не знал все время, пока сидел у Юсефа, что он что-то затевает? Разве я не мог заставить его мне ответить?

Чей– то голос сказал:

– Начальник?

– Кто это?

– Капрал Ламина, начальник.

– Вы не видите где-нибудь поблизости разорванные четки? Посмотрите внимательно.

– Я ничего не вижу, начальник.

Скоби думал: если бы только я мог плакать, если бы я мог чувствовать боль! Неужели я и в самом деле стал таким подлым? Помимо воли, он взглянул вниз, на мертвеца. Неподвижный воздух был густо пропитан бензиновыми парами, и лежавшее у ног тело вдруг показалось ему очень маленьким, темным и далеким, как разорванная нитка четок, которую он искал: несколько черных бусин и образок на конце нитки. О господи, подумал он, ведь это я тебя убил; ты служил мне столько лет, а я тебя убил. Бог лежал под бензиновыми бочками, и Скоби почувствовал вкус слез во рту, соленая влага разъедала трещины губ. Ты служил мне, а я вот что с тобой сделал. Ты был мне предан, а я отказал тебе в доверии.

– Что это вы, начальник? – шепнул капрал, опускаясь на колени возле мертвого тела.

– Я любил его, – сказал Скоби.

Он сдал дежурство Фрезеру, запер кабинет и сразу же поехал к домику на холме. Он вел машину, полужакрыв глаза, глядя прямо перед собой, и говорил себе, что сейчас, сегодня все поставит на место, чего бы это ни стоило. Жизнь начинается снова, с любовным бредом покончено. Ему казалось, что ночью любовь умерла навсегда, там, под бочками из-под брезента. Солнце жгло его потные, прилипшие к рулю руки.

Мысли его были так поглощены тем, что сейчас произойдет, – дверь откроется, будет произнесено несколько слов и дверь захлопнется снова, уже навсегда, – что он чуть было не проехал мимо Элен. Она шла навстречу по дороге, с непокрытой головой, и даже не видела машину. Ему пришлось побежать за ней, чтобы ее догнать. Когда она обернулась, он увидел то же лицо, что когда-то в Пенде, когда ее несли мимо, – полное безысходности, без возраста, как разбитое стекло.

– Что ты здесь делаешь? На солнце, без шляпы?

Она сказала рассеянно, стоя на твердой, глинистой дороге, поживаясь:

– Я искала тебя.

– Сядем в машину. Смотри, у тебя будет солнечный удар.

В глазах ее блеснула хитрость.

– Ага, значит это так просто? – спросила она, но подчинилась.

Они сидели рядом в машине. Теперь уже не было надобности ехать дальше, с тем же успехом можно было проститься здесь.

– Мне утром сказали насчет Али. Это ты сделал?

– Горло не я ему перерезал. Но умер он потому, что я существую на свете.

– А ты знаешь, кто это сделал?

– Я не знаю, кто держал нож. Наверно, какая-нибудь портовая крыса. Слуга Юсефа, который был с Али, пропал. Может, он это сделал, а может, и его убили. Мы никогда ничего не докажем. Не думаю, что это дело рук Юсефа...

– Ну, – сказала она, – на этом нам надо кончать. Я больше не могу портить тебе жизнь. Молчи! Дай мне сказать. Я не знала, что так будет. У других людей бывают романы, где есть начало, конец, где оба счастливы, у нас это не получается. Для нас почему-то – все или ничего. И поэтому надо выбрать «ничего». Пожалуйста, молчи. Я думаю об этом уже несколько недель. Я уеду отсюда сейчас же.

– Куда?

– Говорю тебе – молчи. Не спрашивай.

В ветровом стекле неясно отражалось ее отчаяние. Ему показалось, будто его разрывают на части.

– Дорогой мой, – сказала она, – только не думай, что это легко. Мне никогда не бывало так трудно. Куда бы легче было умереть. Ты теперь для меня во всем. Я никогда не смогу видеть железный домик или машину «моррис». И пить джин. Смотреть на черные лица. Даже кровать... ведь придется спать на кровати. Не знаю, куда я от тебя спрячусь. И не надо говорить, что через год все обойдется. Этот год надо прожить. Зная все время, что ты где-то там. Зная, что я могу послать телеграмму или письмо и тебе придется их прочесть, даже если ты не ответишь. – Он подумал: насколько ей было бы легче, если бы я умер. – Но я не имею права тебе писать, – сказала она. Она не плакала, ее глаза, когда он кинул на них быстрый взгляд, были сухие и воспаленные, такие, как тогда, в больнице, измученные глаза. – Хуже всего будет просыпаться. Всегда бывает такой миг, когда не помнишь, что все переменялось.

– Я тоже приехал проститься. Но, видно, и я не все могу.

– Молчи, дорогой. Я ведь поступаю как надо. Разве ты не видишь? Тебе не придется от меня уходить – я уйду от тебя. Ты даже не будешь знать, куда. Надеюсь, я не слишком уж пойду по рукам.

– Нет, – сказал он. – Нет.

– Тс-с-с, дорогой! У тебя все будет как надо. Вот увидишь. Ты сможешь смыть грязь. Снова станешь хорошим католиком – ведь тебе же это нужно, а не целая свора баб, правда?

– Мне нужно, чтобы я перестал причинять боль.

– Тебе нужен покой. У тебя он будет. Вот увидишь. Все будет хорошо. – Она положила руку ему на колено и, стараясь его утешить, все-таки заплакала.

Он подумал: где она научилась такой надрывающей душу нежности? Где они учатся так быстро стареть?

– Послушай, родной. Не ходи ко мне. Открой мне дверцу, она так туго открывается. Мы попросимся здесь, и ты поедешь домой или, если хочешь, к себе на службу. Так будет гораздо легче. Ты обо мне не беспокойся. Я не пропаду.

Он подумал: я избежал зрелища одной смерти, а теперь должен пережить все смерти сразу. Он перегнулся через Элен и рванул дверцу, его щеки коснулась ее щека, мокрая от слез. Прикосновение было как ожог.

– Поцелуй на прощанье можно себе позволить, мой дорогой. Мы ведь не ссорились. Не устраивали сцен. У нас нет друг на друга обиды.

Когда они целовались, он почувствовал губами дрожь, словно там билось сердце какой-то птицы. Они сидели неподвижно, молча, дверца машины была распахнута. С холма спускались несколько черных поденщиков; они с любопытством заглянули в машину.

Она сказала:

– Я не могу поверить, что это в последний раз, что я выйду и ты от меня уедешь и что мы больше никогда не увидим друг друга. Я постараюсь пореже выходить, пока не сяду на паром. Я буду там наверху, а ты будешь там внизу. О господи, как бы я хотела, чтобы у меня не было мебели, которую ты мне привез!

– Это казенная мебель.

– Один из стульев сломан – ты слишком поспешно на него водрузился.

– Родная моя, нельзя же так!

– Молчи, дорогой. Я ведь стараюсь поступать как надо, но я не могу пожаловаться ни одной живой душе, кроме тебя. В книжках всегда бывает человек, которому можно открыть душу. А мне надо это сделать, пока ты здесь.

Он подумал опять: если бы я умер, она бы от меня освободилась; мертвых забывают быстро, о мертвых себя не спрашивают; а что он сейчас делает? с кем он сейчас? Так для нее гораздо труднее.

– Ну вот, родной, я готова. Закрой глаза. Медленно сосчитай до трехсот – и меня уже не будет. Тогда быстро поворачивай машину и гони. Я не хочу видеть, как ты уезжаешь. И уши я заткну – не хочу слышать, как внизу ты включишь скорость. Я слышу этот звук по сто раз в день. Но я не хочу слышать, как включаешь скорость ты.

О господи, молил он, вцепившись потными руками в руль, убей меня сейчас! Разве когонибудь так мучит совесть, как меня! Что я наделал! Я несу с собой страдания, словно запах собственного тела. Убей меня! Сейчас! Прежде, чем я нанесу тебе новую рану.

– Закрой глаза, родной. Это конец. В самом деле конец. – Она сказала с отчаянием: – Хотя это так глупо!

– Я и не подумаю закрывать глаза, – сказал он. – Я тебя не брошу. Я тебе обещал.

– Ты меня не бросаешь. Я бросаю тебя.

– Ничего, детка, не выйдет. Мы любим друг друга. Ничего не выйдет. Я сегодня же вечером приеду наверх посмотреть, как ты. Я не смогу заснуть.

– Ты всегда засыпаешь как убитый. Никогда не видела, чтобы так крепко спали. Ах, дорогой, видишь, я опять над тобой шучу, как будто мы не расстаемся.

– Мы и не расстаемся. Пока еще нет.

– Но я ведь только калечу твою жизнь. Я не могу дать тебе счастья.

– Счастье – не самое главное.

– Но я приняла твердое решение.

– И я тоже.

– Но, родной, что же нам делать? – Она покорилась полностью. – Я не возражаю, чтобы у нас все шло по-старому. Я не боюсь даже лжи. Ничего не боюсь.

– Предоставь все мне. Я должен подумать. – Он нагнулся к ней и захлопнул дверцу машины. Прежде чем щелкнул замок, он принял решение.

Скоби смотрел, как младший слуга убирает со стола после ужина, смотрел, как он входит и выходит из комнаты, смотрел, как шлепают по полу его босые ноги.

– Я знаю, дорогой, это ужасно, но довольно об этом думать. Али теперь уже ничем не поможешь.

Из Англии пришла посылка с новыми книгами, и он смотрел, как она разрезает листы томика стихов. В волосах у нее было больше седины, чем тогда, когда она уезжала в Южную Африку, но выглядела она, как ему казалось, гораздо моложе, потому что больше подкрашивалась; ее туалетный столик был заставлен баночками, пузырьками и тюбиками, привезенными с юга. Смерть Али ее не тронула, да и почему бы ей расстраиваться? Его ведь тоже главным образом угнетало чувство вины. Если бы не угрызения совести, кто же горюет о смерти? Когда Скоби был моложе, он думал, что любовь помогает людям понимать друг друга, но с годами убедился, что ни один человек не понимает другого. Любовь – это только желание понять, но, беспрестанно терпя неудачу, желание пропадает, а может, с ним пропадает и любовь или превращается вот в такую мучительную привязанность, преданность, жалость. Она сидела рядом, читала стихи, но тысячи миль отделяли ее от его терзаний, а у него дрожали руки и сохло во рту. Она бы поняла, если бы прочла обо мне в книжке, но я едва ли понял бы ее, будь она литературным персонажем. Я ведь таких книг не читаю.

– Тебе нечего читать, милый?

– Прости. Мне что-то не хочется читать.

Она захлопнула книгу, и ему пришло в голову, что ведь и ей приходится делать усилие: она ведь хочет ему помочь. Иногда его охватывал ужас: а вдруг она все знает, а вдруг под безмятежным выражением, которое не сходит с ее лица с тех пор, как она вернулась, все же прячется горе? Она сказала:

– Давай поговорим о рождестве.

– До него еще так далеко, – поспешно возразил он.

– Не успеешь оглянуться, как оно придет. Я вот думаю: не позвать ли нам гостей? Нас всегда приглашают на праздники ужинать, а куда веселее позвать людей к себе. Ну хотя бы в

сочельник.

– Пожалуйста, если тебе хочется.

– И потом мы все могли бы пойти к ночной службе. Конечно, нам с тобой придется не пить после десяти, но другим это не обязательно.

Он взглянул на нее с внезапной ненавистью – она сидела такая веселая, самодовольная, видно, обдумывала, как бы вконец погубить его душу. Он ведь будет начальником полиции. Она добилась того, чего хотела, – того, что она звала благополучием, и теперь душа ее покойна. Он подумал: я любил истеричку, которой казалось, что весь мир потешается над ней за ее спиной. Я люблю неудачников, я не могу любить преуспевающих. А до чего же благополучный у нее вид – она ведь одна из праведных. Он вдруг увидел, как это широкое лицо заслонило тело Али под черными бочками, измученные глаза Элен и лица всех отверженных. Думая о том, что он совершил и собирался совершить, он с любовью сказал себе: даже бог – и тот неудачник.

– Что с тобой, Тикки? Неужели ты все еще огорчаешься?...

Но он не мог произнести мольбы, которая была у него на языке: дай мне пожалеть тебя снова, будь опять несчастной, некрасивой, неудачливой, чтобы я снова полюбил тебя и не чувствовал между нами злого отчуждения. Ибо час уже близок. Я хочу и тебя любить до конца. Он медленно произнес:

– Опять эта боль. Уже прошло. Когда она меня схватит... – он вспомнил фразу из справочника: – грудь как в тисках.

– Тебе надо сходить к доктору, Тикки.

– Завтра схожу. Я все равно собирался поговорить с ним насчет моей бессонницы.

– Твоей бессонницы? Но, Тикки, ты же спишь как сурок!

– Последнее время нет.

– Ты выдумываешь.

– Нет. Я просыпаюсь около двух и не могу заснуть, забываюсь под самое утро. Да ты не волнуйся. Мне дадут снотворное.

– Терпеть не могу наркотиков.

– Я не буду их долго принимать, не бойся, я к ним не привыкну.

– Надо, чтобы к рождеству ты поправился, Тикки.

– К рождеству я совсем поправлюсь.

Он медленно пошел к ней через комнату, подражая походке человека, которой боится, что к нему опять вернется боль, и положил ей руку на плечо.

– Не волнуйся.

Ненависть сразу же прошла: не такая уж она удачливая, ей ведь никогда не быть женой начальника полиции.

Когда она легла спать, он вынул дневник. Вот в этом отчете он никогда не лгал. На худой конец – умалчивал. Он записывал температуру воздуха так же тщательно, как капитан ведет свою лоцию. Ни разу ничего не преувеличивал и не преуменьшил, нигде не пускался в рассуждения. Все, что здесь написано, – факты, ничем не прикрашенные факты.

«1 ноября. Ранняя обедня с Луизой. Утром разобрал дело о мошенничестве по иску миссис Оноко. В 2:00 температура +32о. Видел Ю. у него в конторе. Али нашли убитым». Изложение фактов было таким же простым и ясным, как тогда, когда он написал: «К. умерла».

«2 ноября». Он долго просидел, глядя на эту дату, так долго, что сверху его окликнула Луиза. Он предусмотрительно ответил:

– Ложись, дорогая. Если я посижу подольше, может, я сразу усну.

Но Скоби так утомился за день и ему пришлось продумать столько разных планов, что он тут же за столом стал клевать носом. Взяв из ледника кусок льда, он завернул его в носовой

платок и, приложив ко лбу, подержал, пока сон не прошел.

«2 ноября». Он снова взялся за перо – сейчас он подпишет свой смертный приговор. Он написал: «Видел несколько минут Элен. (Опаснее всего попасться на том, что ты что-то скрываешь.) В 2:00 температура +33о. Вечером снова почувствовал боль. Боюсь, что это грудная жаба». Он просмотрел записи за прошлую неделю и добавил кое-где: "Спал очень плохое, «Плохо провел ночь», «Продолжается бессонница». Он внимательно перечел все записи: их потом прочтут судебный следователь, страховые инспекторы. Записи, как ему казалось, были сделаны в обычной его манере. Потом он снова приложил лед ко лбу, чтобы прогнать сон. После полуночи прошло только полчаса, лучше ему потерпеть до двух.

- Грудь сжимает, как в тисках, – сказал Скоби.
- И что вы в этих случаях делаете?
- Да ничего. Стараюсь не двигаться, пока боль не пройдет.
- Как долго она продолжается?
- Трудно сказать, но, по-моему, не больше минуты.

Словно приступая к обряду, доктор взял стетоскоп. Доктор Тревис делал все так серьезно, почти благоговейно, будто священнодействовал. Может быть, по молодости лет он относился к человеческой плоти с большим почтением; когда он выстукивал грудь, он делал это медленно, осторожно, низко пригнув ухо, словно и в самом деле ожидал, что кто-то или что-то откликнется таким же стуком. Латинские слова мягко соскальзывали с его языка, как у священника во время обедни – sternum вместо расет «"грудь" вместо „мир“ (лат.)».

- А кроме того, – сказал Скоби, – у меня бессонница.

Молодой человек уселся за стол и постучал по нему чернильным карандашом: в уголке рта у него было лиловое пятнышко, оно показывало, что временами, забывшись, он сосет этот карандаш.

– Ну это, по-видимому, нервы, – сказал доктор Тревис, – предчувствие боли. Это значения не имеет.

– Для меня имеет. Вы можете дать мне какое-нибудь лекарство? Стоит мне заснуть, и я чувствую себя хорошо, но до этого я часами лежу, прислушиваясь к себе... Иногда я с большим трудом могу потом работать. А у полицейского, как вы знаете, голова должна быть ясная.

– Конечно, – сказал доктор Тревис. – Мы мигом приведем вас в порядок. Эвипан – вот что вам нужно. – Подумать только, как все это просто! – Ну, а что касается боли... – и он снова застучал карандашом по столу. – Невозможно, конечно, сказать наверное... Я попрошу вас тщательно запоминать обстоятельства каждого приступа... причины, которые, по-вашему, его вызвали. Тогда мы, надеюсь, сможем наладить дело так, чтобы исключить эти приступы почти полностью.

- Но что у меня не в порядке?

– В вашей профессии есть слова, пугающие неспециалиста. Очень жаль, что нам нельзя употреблять вместо слова «рак» формулу вроде H₂O. Пациенты нервничали бы куда меньше. То же самое можно сказать и о грудной жабе.

- Вы думаете, у меня грудная жаба?

– Все симптомы налицо. Но с этой болезнью можно прожить много лет и даже потихоньку работать. Мы должны точно установить, что вам по силам.

- Нужно мне сказать об этом жене?

– Не вижу оснований от нее это скрывать. Дело в том, что такая болезнь означает... выход на пенсию.

- И это все?

– Вы можете умереть от самых разных болезней прежде, чем вас доконает грудная жаба... если будете вести себя разумно.

- Но, с другой стороны, могу умереть в любую минуту?

– Мне трудно за что-нибудь поручиться, майор Скоби. Я даже не вполне уверен, что это грудная жаба.

– Тогда я откровенно поговорю с начальником полиции. Мне не хочется, пока у нас нет уверенности, тревожить жену.

– На вашем месте я бы рассказал ей то, что вы от меня узнали. Ее надо подготовить. Но объясните ей, что, соблюдая режим, вы можете прожить еще много лет.

– А бессонница?

– Вот это вам поможет.

Сидя в машине – рядом на сиденье лежал маленький пакетик, – он думал: ну, теперь осталось только выбрать день. Он долго не включал мотор, он чувствовал какое-то возбуждение, как будто доктор и в самом деле вынес ему смертный приговор. Взгляд его был прикован к аккуратной сургучной печати, похожей на подсохшую ранку. Он думал: все еще надо соблюдать осторожность, еще какую осторожность! Ни у кого не должно зародиться никаких подозрений. И дело не только в страховой премии, я должен оберегать душевный покой моих близких. Самоубийство – не то, что смерть пожилого человека от грудной жабы.

Он распечатал пакетик и прочел правила приема лекарства. Он не знал, сколько надо принять, чтобы доза была смертельной, но если принять в десять раз больше, чем полагается, тут уж наверняка не ошибешься. Это означает, что в течение девяти ночей он должен брать из пакетика по таблетке и прятать их, чтобы принять все вместе в десятую ночь. В дневник надо добавить еще несколько записей в доказательство того, что он хочет внушить; его надо вести до последнего дня – до 12 ноября. И надо записать, что он собирается делать на будущей неделе. Во всем его поведении не должно быть и намека на то, что он прощается с жизнью. Он задумал совершить самое большое преступление, какое знает католическая вера, так пусть же оно останется нераскрытым.

Сначала к начальнику полиции... Он поехал к себе на службу, но остановился возле церкви. Торжественность того, что он намеревался совершить, вызвала у него даже какой-то душевный подъем: наконец-то он будет действовать, хватит нерешительности и слабодушия! Он спрятал пакетик подальше и вошел, неся свою смерть в кармане. Старая негритянка зажигала свечу перед статуей богородицы, другая старуха сидела, поставив возле себя базарную корзину, и, сложив руки, глядела на алтарь. Если не считать их, церковь была пуста. Скоби сел сзади, у него не было желания молиться, да и что в этом толку? Если ты католик, то знаешь заранее: стоит совершить смертный грех, и никакая молитва тебе не поможет, – однако он с грустной завистью смотрел на обеих молящихся. Они все еще обитали в стране, которую он покинул. Вот что наделала любовь к стране, которую он покинул. Вот что наделала любовь к людям – она отняла у него любовь к вечности. И нечего себя уговаривать – он ведь уже не молод, – будто игра стоит свеч.

Если ему нельзя молиться, он может хотя бы поговорить с богом по душам, сидя как можно дальше от Голгофы. Он сказал: «Боже, я один во всем виноват, ведь я же все знал с самого начала. Я предпочел причинить боль тебе, а не Элен или жене, потому что твоих страданий я не вижу. Я их только могу себе представить. Но есть предел мукам, которые я могу причинить тебе... или им. Я не могу покинуть ни одну из них, пока я жив, но я могу умереть и убрать себя из их жизни. Я – их недуг, и я же могу их исцелить. Но я и твой недуг, господи. Сколько же можно тебя оскорблять? Разве я могу подойти к алтарю на рождество – в день твоего рождения – и снова прикрыть свою ложь, вкусив твоей плоти и крови? Нет, не могу. Тебе будет лучше, если ты потеряешь меня раз и навсегда. Я знаю, что я делаю. И не молю о прощении. Я обрекаю себя на вечное проклятие, что бы это для меня ни значило. Я мечтал о покое, и я теперь никогда больше не буду знать покоя. Но хотя бы у тебя будет покой, когда я стану для тебя недостижим. И как бы ты меня ни искал – под ногами, словно иголку, упавшую на пол, или далеко, за горами и долами, – ты меня не найдешь. Ты сможешь забыть меня, господи, на веки вечные». Одной рукой он сжимал в кармане пакетик, как якорь спасения.

Но нельзя без конца произносить монолог: рано или поздно услышишь другой голос –

всякий монолог превращается в спор. Вот и теперь Скоби не мог заглушить другой голос: он звучал из самой глубины его существа. «Ты говоришь, что предан мне, как же ты намерен с собой поступить – отнять себя у меня навеки? Я сотворил тебя с любовью. Я плакал твоими слезами. Я спасал тебя, когда ты даже об этом не знал; я зародил в тебе стремление к душевному покою только для того, чтобы когда-нибудь его удовлетворить и увидеть тебя счастливым. А теперь ты меня отталкиваешь, ты хочешь отринуть меня навсегда. Нас ничто не разделяет, когда мы говорим друг с другом; мы равны, я смиренен, как любой нищий. Неужели ты не можешь мне доверять, как доверял бы верному псу? Я был верен тебе две тысячи лет. Все, что от тебя требуют, – это позвонить в колокольчик, войти в исповедальню, поведать свои грехи... Ведь раскаяние уже говорит в тебе, оно стучит в твое сердце. Ведь это так просто: сходи в домик на холме и попроси. Или, если не можешь иначе, пренебрегай мной, как прежде, но уже больше не лги. Ступай к себе и прости с женой, иди к своей любовнице. Если ты будешь жить, ты рано или поздно ко мне вернешься. Одна из них будет страдать, но, поверь мне: я позабочусь, чтобы это страдание не было чрезмерным».

Голос смолк, и его собственный голос ответил, убивая последнюю надежду: «Нет. Я тебе не верю. Я никогда тебе не верил. Если ты меня создал, ты создал и это чувство ответственности, которое я таскаю на себе, как мешок с камнями. Я ведь не зря полицейский – я отвечаю за порядок и блюду справедливость. Для такого человека, как я, это самая подходящая профессия. Я не могу переложить свою ответственность на тебя. А если бы мог, я не был бы тем, что я есть. Для того чтобы спасти себя, я не могу заставить одну из них страдать. Смерть больного человека будет их мучить недолго – все должны умереть. Мы все примирились с мыслью о смерти; это ведь только с жизнью мы никак не можем примириться».

«Пока ты живешь, – сказал голос, – я не теряю надежды. У человека всегда теплится надежда. Но почему же ты не хочешь больше жить, как жил до сих пор? – молил его голос, с каждым разом запрашивая все меньше, как торговец на базаре. – Бывают грехи и потяжелее», – объяснял он.

«Нет, – отвечал Скоби. – Невозможно. Я не желаю снова и снова оскорблять тебя ложью у твоего же алтаря. Ты сам видишь, боже: выхода нет, это тупик», – сказал он, сжимая в кармане пакетик.

Он встал, повернулся спиной к алтарю и вышел. И только тогда, увидев в зеркальце машины свои глаза, он понял, как их жгут непролитые слезы. Он завел машину и поехал в полицию, к начальнику.

"3 ноября. Вчера сказал начальнику, что у меня нашли грудную жабу и мне придется выйти в отставку, как только подыщут заместителя. В 2:00 температура +32о. Ночь провел гораздо лучше благодаря эвипану.

4 ноября. Пошел с Луизой к ранней обедне, но почувствовал приближение нового приступа и вернулся, не дождавшись причастия. Вечером сказал Луизе, что вынужден буду выйти на пенсию еще до конца года. Не сказал про грудную жабу, сослался на сердечное переутомление. Снова хорошо спал благодаря эвипану. Температура в 2:00 +30о.

5 ноября. Кража ламп на Веллингтон-стрит. Провел все утро в лавке Азикаве, проверяя сообщение о пожаре в кладовой. Температура в 2:00 +31о. Отвез Луизу в клуб на библиотечный вечер.

6– 10 ноября. Впервые не вел ежедневных записей в дневнике. Боли стали чаще, не хотел никакого лишнего напряжения. Давит, как в тисках. Длится каждый раз около минуты. Может схватить, если пойду пешком больше полумили. Две прошлые ночи плохо спал, несмотря на эвипан. Думаю, что боялся приступа.

11 ноября. Снова был у Тревиса. По-видимому, теперь уже нет сомнений, что это грудная жаба. Сказал вечером Луизе, успокоил ее, что, соблюдая режим, могу прожить еще несколько лет. Обсудил с начальником возможность срочного отъезда на родину. При всех обстоятельствах смогу уехать только через месяц, слишком много дел надо рассмотреть в суде в течение ближайшей недели или двух. Приняв приглашение Феллоуза на 13-е, начальника – на 14-е. Температура в 2:00 +30о".

Скоби положил перо и вытер кисть руки промокашкой. Было шесть часов вечера 12 ноября. Луиза уехала на пляж. Голова у него была ясная, но от плеча до пальцев пробегала нервная дрожь. Он думал: вот я и подхожу к концу. Сколько лет минуло с тех пор, как я пришел под дождем в железный домик на холме, когда выла сирена, и был там счастлив? После стольких лет пора и умирать.

Но он еще не пустил в ход все ухищрения, еще не сделал вид, будто проживет эту ночь; надо еще сказать «до свиданья», зная в душе, что это «прощай». Он поднимался в гору медленно – на случай, если за ним кто-нибудь следит (ведь он тяжело болен), и свернул к железным домикам. Разве он может умереть, не сказав ни единого слова, – впрочем, какого слова? «О боже, – молился он, – подскажи мне нужное слово!», но, когда он постучал, никто не отозвался, и слов так и не пришлось произносить. Может быть, и она уехала на пляж – с Багстером.

Дверь была не заперта, и он вошел. Мысленно он пережил годы, но тут время стояло неподвижно. И бутылка джина могла быть той же, из которой украдкой отпил слуга, – когда же это было? Простые казенные стулья выстроились вокруг, словно на съемках кинофильма; ему трудно было поверить, что их когда-нибудь сдвигали с места, так же как пуф, подаренный, кажется, миссис Картер. Подушка на кровати не была взбита после дневного сна, и он потрогал теплую вмятину, оставленную ее головой. «О боже, – молился он, – я ухожу от всех вас навсегда; дай же ей вовремя вернуться, дай мне еще хоть раз ее увидеть». Но жаркий день

остывал вокруг, и никто не приходил. В половине седьмого вернется Луиза. Ему нельзя больше ждать.

Надо оставить ей хоть весточку, думал он; и, может, пока я буду писать, она придет. Сердце его сжималось – боль была гораздо острее той, которую он выдумывал для Тревиса. Мои руки никогда уже до нее не дотронутся. Рот ее еще целых двадцать лет будет принадлежать другим. Большинство тех, кто любит, утешает себя надеждой на вечный союз по ту сторону могилы, но он-то знал, что его ждет: он обрекал себя на вечное одиночество. Он стал искать бумагу, но не обнаружил нигде даже старого конверта; ему показалось, что он нашел бювар, но это был альбом с марками, и, машинально открыв его, он подумал, что судьба метнула в него еще одну стрелу, потому что вспомнил, как попала сюда вот эта марка и почему она залита джином. Элен придется ее отсюда вырвать, подумал он, но ничего страшного: она ведь сама говорила, что в альбоме не остается следов, когда оттуда вырывают марку. В карманах у него тоже не оказалось ни клочка бумаги и, вдруг почувствовав ревность, он приподнял маленькую марку с Георгом VI и написал под ней чернилами: «Я тебя люблю». Этих слов она не вырвет, подумал он с какой-то жестокостью и огорчением, они тут останутся навсегда. На мгновение ему почудилось, что он подложил противнику мину, но какой же это противник? Разве он не убирает себя с ее пути, как опасную грудку обломков? Он затворил дверь и медленно пошел вниз – она могла еще встретиться ему на дороге. Все, что он сейчас делает, – это в последний раз: какое странное ощущение! Он никогда больше не пройдет этой дорогой, а через пять минут, вынув неоткупоренную бутылку джина из буфета, он подумал: я никогда больше не откупорю ни одной бутылки. Действий, которые могли еще повториться, становилось все меньше. Скоро останется только одно неповторимое действие – последний глоток. Он подумал, стоя с бутылкой джина в руке: и тогда начнется ад и все вы будете от меня в безопасности – Элен, Луиза и Ты.

За ужином он нарочно говорил о том, что они будут делать на будущей неделе; ругал себя, что принял приглашение Феллоуза, объяснял, что в гости к начальнику тоже придется пойти – им о многом надо потолковать.

– Неужели, Тикки, нет надежды, что, отдохнув, как следует отдохнув...

– Нечестно дольше тянуть по отношению и к ним и к тебе. Я могу свалиться в любую минуту.

– Значит, ты в самом деле выходишь в отставку?

– Да.

Она завела разговор о том, где они будут жить; он почувствовал смертельную усталость; ему пришлось напрячь всю свою волю, чтобы проявить интерес к каким-то совершенно нереальным деревням, к тем домам, где, как он знал, они никогда не поселятся.

– Я не хочу жить в пригороде, – сказала Луиза. – О чем я бы мечтала – это о зимнем коттедже в Кенте: оттуда легко попасть в Лондон.

– Все зависит от того, сколько у нас будет денег, – сказал он. – Пенсия у меня не очень большая.

– Я пойду работать. Сейчас, во время войны, работу найти легко.

– Надеюсь, мы проживем и без этого.

– Да я охотно буду работать.

Настало время спать, и ему мучительно не хотелось, чтобы она ушла. Ведь стоит ей подняться вверх – ему останется только одно: умереть. Он не знал, как ее подольше задержать – они уж переговорили обо всем, что их связывало. Он сказал:

– Я немножко посижу. Может, если я не лягу еще полчаса, меня одолеет сон. Не хочется зря принимать эвипан.

– А я очень устала после пляжа. Пойду.

Когда она уйдет, подумал он, я останусь один навсегда. Сердце колотилось, его мучило тошнотворное ощущение противоестественности всего, что происходит. Я не верю, что сделаю это с собой. Вот я встану, пойду спать, и жизнь начнется снова. Ничто и никто не может заставить меня умереть! И хотя голос уже больше не взывал к нему из глубины его существа, ему казалось, будто его касаются чьи-то пальцы, они молят, передают ему немые сигналы бедствия, стараются его удержать...

– Что с тобой, Тикки? У тебя больной вид. Идем, ложись тоже.

– Я все равно не усну, – упрямо сказал он.

– Может, я могу чем-нибудь помочь? – спросила Луиза. – Дорогой, ты же знаешь, я сделаю все...

Ее любовь была как смертельный приговор. Он сказал этим отчаянно цеплявшимся пальцам: «О боже, это все же лучше, чем такое непосильное бремя... Я не могу причинять страдания ни ей, ни той, другой, и я больше не могу причинять страдания тебе. О боже, если ты и вправду любишь меня, помоги мне остановить тебя. Господи, забудь обо мне», – но ослабевшие пальцы все еще за него цеплялись. Никогда прежде не понимал он так явственно все бессилие божие.

– Мне ничего не нужно, детка, – сказал он. – Зачем я буду мешать тебе спать? – Но стоило ей направиться к лестнице, как он заговорил снова: – Почитай мне что-нибудь. Ты ведь сегодня получила новую книгу. Почитай мне что-нибудь.

– Тебе она не понравится, Тикки. Это стихи.

– Ничего. Может, они нагонят на меня сон.

Он едва слушал, что она читала; говорят, невозможно любить двух женщин сразу, но что же это тогда, если не любовь? Это жадное желание наглядеться на то, что он больше не увидит? Седина в волосах, красные прожилки на лице, грузнеющее тело – все это привязывало его к ней, как никогда не могла привязать ее красота. Луиза не надела противомоскитных сапог, а ее ночные туфли нуждались в починке. Разве мы любим красоту? – думал он. Мы любим неудачников, неудачные попытки сохранить молодость, мужество, здоровье. Красота – как успех, ее нельзя долго любить. Он испытывал мучительную потребность уберечь Луизу от всяких напастей. Но ведь это я и собираюсь сделать! Я собираюсь навсегда уберечь ее от себя. Слова, которые она произнесла, на миг привлекли его внимание:

Падаем все мы. И эта рука упадет.

Все мы падучей больны, нету конца этой муке,

Но Вседержитель протянет нам добрые руки. -

Падший и падающий в них поддержку найдет.

Слова эти поразили его, но он их отверг. Слишком легко может прийти утешение. Он подумал: те руки ни за что не удержат меня от падения, я проскользну между пальцами, сальный от лжи и предательства. Доверие было для него мертвым словом, смысл которого он забыл.

– Дорогой, ты же почти спишь!

– Забылся на минуту.

– Я пойду наверх. Не сиди долго. Может, тебе сегодня не понадобится твой эвипан.

Ящерица словно прилепилась к стене. Он смотрел, как уходила Луиза, но стоило ей поставить ногу на ступеньку, как он позвал ее обратно:

– Пожелай мне покойной ночи. Ты, наверно, будешь уже спать, когда я приду. – Она чмокнула его в лоб, и он небрежно погладил ее руку. В эту последнюю ночь не должно быть ничего необычного, ничего, о чем она потом будет жалеть. – Покойной ночи, Луиза. Ты ведь знаешь, что я тебя люблю, – сказал он с нарочитой шутливостью.

– Конечно, и я тебя люблю.

– Да. Покойной ночи, Луиза.

– Покойной ночи, Тикки.

Вот и все, что он мог себе позволить.

Как только он услышал, что дверь наверху захлопнулась, он вынул коробку, где хранил десять таблеток эвипана. Для верности он добавил еще две; если он и принял за десять дней на две дозы больше, чем полагалось, это не могло никому показаться подозрительным. Потом он сделал большой глоток виски, чтобы придать себе мужества, держа в руке таблетки. Ты никогда не сумеешь снова собрать столько, сколько нужно. Ты будешь спасен. Прекрати это кривлянье. Поднимись наверх и как следует выпипись. Утром тебя разбудят, ты пойдешь на службу, где тебя ждут твои «повседневные дела». Голос сделал ударение на слове «повседневные», словно оно означало «счастливые» или «мирные».

– Нет, – вслух сказал Скоби, – нет.

Он затолкал таблетки в рот, по шесть штук сразу, запил их двумя глотками виски. Потом открыл дневник и записал против даты «12 ноября»: «Заехал к Э.Р., не застал ее дома. Температура в 2:00...» – и резко оборвал запись, будто в этот миг его окончательно одолела боль. Затем он сел, выпрямившись, и, как ему казалось, долго ждал первых признаков наступающей смерти: он не знал, как она к нему придет. Он попытался молиться, но слова «Богородицы» выпали у него из памяти, он слышал каждый удар сердца, как бой часов. Он попытался произнести покаянную молитву, но когда дошел до слов: «Прости и помилуй», – возле двери возникло облако, поплыло, затянуло всю комнату, и он уже не мог вспомнить, за что надо просить прощения. Ему пришлось вцепиться в стул обеими руками, чтобы не упасть, хотя он и забыл, зачем он это делает. Ему казалось, что где-то вдали он слышит раскаты грома.

– Буря, – сказал он громко, – начинается буря. – Облако росло, и он попытался встать, чтобы закрыть окно. – Али! – позвал он. – Али! – Ему показалось, кто-то за окном ищет его, зовет, и он сделал последнее усилие, стараясь крикнуть, что он здесь. Он встал на ноги и услышал, как сердце заколотилось в ответ. Надо было передать какую-то весть, но темень и буря вогнали ее назад, в его грудную клетку, и все это время снаружи за домом, снаружи за миром, который стучался ему в уши ударами молота, кто-то бродил, не зная, как войти, кто-то звал на помощь – кто-то, кому он был нужен. И на этот зов, на этот жалобный крик Скоби заставил себя ответить. Откуда-то из бесконечной дали собрал он последние остатки сознания, чтобы откликнуться на этот призыв. Он произнес: – Господи, я люблю... – но усилие было слишком велико, и он не почувствовал, как тело его ударилось о пол, и не услышал, как под ледником, завертевшись, словно монетка, тихонько звякнул образок – изображение святой, имени которой никто не помнил.

– Я держался все это время в стороне, – сказал Уилсон, – но, может, вам нужна моя помощь?

– Все были очень добры, – ответила Луиза.

– Я и не подозревал, что он так болен.

– Шпионили, шпионили, а все же не доглядели.

– Но ведь это моя работа. И я вас люблю.

– Ну до чего же вы легко бросаетесь этим словом, Уилсон!

– Вы мне не верите?

– Я не верю никому, кто твердит: любовь, любовь, любовь. Для таких людей это только – я, я, я.

– Значит, вы не выйдете за меня замуж?

– Пока что на это не похоже, но мало ли что может быть... Не знаю, на что толкнет меня одиночество. Но давайте больше не будет говорить о любви. Это была _его_ любимая ложь.

– Он лгал вам обеим.

– Как она приняла его смерть?

– Я видел ее сегодня после обеда с Багстером на пляже. И говорят, что вчера вечером в клубе она была явно под хмельком.

– Ну, это уже неприлично!

– Никогда не мог понять, что он в ней нашел. Я бы вам не изменял, Луиза.

– Знаете, он ходил к ней даже в день своей смерти.

– Кто вам сказал?

– Тут все написано. В его дневнике. Он никогда не врал в дневнике. Никогда. Не говорил того, чего не думает, – например, насчет любви.

С тех пор как Скоби поспешно схоронили, прошло три дня. Доктор Треверс подписал свидетельство о смерти. Диагноз – *angina pectoris*: в таком климате вскрытие было дело нелегким, а в данном случае и лишним. Правда, на всякий случай доктор Тревис все же проверил, сколько было принято эвипана.

– А ведь когда мой слуга мне сказал, что он так внезапно умер ночью, я решил, что это самоубийство.

– Удивительно: теперь, когда его нет, мне так легко о нем говорить, – сказала Луиза. – А я его любила, Уилсон. Я любила его, но он как-то сразу ушел далеко-далеко.

Казалось, что и в доме от него ничего не осталось, кроме нескольких костюмов и грамматики языка менде; а в полиции – ящик с каким-то хламом и пара ржавых наручников. А между тем в комнате ничего не изменилось, и полки были заставлены книгами. Уилсон подумал, что это, видно, всегда был ее, а не его дом. Значит, им только кажется, что голоса их отдаются как-то особенно гулко, словно в покинутом жилище?

– Вы давно знали... насчет нее? – спросил Уилсон.

– Из-за этого я и вернулась. Мне написала миссис Картер. Сообщила, что все об этом говорят. Он, конечно, ничего не подозревал. Ему казалось, что он ведет себя очень хитро. И меня чуть было не убедил, что все у них кончено. Даже пошел к причастию!

– А как же ему совесть позволила?

– С некоторыми католиками это бывает. Исповедуются, а потом начинают сначала. Я, правда, думала, что он честнее других. Когда человек умрет, все тайное постепенно становится явным.

– Он брал деньги у Юсефа.

– Теперь я и в это поверю.

Уилсон положил руку Луизе на плечо и сказал:

– Я человек честный. Я вас люблю.

– Я, кажется, готова вам поверить.

Они не поцеловались – время еще не пришло, – они тихо сидели, держась за руки в этой гулкой комнате, прислушиваясь к тому, как грифы царапают железную крышу.

– Так вот, его дневник... – сказал Уилсон.

– Он писал его до последней минуты... нет, ничего интересного, записывал, какая температура. Он очень следил за температурой. Вот уж кто был романтиком! Один бог знает, что она в нем нашла, на что только она польстилась.

– Вы не возражаете, если я взгляну?

– Пожалуйста. Бедный Тикки, у него не осталось никаких тайн.

– Да и при жизни тайны его были известны всем и каждому. – Он перевернул страницу, прочел несколько записей и снова перевернул страницу. – А он давно страдал бессонницей?

– Я-то думала, что он спит всегда как сурок.

– А вы заметили, что насчет бессонницы всюду вписано позднее?

– С чего вы это взяли?

– Сравните цвет чернил. И записи о снотворном – это так нарочито, так фальшиво звучит. Но самое главное, цвет чернил. Это наводит на всякие размышления, – заметил он.

Она с ужасом его прервала:

– Нет, что вы! Он не мог этого сделать! В конце концов, он же был человек верующий.

– Ну впустите меня хоть на минуту выпить рюмочку, – молил Багстер.

– Мы выпили по четыре на пляже.

– Ну еще по маленькой!

– Ладно, – сказала Элен. Теперь ей казалось, что нет больше смысла отказывать кому бы то ни было и в чем бы то ни было.

– А ведь сегодня вы меня первый раз пустили к себе, – сказал Багстер. – Как вы здорово тут устроились. Кто бы сказал, что в такой берлоге может быть уютно.

Да, мы с ним пара, подумала она, лица красные, от обоих разит джином!

Багстер чмокнул ее мокрыми губами в рот и снова огляделся.

– Ха-ха! – сказал он. – Вот она, наша милая бутылочка!

Когда они выпили еще по стаканчику, он снял форменную тужурку и аккуратно повесил ее на спинку стула.

– Довольно церемониться. Давайте поговорим о любви, – предложил Багстер.

– А зачем? – спросила Элен. – Уже?

– Скоро зажгутся огни, – сказал Багстер. – Посумерничаем. Управление передадим Джорджу...

– Какому Джорджу?

– Автопилоту, темное вы существо. Вам еще многому надо учиться.

– Ради бога, оставьте мое обучение до другого раза!

– Лучше времени для небольшого кувырка не найдешь, – сказал Багстер, твердой рукой подталкивая ее к кровати.

А почему бы и нет? – подумала она. Почему нет... если он этого хочет. Чем этот Багстер хуже любого другого? Я никого на свете не люблю, а на том свете – не считается, почему же отказывать им в «кувырках» (как выражается Багстер), если им так уж этого хочется? Она безмолвно легла на спину и закрыла глаза, ощущая рядом с собой в темноте только пустоту. Я одна, думала она без всякой жалости к себе, спокойно констатируя факт, словно путешественник, у которого погибли все спутники.

– Клянусь богом, в вас немного жару, – сказал Багстер. – Неужели вы меня ни капельки не любите? – Его проспиртованное дыхание било ей в нос.

– Нет. Я никого не люблю.

Он крикнул в бешенстве:

– Скоби вы любили. – И тут же раскаялся: – Простите. Я сказал подлость.

– Я никого не люблю, – повторила она. – Ведь мертвых любить нельзя, правда? Их ведь нет, правда? – Это ведь все равно, что любить бронтозавра, правда? – спрашивала она, словно ожидала ответа хотя бы от Багстера.

Глаза она крепко зажмурила, потому что в темноте смерть казалась ей ближе – смерть, которая его унесла. Кровать задрожала, когда Багстер освободил ее от своей тяжести; стул скрипнул, когда он снял с него тужурку. Он сказал:

– Я уж не такая сволочь, Элен. Вы, видно, не в настроении. До завтра, ладно?

– Ладно.

Незачем отказываться в чем бы то ни было кому бы то ни было, и все же она почувствовала огромное облегчение оттого, что в конце концов от нее ничего не потребовали.

– Покойной ночи, малютка, – сказал Багстер. – До скорого.

Она открыла глаза и увидела какого-то чужого человека в запыленной синей тужурке, возившегося с дверным замком. Чужим людям можно сказать все, что угодно, – они проходят мимо и все забывают, как существа с другой планеты.

– Вы верите в бога? – спросила она.

– Да как сказать, наверно, да, – ответил Багстер, пощипывая усики.

– Как бы я хотела верить, – сказала она. – Как бы я хотела верить.

– Да знаете, многие верят, – сказал Багстер. – Ну, мне пора. Всего.

И она снова осталась одна в темноте своих зажмуренных глаз, а тоска билась в ее теле, как ребенок; губы ее шевелились, но все, что она смогла сказать, было: «Во веки веков, аминь...» Остальное она забыла. Она протянула руку и пощупала подушку рядом, словно каким-то чудом все же могло оказаться, что она не одна, а если она не одна сейчас, то уже никогда больше не будет одна.

– Я бы этого никогда не заметил, миссис Скоби, – сказал отец Ранк.

– А Уилсон заметил.

– Мне почему-то не нравятся такие наблюдательные люди.

– Это его профессия.

Отец Ранк быстро кинул на нее взгляд.

– Профессия бухгалтера?

Она тоскливо спросила его:

– Отец мой, неужели у вас не найдется для меня ни слова утешения?

Ах уж эти разговоры в доме покойного, думал отец Ранк, пересуды о том, что было, споры, вопросы, просьбы, – сколько шума на краю тишины!

– Вас слишком много утешали в жизни, миссис Скоби. Если то, что думает Уилсон, правда, тогда он нуждается в утешении.

– Вы знаете о нем все, что знаю я?

– Конечно нет, миссис Скоби. Вы ведь были его женой пятнадцать лет, не так ли? А священник знает только то, чего можно и не знать.

– Чего можно и не знать?

– Ну, я имею в виду грехи, – нетерпеливо объяснил он. – Никто не приходит к вам исповедоваться в добродетелях.

– Вы, наверное, знаете о миссис Ролт. Почти все знают.

– Бедная женщина.

– Не понимаю, почему вы ее жалеете.

– Я жалею всякое невинное существо, которое связывает себя с одним из нас.

– Он был плохим католиком.

– Это пустые слова, их часто говорят без всякого смысла.

– И под конец это... этот ужас. Он ведь не мог не знать, что обрекает себя на вечное проклятие.

– Да, это он знал. Он никогда не верил в милосердие... кроме милосердия к другим людям.

– Но ведь тут даже молитвы не помогут...

Отец Ранк с яростью захлопнул дневник.

– Господи спаси, миссис Скоби, не воображайте, будто вы... или я... хоть что-нибудь знаем о божественном милосердии!

– Но церковь утверждает...

– Я знаю, что она утверждает. Церковь знает все законы. Но она и понятия не имеет о том, что творится в человеческом сердце.

– Значит, вы считаете, что надежда все-таки есть? – вяло спросила она.

– Откуда у вас к нему столько злобы?

– У меня не осталось даже злобы.

– И вы думаете, что у бога больше злобы, чем у женщины? – спросил он с суровой настойчивостью, но она отшатнулась от поданной ей надежды.

– Ах зачем, зачем ему было нужно так коверкать нашу жизнь?

– Может, вам покажется странным то, что я говорю, – ведь этот человек столько грешил, – но я все же думаю, судя по тому, что я о нем знал: он воистину любил бога.

Она отрицала, что таит в душе злобу, но последние капли горечи упали, как слезы из высохших глаз.

– Да, уж во всяком случае никого другого он не любил.

– Кто знает? – ответил отец Ранк.